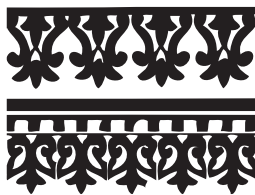




томская
классика





Фёдор Тихменёв

Избранное

Томск–2015

УДК 821.161.1-32 Фёдор Тихменёв
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Т46

Фёдор Тихменёв. Избранное. Книжная серия «Томская классика» — Томск:, 2014. — 304 с. Составитель Л. Пичурин.

Книжная серия «Томская классика»
выходит при поддержке губернатора Томской области
Сергея Анатольевича Жвачкина

Томская писательская организация благодарит
руководителей ООО «Межениновская птицефабрика»
Андрея Андреевича Чуркина,
Леонида Викторовича Ющенко,
Владимира Николаевича Хорошилова,
Фёдора Николаевича Халецкого
за финансирование издательского проекта
«Томская классика»

ISBN 5-902350-01-8
ISBN 5-902350-10-7

© Л. Пичурин.: составление, 2015
© Томская писательская
организация: переиздание, 2015

Честь, долг и судьба

Фёдор Иванович Тихменёв — известный в Сибири двадцатых — тридцатых годов писатель, критик, журналист, педагог, литературно-общественный деятель. Он прожил 92 года (2.X.1890 — 14.X.1982), и, судя по всему, «недаром столько лет свидетелем Господь его поставил и книжному искусству вразумил». По уцелевшим (неполно представленным в этом сборнике) произведениям, по биографии, по памяти знавших его при жизни, он видится сегодня как живой хронограф сибирской истории почти целого века.

Судьба бдительно и неуклонно вела его по самым сурово-значимым и трагическим граням. И, возможно, быть бы ему, с его образованностью, преданностью литературе, с добросовестной честностью во всём, летописцем своего времени, да тихой кельи не оказалось: всё вокруг и в душах человеческих то и дело «вставало на дыбы», контрастно менялось, ломалось, исчезало, обновлялось. Всё, кроме неизменной нужды в присутствии силы духа и в сверхчеловеческих резервах выживания.

Отец его за участие «в волнениях крестьян Владимирской губернии был осуждён и сослан на вечное поселение в Сибирь и определён в с. Шарагул Иркутской губернии»*. Батрачил, сапожничал. Женился и оказался хорошим семьянином, отцом трёх девочек и мальчика («мои сёстры и я»), не пил, не курил, не сквернословил («эти качества прочно унаследовал и я»), читал детям книги из личной библиотеки. От родителей Фёдор Иванович взял доброе имя, нерушимое взаимоуважение в семье и вообще не такое уж частое свойство — органическое уважение к человеку. Всегда. Везде.

Дети подросли, когда отец получил право вернуться на родину. Он мечтал поехать туда и пожить среди родственников. Жена и дети сочли это вполне возможным, согласились с ним. К тому времени, после церковно-приходской Шарагульской школы, Нижнеудинского городского училища сын закончил Иркутскую учительскую семинарию. «Мне исполнилось 18 лет. Я взял на своё иждивение мать, двух младших сестрёнок и поехал учительствовать». В разных сёлах глухой провин-

* Курсивом в предисловии выделены цитаты из произведений, дневниковых заметок и писем Ф. М. Тихменёва.

ции Братско-Острожской волости проработал 8 лет. Авторитет молодого учителя в глазах учеников, родителей, руководителей УОНО рос по восходящей. Сохранились кое-какие документы на этот счёт: *«...непьющий, щедро тратит своё личное время на школьников, бескорыстно занимается грамотой с подростками и взрослыми, помогает в деловой переписке работникам сельской управы...»*.

Хозяйственно заботливый. В одном из сёл *«на сэкономленные средства отремонтировал школу, покрыл крышу железом, выкрасил её, огородил забором гектар тучной земли под школьный огород и два гектара рощи для спортивных игр и развлечений»*. Так было до 1916 года. Шла Первая мировая война. *«По законам я не подлежал мобилизации как единственный сын у матери, но военная обстановка требовала пополнения воинских частей офицерским составом. Мобилизован и направлен в Иркутское военное училище»*. Закончив его, в чине подпоручика назначен в стрелковый полк в Иркутске, потом командиром маршевого батальона, отправленного в действующую армию. *«Поезд прошёл строго по графику, без длительных остановок, разгрузился под Ригой, осаждаемой с запада немцами... Как знающий немецкий язык я был зачислен в разведку. При отступлении от Риги попал под пулемётный огонь, был ранен в область сердца...»*. Паралич левой руки. Эвакуирован в Петроград с последним сан. поездом. Через два месяца — в Иннокентьевский военный госпиталь около Иркутска. А когда ещё через полтора месяца выписался, движением поездов уже руководили чешские коменданты, а Колчак был Верховным правителем России и комплектовал свою армию. *«Я полагал, что меня как инвалида эта мобилизация не коснётся, но обманулся»*.

Его мобилизовали в тыловой пехотный 55-й полк для несения нестроевой должности: писарь, казначей и пр. Но... ни тыловой тишины, ни покоя. В 1918—20 годах Сибири вдоль железной дороги от Омска до Иркутска стала средоточием военно-политических событий (чехословацкий мятеж, войска Антанты, Колчак, партизаны...). Амплитуда их постепенно уменьшалась, пока наконец полярные силы не сошлись в одной точке: Канск. *«Два мира, оцетинившись, стояли друг против друга, атакуя почву для смертельной схватки»*. 55-й полк ещё в 1918 году был переправлен сюда охранять железнодорожную магистраль от партизан «Тасеевской республики» (так называлась освобождённая от войск Антанты и белых крупная партизанская территория с центром в

с. Тасеево. Там была своя армия* со всеми службами — интендантством, армейской школой, мастерскими, химлабораторией, газетой и пр.).

Вокруг Канска образовался широкий партизанский фронт. Когда в ноябре 1918 года Красная Армия освободила от колчаковцев Омск, 55-й полк в Канске объявил себя повстанческим и открыл партизанам вход в город. Теперь, пополненный партизанами, полк преграждал путь отступавшим с запада отрядам колчаковцев. Два месяца Канск жил по экстремальным законам. Всем руководил ревком под председательством В. Г. Яковенко. Помощником начальника гарнизона был Ф. И. Тихменёв. Много позже он расскажет обо всём этом в ёмком, убедительном скрупулёзностью фактов и личных впечатлений очерке «Зазубрин в Канске» (другой вариант рукописи назван «У истоков творчества»).

20 января 1920 года в Канск вошла 20-я дивизия 5-й армии. 55-й полк и партизаны влились в её состав, а для Тихменёва кончилась военная и началась мирная работа. Началась организация советских учреждений. То последовательно, то параллельно он был преподавателем в двух десятилетних школах, руководил воспитательной работой в интернате беспризорников, заведовал парткабинетом, центропечатью, читал лекции, редактировал еженедельник «В помощь советскому учителю». Главной же стала работа в созданной летом 1920 года газете «Красная звезда». Позвал его туда ровесник и сослуживец по 55-му полку А. А. Ансон. *«...в Канске была конфетная фабрика Коновалова, где осталась бумага для обёрток. Вот на этой бумаге мы и печатали одностороннюю газету»*. Ансон — редактор и зав. Центропечатью, Тихменёв — секретарь газеты и сотрудник Центропечати. Когда организовался Канский горком РКП(б), Ансон — и редактор, и секретарь горкома.

Удивительно сложные, интригующие, исторически авантюрные, до предела насыщенные судьбы! Александр Антонович Ансон — *«невозмутимый, чуть суховатый эстонец»* закончил Юрьевский (Дерптский) университет, юрист. В Сибири с 1916 года. В Томске командовал небольшим интернациональным отрядом. Но 30 мая 1918 года советская власть в Томске пала. Видимо, не имея возможности спастись иначе, Ансон нырнул в колчаковскую армию. *«Он был у нас предсе-*

* Её главнокомандующим был Василий Григорьевич Яковенко (1889—1937), в дальнейшем — крупный советский работник, нарком земледелия, член ЦИК СССР.

*дателем полкового суда. Мне и в голову не приходило, что он большевик. Он был знаком с Гашеком»**.

Удивительно насыщенное, плотное, содержательное время! На втором или третьем номере газеты в редакции «Красной звезды» появился Владимир Яковлевич Зубцов (будущий Зазубрин). Пришёл и предложил себя корректором. Революционер ещё до революции, он был и колчаковским офицером, перешёл к партизанам-тасеевцам, с ними появился в Канске, но долго валялся в тифе. Откуда было знать Тихменёву, что этот вот изболевшийся до белизны черноволосый *«чуть долговязый парень лет 25»* подвигнет его к литературному творчеству, что в Зазубрине проявится дар *«открывать таланты, а открыв, не выпускать их из виду»*, что скоро он станет ревностно-заботливым куратором многих привлечённых им в литературу авторов и журнала «Сибирские огни», и сибирского писательского союза, и объектом критики**. Но это — потом. А тогда, за один только 1920-й год жизни в Канске, Зазубрин преодолел изнурительную болезнь, много работы в газете: не только корректор, но и метранпаж, и выпускающий, и автор самых разных материалов. Здесь, в случайном для него городе, полюбил Варю Теряеву, студентку Омского сельскохозяйственного института, и навсегда соединил с ней свою судьбу. Здесь тогда же написал роман «Два мира» и нашёл возможность издать его в 1921 году в походной типографии 5-й армии. Это был первый советский роман и первая советская литературная сенсация. До гибели Зазубрина в 1938 году роман переиздавался раз десять и зачитывался в лохмотья.

«А ведь он был нездешний, этот Зубцов, он же вчера только пришёл из-за Урала! Чтобы написать сибирский роман (познать... прочувствовать... прозорливо вникнуть)...».

Ф. И. Тихменёв, с его педагогической проницательностью, тогда ещё заметил в Зазубрине некий дар неосознанного провидения, уловил (понять ещё было не время) его избиратель-

* Гашек Ярослав (1883—1923), чешский писатель-сатирик, участник Первой мировой войны. В 1918 году вступил в РКП(б) и в Красную Армию. Редактировал интернациональный вариант газеты 5-й армии «Красный стрелок». В 1921 году из Иркутска вернулся на родину с женой-сибирячкой и замыслом (возможно, и с фрагментами) знаменитых «Похождений бравого солдата Швейка».

** Большая статья Ф. Тихменёва «О литературных «зазубринках» Зазубрина» не вошла в наш сборник. См. целиком посвящённый В. Я. Зазубрину второй том «Литературного наследства Сибири». Новосибирск. 1972.

но обострённую впечатлительность, какую-то особую интуицию, когда из тьмы фактов Владимира Яковлевича вдруг волновал-впечатлял один, да так, что *«он не мог работать»*. И даже не самый факт, а только промелькнувший образ — неясный символ какой-то большой и неотступной мысли. Однажды в редакции, где общались отрывисто и походя — всем было некогда, — Зазубрин вдруг подробно рассказал, как увидел вчера лошадь (господи, сколько их там было!!), подышающую от голода: *«...и никто не поможет! А ведь она отдала себя всю! Отдала тем самым людям, которые проходят мимо...»*. Не так ли, в недалёко-нежданные годы, и они все трое — Ансон, Зазубрин, Тихменёв, — отдав всё людям, будут среди других «врагов народа» умирать от истощения или будут пристрелены в неведомых местах и обстоятельствах. Выживет один Тихменёв, да и то, наверное, потому, что его «возьмут» рано, в 1933-м, «в ещё относительно вегетарианский период».

В 1922 году в Ново-Николаевске* возник журнал «Сибирские огни». *«Его редколлегия внимательно оглядывала горизонт, не появится ли человек, который как-то мог быть причастен к литературе, если не пишет, то, может быть, способен рецензировать или давать корреспонденции, очерки...»*. Тихменёв, естественно, оказался в поле внимания. Через пять лет в докладе «Художественная литература в Сибири 1922—27 годов» В. Зазубрин отметит: *«Из Канска приехал Фёдор Тихменёв. Он хорошо рассказал о добром, но ограниченном крестьянине „Милёночке“ и о мещанине, который в революции был „сам по себе“»*.

«Милёночек» — небольшой рассказ с элементами народной сибирской речи и «телеграфного стиля». За военно-детективным сюжетом (побег одного и расстрел совершенно другого человека) есть широкий и далёкий смысл, может быть, даже неосознанная проекция судьбы русского крестьянства. «Милёночек» — такой таёжный заимочный Платон Каратаев. Воплощённая доброта, душа, полная младенческой радости от жизни и от того, что он сейчас помогает другому человеку. Трое военных под командой «толстенького в очках» походя, не разбираясь, расстреливают его. А ведь революцию («разделюцию», как говорил Милёночек) вершили ради справедливости, в которой ничего не должно быть выше человеческой жизни и достоинства трудового человека. Достижима ли цель?

* С 1925 года — Новосибирск.

Революция, со всеми её прелюдиями, вариациями, последствиями, и нравственная природа человека — эта тема всегда волновала Тихменёва. Главный персонаж повести «Сам по себе» тоже шире конкретных рамок времени. Он из тех, для кого преданность, принципы, честность есть глупость и безрассудство. Высокие слова, политические лозунги и службы — ширма, прикрывающая шкурнические интересы. Он мимикрирует, приспосабливается, перекрашивается и, в конце концов, отлично сохраняется в истории (*«а что насчёт мерзавца и прочее, так это ко мне не липнет»*). Ну просто наш современник, только костюм да антураж другие! *«Служу я по продовольственной, а в этой области я — что твоя рыба в воде»*. В эпилоге от автора: *«Шайкин женился, обзавёлся хозяйством... судился за преступления по должности и получил год условного заключения. Тогда же (на жену) открыл торговлю и не жалеет нисколько об этом. Своё дело вести — куда спокойнее. И жизнь пшеничнее...»*. Шайкины не остаются на обочине. Совсем наоборот! Недаром Пётр Кропоткин* вскоре после Октябрьской революции с печалью и грустью писал, что она «пошла не по тому пути, который мы ей готовили».

Вряд ли, конечно, Ф. Тихменёву виделись в перспективе гибель романтиков революции и торжество флюгерства за счёт нравственности. Он верил, что история всё расставит как надо, что *«ненависть переживёт сама себя и схлынет»*, и тогда люди ужаснутся *«потрясающей глубине страданий, уплаченных за счастье победы»*. А пока некогда особенно-то углубляться в фундаментальные проблемы бытия — нужна работа, работа, работа...

На призыв «Сибирских огней» создавать литературные объединения, выявлять одарённых авторов, откликнулись Омск, Иркутск, Барнаул, Бийск... и только Томск молчал. Это удивляло: научный центр, четырнадцать тысяч студентов и учащихся, и вдруг такая инертность. Годами. Вся Сибирь искрилась «самосочинителями» (так называл авторов В. Зазубрин), возникали литературные кружки, группы, объединения... А Томск — молчал. *«И я был командирован Сибирским крайиздатом в Томск в качестве уполномоченного Союза си-*

* Кропоткин Пётр Алексеевич (1842—1921), князь, русский революционер, публицист, историк, теоретик социалистического утопизма и анархизма, географ, геолог. В 1872—1874 — член кружка «чайковцев», в 1870—1917 — эмигрант. В Париже дружил с И. С. Тургеневым, ценившим в нём «нежную, чуткую художественную душу». Автор книг «Идеалы и действительность в русской литературе», Записки революционера» и др.

бирских писателей. Сосватал меня в Томск Михаил Михайлович Басов* — глава Сибкрайиздата, один из редакторов «Сибирских огней».

— Вот прошёл общесибирский съезд писателей, — убеждал он меня, придерживая за пиджак. — Полсотни съехалось! Почему же нет от Томска? С этого Олимпа сибирской культуры? Куда деваются таланты?.. Спешно, сейчас же надо вмешиваться! Создать литературную группу, связать её с журналом... Задача падает на тебя. Всё всюду обмозговано и согласовано. Чтобы тебе кормиться, будешь заведовать КОГИЗом. И тебе нечего гадать и обдумывать. Сама судьба возлагает на тебя эту историческую миссию. Езжай!

У меня не было склонностей к торговле, хотя бы и книжной, но иного выхода пока не было. Уговорил — и я поехал.

«Сначала Томск показался мне большой тихой заводью. Но скоро понял, что ошибся. В Томске была широко развёрнута новая экономическая политика. Удивил широкий размах торговых операций, оживление базаров и толкучек, причудливый ассортимент давно забытых предметов купли и продажи, вывернутое наружу материальное благополучие купеческого города и пригородных деревень. Воскресли добродушные рассказы о колоритных странностях-причудах томского купечества. К новым обращениям «товарищ студент» возвратились старые «господин профессор»... «Петру Ивановичу Макушину и его дочь Елизавета Петровна ставили по указанию горкома партии символический памятник».

Семь лет (1926—1933) Ф. И. Тихменёв руководил созданным им ЛИТО, заведовал Томским отделением Сибкрайиздата. Это было непросто. «...Всякие «уклоны» в поэзии, в публицистике, в направлениях литературных группировок забивали мозги молодых. Местная политическая обстановка была напряжённой. Я остро ощутил все трудности своей „исторической миссии“». Да, так было. И в Сибирь долетали осколки-отголоски столичных литературных драк, где каждая ассоциация, группа, редакция претендовала на роль руководящей и активно внедрялась в провинцию. Например,

* Басов М. М. (1897—1937) — один из основателей журнала «Сибирские огни», редактор «Сибирской советской энциклопедии», журналист, культработник. Уроженец Сибири, из крестьян. С 1916 работал в газетах «Благовещенское утро», «Амурское эхо», в 1920—1921 — в газетах «Красный стрелок», «Сельская правда». С 1922 на издательской работе. Управляющий Сибирским государственным издательством. С 1928 в Москве, в правлении Госиздата РСФСР.

«напостовцы» (журнал «На посту»: «платформа напостовцев — платформа партии») боролись за такую новую пролетарскую литературу, в которой не было бы «ни грана старины». После фиаско в Москве их идейный вождь и один из редакторов Семён Абрамович Родов появился в Новосибирске и полтора года развивал здесь свою неукротимую деятельность. Особенно вредоносной оказалась возникшая под его влиянием группа «Настоящее» (с 1927 года в Новосибирске выходил их тонкий журнал, потом группа оформилась организационно). Небольшая, но агрессивно-крикливо-активная, она состояла в основном не из литераторов, а из партийных работников и стремилась возглавить литературный процесс в Сибири. Их программа: «Взорвать академию сибирской словесности!» (так они называли Союз сибирских писателей и журнал «Сибирские огни»), ликвидировать художественную литературу вообще (всех лириков они относили к врагам революции) и заменить её «литературой факта». Они называли всё это «реконструкцией искусства» (сегодня назвали бы «реформой»).

В 1930 году постановлением ЦК ВКП(б) группа была распущена (её руководитель А. Л. Курс* уехал в Москву), но прежде успела нанести огромный вред сибирской литературе. Ошельмованы и исключены из партии, из Союза сибирских писателей крупные, талантливые, активно работавшие В. Зазубрин, Н. Анов, П. Ерошин, С. Марков и др. Разгромлена редакция «Сибирских огней».

Томское ЛИТО не путалось в идейных разногласиях. Работая с ним, Ф. И. Тихменёв увидел, *«из каких хороших, здоровых ребят состояла томская вузовская молодёжь»*. И ещё многое.

«Мне наивно представлялось вначале, что я буду прочитывать гору рукописей и по неясным признакам одарённости находить, обнаруживать, выводить на свет будущих поэтов и прозаиков. Всё оказалось проще. Молодёжь, в том числе одарённая молодёжь, училась, ей было некогда поэзией она только баловалась, считая серьёзное к ней отношение делом будущего. Рукописей не было. Мы собирались по воскресеньям в университете, в Доме офицеров, в музее. Газета «Красное знамя» безотказно печатала в хронике извещения о собраниях (изредка пускала на свои страницы наши

* Курс Александр Львович (1892—1939) в 1928—1929 редактор газеты «Советская Сибирь», в 1930 — преподаватель Института красной профессуры в Москве.

произведения). Вход был свободным. Стихи и проза читались вслух, здесь же разбирались, критиковались, получали советы и рекомендации. Лучшие я посылал в «Сибогни». Себе оставлял копии».

Архив ЛИТО: подшивка произведений, переписка по поводу возможностей их публикации, всякие документы, бумаги, личная переписка и рукопись вполне законченного романа самого Ф. П. Тихменёва «о ветвях семейного дерева, прорастающего во времени» — всё было изъято при аресте и исчезло.

«Раньше других в «Сибогнях» начал печататься Лев Черноморцев (1927 г.) Затем Евгений Березницкий. Позднее (1930) Игнатий Рождественский*. Это о нём с такой искренне благодарной, с такой уважительной любовью писал Виктор Петрович Астафьев, обращаясь памятью к своему детству. Школа на окраине Игарки. Отчаянный 5-й «б», на который учителя уже махнули рукой и в котором на последней парте «развлекались как умели» два второгодника — В. Астафьев с закадычным дружкой. Однажды появился новый учитель. «Молодой... порывистый. Он кинул на стол журнал, потёр очки, близоруко сощурился, оглядел нас и представился:

— Рождественский моя фамилия. Игнатий Дмитриевич. Буду вас учить русскому и литературе».

На его уроках нежданно-негаданно открылись вдруг заброшенному детдомовцу и свет, и звук, и краски, и древнее могущество слова («с этих уроков началась наша дружба», В. А.). Там же впервые ощутил мальчуган чувство авторства: в рукописный школьный журнал попало и его сочинение. Учитель уехал из Игарки, и «навсегда оставил в наших сердцах любовь к литературе, к великому русскому слову» (В. Астафьев. Родное слово). Кто знает, не будь в жизни И. Рождественского такого учителя-друга, как Тихменёв, может быть, не было бы и в жизни В. Астафьева такого учителя-друга, как И. Рождественский, и мог бы дар В. Астафьева не пробудиться или был бы другим.

* Черноморцев Лев Николаевич (1903, Красноярск — ?), участник Великой Отечественной войны, автор сб. стихов «Тайга», «Стихи», «Моё оружие», «Песнь о Сибири». Березницкий Евгений (1909—1941), автор сб. стихов «Белый снег на вечерней заре», «На Оби», книжки для детей «Положения красного ерша». Погиб на фронте под Ельней. Рождественский Игнатий Дмитриевич (1910, Москва. — 1969, Красноярск), закончил Иркутский педагогический институт, автор более 20 книг, в том числе сб. стихов «Северное сияние».

Печатались в «Сибогнях» и прозаики из ЛИТО Ф. И. Тихменёва: рассказ Ю. Бессонова «Несчастливый паводок» (1930), рассказ Л. Шмакова «Экскурсант Шукшин» (1927). Ещё были заметны Елизавета Стюарт, Давид Лившиц. *«Своим творчеством они развеяли ошибочное мнение о том, что в 20—30-е годы Томск в литературном отношении был незаметным городом. Перестал быть загадочным вопрос, почему «Сибирские Афины» в первые годы советской власти не посылали своих представителей на краевые литературные съезды и совещания. Ответ простой: основную часть литературной общественности составляли студенты, а они, закончив вуз, уезжали, и как литераторы чаще всего проявляли себя где-то далеко...»*.

В Томске учат и учатся. Такой город. Жена Тихменёва, Лидия Михайловна, оказалась в Томске безработной, поступила в пединститут, окончила его. *«Я последовал её примеру, поступил заочником на факультет ЛИЯ (литературы и языков). На следующий год факультет расформировался, меня перевели заочником в МГУ. Ещё через год в Москве открылся Редакционно-издательский институт. Без моего ведома меня перевели из МГУ на заочный сектор этого института. Учиться было трудно: много формальной писанины. И всё же в 1934 году я, быть может, одолел бы этот «гранит». Ушёл в 33-м — всё выветрилось, оказалось вздорным и ненужным»*.

Его арестовали 7 мая 1933 года. Предъявлено чудовищное обвинение по 58-й статье, пункты 2.11, потом 10—11 (что означало содержание в лагере строгого режима). *«...привлечено было по моему „делу“ ещё девять человек, „моих продавцов“, бывших приказчиков книжных магазинов Макушина»*.

Вот уж действительно всё так, как говорил литературный персонаж В. Вересаева (роман «В тупике») — начальник Особого отдела: «Лучше погубить 10 невиновных, чем упустить одного виновного. А главное — важна эта атмосфера ужаса, грозящая ответственность за самое отдалённое касательство». Или как в реальности ещё в 1918 году под аплодисменты депутатов городского совета возвещал томский комиссар юстиции Исай Наханович: — Пока существует советская власть, никто... не может быть уверен, ложась спать, что мы не придём к нему. — И учил «прежде стоять на страже революции, а потом только на юридической точке зрения».

Дальше жизнь Ф. Тихменёва пошла по «второй колее через непонятное». Этими словами он назвал повесть, написанную много времени спустя после реабилитации. «Вторая ко-

лея» — здесь и в прямом, и в переносном смысле. В БАМлаге он с другими зэками строил вторую колею Транссибирской магистрали. Потом была Колыма, а ещё потом изуверская ссылка в необжитое Заполярье. Итого больше двадцати лет параллельного существования, не пересекавшегося с первым: с домом, с родными, близкими, с тем, ради чего жил, учился, работал.

Непредвиденно-неожиданное «непонятное» требовало осмысления, понимания, объяснения. Без претензии на типизацию писатель воссоздаёт среду, обстановку, характеры людей этой второй колеи жизни, отношения между ними по горизонтали и по вертикали, весь доступный его видению механизм природы и диалектики советских репрессий. И, как во всех его произведениях, здесь тоже свой необычный угол зрения. Он во многом ломает общепринятые схемы и те постулаты и «истины», какие уже впечатаны в сознание читателя. Здесь много познавательного, поучительного, полемичного. Например, решение проблемы личности, проблемы воспитания, проблемы «лагерной» темы в литературе. В 30—50-е годы официально господствовала идея «перековки», перевоспитания, «переработки человеческого сырья» в исправительно-трудовых лагерях. Автор — против неё, он в неё не верит, опровергает её и публицистично и образно. Он отлично знал уголовников (как и его главный персонаж поэт Дмитро Загул), жил с ними в бараке, и они по-своему, с доступным им «пиететом» использовали его репутацию порядочного, не вызывающего подозрений человека. В ГУЛаге совмещали уголовников с интеллигентами.

Писатель выразительно, выпукло, но деликатно по отношению к читателю, с редким чувством такта и меры рисует антураж, лексику, пластику, этику урок. Среди них есть начинающие, а есть опытные, которых уже «перевоспитывали». *«Иллюзии недолговечны: очень скоро многих досрочно освобождённых, „перековавшихся“ пришлось заботливо вылавливать для новых „перековок“»*. Тихменёв — прирождённый педагог, проницательный, наблюдательный, с большим опытом, понимал, что одно дело — воспитание детей и подростков (повести А. С. Макаренко «Педагогическая поэма», Л. Пантелеева и Г. Белых «Республика ШКИД» и т.п.) и совсем другое — «перековка» твёрдых зрелых «уголовных элементов» в «передовые-сознательные», как это под бодрящую музыку исторического оптимизма происходило, например, у Ник. Погодина в «Аристократах». Нет, у Тихменёва «Кобра» и наверху, и под ногами, и в забое, и в кутузке остаётся самим

собой. И желтоглазого карманника Кольку здешними методами не перевоспитать.

Важнее — понять жизнь, а не переделывать её: в центре внимания писателя люди его среды, труженики, созидатели, нравственно чистые, ответственные. Хоть ээки *«по 58-й рождались здесь заново, никто не знал, чем каждый был в прошлом»*, сущность человека проявлялась быстро. Их образы запоминаются. Загул, Панкратьев, Матюшкин, бывший студент томского мединститута красавец Воронин, Дина Гедальевна, старый лагерный врач... Они художественно автономны, и в то же время автор на всех на них разделил самого себя: свои мысли, симпатии, антипатии, свою тоску и надежду, согрел их подлинным уважением, доброй, благодарной памятью.

Вот умер проектировщик моста и пути Матюшкин. *«...умер в три часа ночи в конторе, за рабочим столом, за которым творил четыре года свои чертежи, так нужные стройке...»*.

«...Слёз не надо. И жалости не надо. Но мы заслужили от будущих поколений большего и лучшего, мы заслужили уважения. Пусть не пожизненного, а посмертного. Мне бы хотелось, очень бы хотелось, чтобы этот мост был мостом Матюшкина. Этого не будет, этого не может быть. Потому так грустно».

Инженер Матюшкин и те его коллеги-лагерники, которые так говорили о нём, шли через непонятное, сохраняя своё достоинство. Они работали *«бескорыстно, без камня за пазухой, отдавая без остатка всё, что ещё оставалось: конец жизни, силы, здоровье, умение, опыт, знания»*.

Их незаконно арестовали, осудили на каторгу, во время войны произвольно продлили сроки до бесконечности. А они (чего не мог, не умел понять маленький особист Баранов (один из миллионов мини-Ягод, мини-Ежовых, мини-Берий) *«боролись для Родины и за Родину, для будущего и за будущее, они сами были подвижниками, незаметными героями напряжённо деловой жизни здесь, „по эту сторону“»*. Раскрывая глубины их душ, писатель нечасто, но правдиво — строго в соответствии с обстоятельствами — подчёркивает редкие и потому как бы вдвойне-втройне ощущаемые ими элементы красоты, тоску по ней. Например, время и пространство для них меряется пейзажем, цветностью: *«...потянулись фиолетовые сопки... долины со спокойными ленивыми речками»*, *«леса начали уже чернеть... боярка в багровых листьях»*, *«синими туманами курятся трубы низеньких домиков»*. Звук — зрим и подвижен: *«возник и распростёрся жалобный железный визг»*. Или: *«Под потолком пронёсся тихий и грустный звук*

встревоженных струн, слегка коснулся дальней стены и оборвался».

Боль отверженности и оскорблённости лечится величием природы: *«...но вот выкатилось солнце, вопреки всему по-прежнему родное, без предвзятостей... выкатилось и забылось... участливо шуряя и пристально разглядывая прибывший с дальних мест этап».*

Поскольку главный персонаж — далеко не молодой украинский поэт, вполне правомерна пейзажная параллель с афористическим «тиха украинская ночь...», но как космически далека, как недостижимо северна эта параллель. *«Поэтична колымская ночь! Размашиста, плакатно проста её окраска. Чем-то невесёлым, густо-синим, заполнено безоблачное небо. Чуть раскачиваясь и вздрагивая, то ли повисают в синеве, то ли плавают в ней бесчисленные звёзды. На вершинах гор, ушедших в синеву, загадочно светятся чем-то таинственным, значительным и волшебным безупречно белые снега. Редко где увидит глаз ночную колымскую тень: не от чего падать на снег теням».*

Волнуют душу, казалось бы, давно забытые мысли о величии красоты, о ценности жизни. И автору снился *«родной Томск, его тополя на студенческих улицах, молодой смех в университетской роще».* И он верил, и думал о том, «какими интересными они будут, когда непредвиденное и непонятное уйдёт».

Такие вот честные, преданные, убеждённые, вдохновённые (на языке блатных — «придурки») и построили Норильск, Магнитку, Комсомольск, Беломорский канал и канал Москва — Волга, наш Северск и многое другое, что и сейчас составляет экономическую основу России. «Не разгибаясь, вкалывали, трудились в зной и стужу», пока их охраняли, о, как охраняли!! «Нас каждый день считали по три раза, — писал прошедший лагеря поэт Виктор Васильев. — Так не считают золотой запас. Не потому, что мы дороже золота, а потому, что спрос велик на нас».

В 1955 пришла реабилитация: арест, судимость, лагерь, ссылка — всё было незаконно, всё снято, — забудьте! *«С беспечной верой в дальнейшее торжество справедливости шагнул я в свободную жизнь».* Но оказалось, что одновременно надо забыть и двадцать с лишним лет труда в БАМлаге, в КОЛЫМлаге, в Заполярье — миф, дым, дурная фантазия! И вообще государство не заметило, что его подданный Тихменёв работал 55 лет, из них 40 при Советской власти, из них 22 в условиях Крайнего Севера. Грошовую пенсию начислили с

зарплаты завкогизом 1933 года. «А прочее погибло безвозвратно...».

После реабилитации Фёдор Иванович прожил ещё 27 лет, теперь уже «лишенцем с паспортом».

Но зато появилась тихая келья. Сначала кухня, которую оставили его жене после его ареста от их квартиры, где она дожидалась мужа*. Потом — комната в квартире племянницы Радды Чумак (в повести — студентка Женя). Не сразу и, может быть, даже не столько потому, что по природе писатель, но чтобы сохранить то, что предлагалось забыть, — стал писать. «На старости я сызнава живу, минувшее проходит предо мною. Давно ль оно неслось, событий полно?» В самом деле, почему надо соглашаться со всем, что бы с тобой ни творили? Ведь ещё Лев Толстой убеждал, что «все беды людские не от пороков, а от прощения этих пороков». Нет, Тихменёв не судил, не предъявлял счёта обид, он показывал то, что хорошо знал, иногда знал только он, и верил, что его повесть понадобится истории. Но годы, годы... Свои финальные авторские мысли, чувства он приписал Дмитро Загулу:

«Последняя рукопись, ещё более милая, чем погибшие... Никто не сможет использовать её после его смерти, ибо она не закончена, и никто не сможет сказать, что он хотел выразить в этом творении».

К счастью, получилось иначе. Рукопись изучил, восстановил, подготовил к печати один из достойных представителей сыновнего поколения профессор математики и писатель Лев Фёдорович Пичурин. Вообще то, что эта книга сейчас в ваших руках, уважаемый читатель, тоже в основном заслуга её редактора (при участии трудов томских литераторов Т. А. Калёновой, С. А. Заплавного, С. С. Парамонова).

Вопреки нашей непростительной сибирской расточительности книга эта, пусть отдельное-единичное, но всё же восполнение безжалостного процесса уничтожения целых пластов российской культуры, целых ветвей, срезанных с её литературного дерева жизни. И есть надежда на то, что негромкая честная сибирская тихмениана сохранится в вашей исторической и художественной памяти.

Р. И. Колесникова

* Лидия Михайловна Тихменёва погибла в автокатастрофе в 1963 году.

Рассказы

Милёночек

1

Хорошо корнеевскому работнику «Милёночку» в поле, на Корнеевой заимочке.

Вспашет это он уповод*, карюху выпряжет, ноги ей спутает и придёт на бугорок к избушечке.

Котелок чёрный, задымленный с таганка висячего снимет, в горячем пепле картошечку печёную отыщет, ломтище хлебushка отхватит и сидит себе, смачно чавкает, чайшко шипишниковый из деревянной чашечки-тюбетейки пошвыркивает.

Оглянется кругом — так и задрожит вся внутренность, так и запросится из самого брюха крик, на смешок похожий, — а и славно же всё это поделано кругом, язви тебя в нос. Правда сказано, что «природа», и — уж действительно што: природа и есть оно, это самое...

Любо жить человеку.

Ключик вон этот, студёный: и журчит, журчит-звенит играючи, с камушка на камушек под горку прыгает, пузыри пускает, балуется... Или берёзки эти кругом кудреватые, беззаботные, легкомысленные — посмотреть на них: ну прямо-таки как девчонки, ни дать ни взять. Нарядились, выщелкнулись и стоят, как на свадьбе, толпятся, на цыпочки вытягиваются, наклоняются, с уха на ухо шушукуются: «Шу-шу-шу, шу-шу-шу. У тебя ишшо спрошу»... Солнышко круглое по небу катается, к человеку ластится... Опять же и хлеба тоже нонече: хороши хлеба, ядрёны, что напрасно. Хорошо это для бедности.

Но...

Испортилась вот какая-то пружинка в городе. В Иркутске в этом. Не сумели там ужиться люди. И произошла там разделение эта самая. И ничего-то в ней не поймёшь теперь: красна гвардия, меньшевики, юнкаря. Опять же большевики эти самые. Партия это называется. И — что ни день, то партия. Теперь вот чехи какие-то...

* Уповод — время работы в один приём, летний рабочий день делился на три уповода (все последующие примечания принадлежат редактору).

Нарочно со своей девчонкой, Катькой, к сапожнику Ивану сходил: в Библии об этом времени почитать. Показал Иван главу, и прочитала Катька стих там этот. — И пойдут там люди на восток. И горько будет людям. Но ещё горше будет им, когда с востока пойдут они. Рахиль будет плакать о детях своих... И ещё там что-то. Усё подходящее оно как будто бы, всё к теперешнему оно гласит, но так говорится там об этом, что тоже не поймёшь до тонкостей.

А разделяюция эта что ни день, то всё ширится. И даже тут, на маленьком бугорочке у Корнеевой заимочки, беспокойно уж как-то стало.

На бугорочке заимочка. Видно от неё, как, запыхавшись, носятся, свистят бешеные стальные кони. Таратайки эти длинные, домики красненькие вокорень измотались: прыгают, звякают, колёсиками своими крутить не успевают. А охрипший паровоз заорёт толстым, густым, сведёт на тонкое, завизжит, и, ровно зубы оскалит, мимо будочки бросится.

Суетятся беспокойные паровозы, носятся. И — аж щёлкает — треплется на каждом флаг красный, словно волосы на упрямой голове, с которой картуз этот кожаный давно уж к чёртовой матери под откос снесло.

Ну и гоняют же люди — нечего сказать. И чего гоняют, прости Господи. Подумаешь, и даже зло иной раз возьмёт. Подеялось же что-то с человеком, как опьянел ровно, с узды сорвался...

...Скусна картошка нонече, рассыпчата. В трёх местах мундир у неё лопается, сварись ежели.

Тоже берёзоньки кудреватые, беззаботные. Легкомысленные. Обступили так же всё: шу-шу-шу, шу-шу-шу, у тебя, дева, спрошу. И лукаво глазом этак на Милёночка — чего это он всамделе, что с ним такое подеялось.

Но не замечает того Милёночек, ничего не замечает.

Сидит, жуёт вяло и равнодушно. И не умиляется уже, ничем уже не умиляется.

Сузилось загорелое личико, как пирожок пшеничный, расшинегалась туда-сюда бородёнка-вехоточка, и глядят из ямок добрые глаза куда-то не на поле, не на будочку... Так, — никуда, должно быть...

Семён Козин убежал от белых.

Он был деповской рабочий, а кроме того он был ещё и большевик. По крайней мере, все так говорят о нём. А буржуазия, знакомая которая, так прибавляет даже: у-у, такая язва пакостная. Кто же город-то взбаламутил! Он да Протечка Косоротый. Двое они. От них ведь и началась зараза эта самая.

«И — ничего, ещё не так бы тебя спёрло, тётушка, если б не чехи твои чистенькие. И сопрёт ещё. Это ничего, что мы, красные, убегаем, а твои, беленькие, за нами гонятся. Совсем даже ничего это не означает — момент один».

Убегали быстро, почти не бились. Врасплох были захвачены. Козин сзади с броневином шёл, отступление прикрывал.

Был ещё дух в этом хвосте: всё оправиться надеялись. Но когда Ушаков, полковник, заехав по Байкалу, обрезал ему путь к Верхнеудинску, а со стороны Иркутска чехи и русское офицерье напирало, малодушничать стали некоторые. В Байкальские горы на голодную смерть подались, в одиночку рассыпаться начали, чтоб лучше спрятаться.

Командир был Козин, и потому никуда не побежал, а в куче остался. А когда постановили сдаться товарищи, не стал угоривать. Что ж зря пропадать товарищам, пригодятся ещё. Не будут же всех двести сразу расстреливать. Дело говорят, что драться без толку.

И вправду: не стали сразу расстреливать.

Загнали в стайки на станции. Тесно было, спали сидя. И — мерзопакостно тоже, потому — испражнялись тут же: из стоек никого на шаг даже не отпускали.

И вообще изгалялись белые. Хлеба не давали, кормили раз в день, и не щами — помоями кормили. Наливали в баночки, в черепушки, если были у арестованных. А не было — так сдыхай.

На помойных ямах и близ вагонов много этих баночек валялось, чехи выбрасывали, консервы ели. Были и жалостливые из белых. Наклонится, принесёт штуку-другую и бросит в стайку. Ах, как жадно хватали эту баночку десятки жёстких рук.

На третий день выкликнули из стоек восьмерых. И в том числе Козина Семёна. Втолкнули всех в вагончик красненький, сами забрались, и покати к Чите.

Ещё версту не отъехали, как раздеться приказали.

— Скидывайте-ка, товарищи. Вам ведь — в Могилёвскую. А туда и так хорошо, лучше ещё, скорее добежишь босичком-то. Но-но. Копайся, образина.

Сейчас всё кончится. Как остановят... раньше даже: сумерки.

Но... Ведь... Неужели... Маманька. Да что же это... Ну хоть бы кто-нибудь... Что же это будет? Что будет...

Белыми стали лица. И только из глаз смотрело и жгло то, чего не будет скоро.

— Дайте закурить, — сказал один.

Сколько было в этом тоски и жажды! Не устоял Фисов, прапорщик. Портсигарчик достал и дал три папиросы (не было больше). И успокоился после того — в самом деле: я, что ли, убиваю их. Я же совсем тут ни при чём. Смотри — я вот папиросами даже угостил их. Даром что красные. Пусть чувствуют, что есть хорошие люди...

Как жадно схватили они папиросочки! Последние папиросочки. Маленькие кусочки жизни. И, дёргаясь рукой, смотрели, ждали, глотая слюну, другие. Козин не ждал. Сила протестующая, сама по себе неясная, скрытная, спокойной притворившаяся, сказала языком Козина:

— Плесните-ка мне лучше на руки: рожу обмыть перед смертью. И, расставив ноги, согнулся. Ладони — ковшиком:

— Наплещешь тут. Шагни сюда.

Шагнул ближе к двери. Стал в просвете. Плеснул солдат из котелка в правой. В левой — винтовка.

— Спасибо, ещё — и будет.

Ещё раз наклонился котелок.

Ат-ат... ат-ат... — отбрасывают назад колёса.

Под счёт этот резко руки к лицу поднял и...

Ат-аз!

Ударился обо что-то ногой. Перевернулся два раза. Галька сзади посыпалась. По мягкому сделал ещё два кубаря. Но вот кусты, берёзки... хлеб впереди высокий. А там — ямки есть, на то похоже.

— Бах... Чок. Чок... — из крайнего вагона.

Не бежит — летит Козин. Не слышит, что лицо прутьями исхлестал, и подштанники распластал в клочья, ноги ободрал до крови.

Не остановился ещё поезд, но соскакивают уже с него и даже через кусты лезут, за ним скоро погонятся.

Но уже не страшно это Козину, — не могут же они бежать так же быстро, как человек, который жизнь свою догоняет. К тому же босиком он. Плохо только, что в белом весь. Вилять

надо, пока до хлеба. А через хлеб — прямо, высокий хлеб, согнутый немного — не выделяют.

За хлебом под уклон пошло. Взял влево немного, пробежал сажень с сотню и свалился под куст. Мочи нет, отдышаться надо.

И вдруг беспорядочно зачокал пяток винтовок там, у поезда... Ещё.

Не заметил, как вскочил. И как побежал, не заметил. Ещё пять раз сзади винтовки таякали. Убивали.

Бежал порывисто и жадно. Ещё молчала радость. Зорко бегали глаза, насторожилось свитое из веревок тело.

Свистнул паровоз, постучал вагонами.

И тихо стало.

Мохнатой шапкой ночь на глаза нахлобучилась.

Ещё раз присел в высокой ржи. Сырой глины на пашне выковырнул, к коленку приложил. Вспухло коленко. Долго болеть будет. Побродил тихонько, колоду обгорелую нашарил. Снял рубаху, подштанники. В дупло несколько раз запихал, пошоркал. Не так белеть будет всё-таки.

Но спохватился — ведь жизнь-то свою бурную, раскалённую не нашёл ещё.

Бегать, суетиться надо. Искать надо.

Вырвать жизнь.

3

Ещё чуть-чуть только жидким светом по небу полоснуло, увидел Козин на бугорке избушечку.

Выше колен роса ноги вымочила. С разбуженных берёзок на скипу насыпалась.

А всё-таки каждую берёзку будил: у каждой останавливался, всем телом смотрел и слушал.

К избушечке кошкой хищной сзади подобрался.

Глаза ищейки засуетились, зашнырили, забегали, у таганка понюхали, сутунок* около ощупали, и, как гвозди, в стены впились.

И сказали: есть там кто-то.

Перехватило дыханье, осунулось лицо, стали жилистыми мускулы.

* Сутунок — чурбан, бревёшко, обрубок, а также простенок между окнами, сложенный из обрубков.

Огляделся подозрительно, испытующе.
Булыжник-камень у дверей оставил.
Дверь рванул — чуть с крючьев не слетела.
Прихлопнул, и стал у порога, щетинистый, железный.
Зажужжали вспугнутые мухи, затыкались.
Дёрнулось и затихло что-то на лавочке: человек поднялся, сел.

— Кто тут-ко?

Молчит Козин. Только в горле хрипеть со свистом стало.

И вдруг схлынуло напряжение.

И по голосу слышно, что говорит кто-то тщедушный, щупленький и добрый, а тут и глаза добрались, увидели. Сидит на лавке мужичонка сухонький, руками на лавку опёрся, бо-
дые ноги на пол спущены.

И видно по всему, что любопытством мужичок этот загорелся. Хочется ему узнать, кто это пришёл такой не в пору, не вовремя, нетутошний, ободранный, почитай что голый.

— Из городу, должно, милёночек? Да что стоишь-то? Ты садись... Проходи, милёнок. Садись вот тут вот... Со станции ты, что ли? Заблудился? Лопотинка-то* у тебя какая! Ай-яй-яй!

— Сейчас. Я расскажу сейчас. Всё расскажу.

Сел Козин, но не на лавку, а у порога сел. Заговорил быстро, придушенно, сторожко сквозь дверь и стены прислушиваясь.

— Советскую власть сбрасывают. Слышал ты это? Власть трудящихся. Собралась вся эта погань: офицерё, пристава крестьянские и так далее. Чехов наняли. За богачом стараются, а те — деньгами сыплют. И видишь вот: в чём прибежал. Уже совсем раздели, застрелить только осталось. Дай, товарищ, накрыться чем-нибудь. Разве можно так показаться теперь куда-нибудь. На ноги — опорки какие-нибудь. Фуражку, картуз ли там. Не пожалей, друг, ввек не забуду... Засуетился мужик, обеспокоился.

— Охти, Господи, царица небесная. И что это деемся на белом свете: вот-то дела. Ну дела... Чичас, милёночек. Домой сбегать надо. Недалеко тут-ко: три версты толечко. Чичас... Есть там у меня из лопоти-то. И хлебушка тоже захватить. Посиди тут-ка, милёнок. Господь с тобой.

— Нет, нет. Не могу я так. — Поднялся Козин. — Как же останусь я тут в этом. Ты сам посуди. Ты... вот дал бы мне свой этот... и бродни. Ты же дойдёшь, что тебе. Местность наизусть знаешь. И недалеко...

* Лопотинка — от лопать, верхняя одежда.

Говорил спокойно, но глазами и всем видно настаивал: только так должно быть, ни в коем случае не иначе.

— Не моя это лопотина-то, шабур-то* этот — Корнеева. Ну да что я. Пустяки какие. Ладно-ладно, милёночек. А я с задов зайду, чтоб не спрашивали. Вот и шапку возьми: не жаркая она, эта шапка-то. Сторгай** тут, сиди, что-нибудь. Как ровно что тутошний... Вот бродни-то тебе, милёнок, налезут ли: стельки там во всю копну. Ты убавь их немного, стельки-то. Вот-вот... Ну, пойду я. Сбегаю. Здесь вот хлебушко есть в лукошечке... Ну, оставайся, милёночек. Оставайся, уж будь надёжен, не сумлевайся, милёнок мой...

Пряником пошёл Милёночек, ближе пряником-то, чем по дороге. И никто не встретится. Любят люди судачить: что да почему? И хоть не нужно это им совсем, а ты скажи им всё-таки...

Идёт, торопится корнеевский работник Милёночек, и не вмещает его грудь особенной какой-то, какой-то гордой радости. В каждом шаге она, эта радость, в каждой жилке, в каждом движении; из глаз течёт она, излучается огоньками тёплыми, солнечными.

И понятно теперь всё Милёночку.

— Вот оно, дружно живут в городе-то. Не то что у нас в Кочермушечке. Как вышел там спор-то этот, каждый за своего восстал. А бедный — за бедного. Ну и докажут, возьмут своё... Дока-ажут, милёночек. Массы их, бедных-то. Да и на кулак-то они покрепче. Ну, и — за правоту, к тому же. Зря не поднимутся, непривычны к этому...

Весело снова Милёночку. И видит он всё кругом, как и прежде. Пара уточек вон, мужичок с жёнкою, пронеслись вверх, крылышками профыркали. Небо ризами золотыми церковными разукрасилось. За горой солнышко копошится, взбирается, целый мильён зайчиков поиграть но золоту пустило. А взобралось, на Милёночка взглянуло, лукаво сощурилось.

— Э-эх: я, я, я, — сказал себе Милёночек, — ведь вот же затмение нашло какое. Сказать бы надо ему: литовка в углу повешана. Отошёл бы недалеко и косил бы ото, будто как взыправдешний мужик. По всему видать, что свышний к этому. Вот уж никому бы невдомёк тогда.

И не подумал ещё об этом как следует, как увидел вдруг сбоку трёх людей с ружьями, на солдат похожих.

* Шабур — домотканина, грубая рабочая одежда.

** Сторгать — сорвать, сдёрнуть, в данном случае — что-то делать.

Будто шилом его что кольнуло. Присел, согнулся, в падушку* побежал: не увидят падушкой-то.

Не успел ещё забежать как следует, а уж слышит — кричат ему те нелестным голосом.

— Стой!

— Стой, стрелять буду!

— Остановись! Эй, ты... Остановись, а то башку раздребезжу!

И видит Милёночек, что бегут эти трое каждый по отдельности, руками машут, грозятся, матерным ругаются. Один толстенький, в очках который, впереди всех торопится, дорогу перегораживает.

Остановился Милёночек. Смешно ему — с ружьями на него, как на зверя будто.

— Кто такой?

— Куда идёшь? Сказывай, кто такой!

Близко подбежали. На картузах лоскутки зелёненькие. Берданки наготовили. Глазами щупают: не верят.

— Пётра я. Из Кочермушки. У Корнея живу. Работник я его. Корней Вавилыча.

— А куда идёшь?

Смешался с чего-то Милёночек. В бороду рукой полез.

— Это... в деревню, милёночек... В эту вот. В Кочермушечку... Да вот, ишь што, дочка ить у меня там захворала, сказывали.

— Ты очков-то нам не втирай, друг любезный.

— Говори. Откуда идёшь, сволочь?

— Почему, когда увидел, прятаться начал?

Ещё больше спутался, растерялся простоватый работник Корнея Вавилыча.

И вдруг тот, что в очках был, на два шага назад шагнул.

— Тот самый, чего тут размузыкивать.

Забрякали курками у берданок.

— Нно, пшёл! Живо!

И ружья поднимают, стрелять хотят.

Белей извёстки стал Милёночек. Губы затряслись. Катьку вспомнил.

Подтолкнули в спину. Шагнул два раза.

— Бац!

Ещё стреляли. Долго стреляли. Не слышал ничего Милёночек. Распластался он в травушке зелёненькой — такой худенький, такой маленький. Через угол рта кровь хлынула.

* Падушка — небольшой лог, от падь — провал, глубокий и крутой.

Прищуренный глаз на примятый жаркий цветочек устаурился. Муха на губу села, в рот заглянула...

— Докомиссарился, — сказал один.

— А и живуч человек: ведь сколько пуль всадишь — дёргается.

— Да не в этом дело, как понять не можете. Военную пулю всегда надо надрезать немного. Тогда она крестом прёт... Ну да видите. Какая дырочка малюсенькая: что спереди, что сзади... Закуривайте.

— Ну, как бы там ни было, а, слава Богу, отделались.

— Теперь на станцию.

— Типун вам на язык: сказанёте же. Хоть ноги-то у нас и не купленные, а спасибо за удовольствие. Тащиться такую даль. Тут вот, за холмиком-то, кажись, деревня спряталась? Пойдёмте в неё лучше. Довезут мужики...

* * *

Щурится, спит солнышко. Травка покачивается. Колонок подрал куда-то, задрал хвостик и вытянулся в струнку. «Фигу видел? Видел, видел», — кричит шутница птичка.

Развалился широко Байкал, лежит, гладится, зеркалом блестит, горы небу показывает.

И сторонкою от берега, вдоль Байкала, Козин Семён шагает в шабуре, кушаком подпоясанном, в броденцах лёгоньких, подкладку чёрную из-под шапки на лоб себе нахлобучил.

Не вернётся уже Семён Козин к избушке ласковой. Видел он с бугорка тех трёх с винтовками, когда в сторону подался — слышал выстрелы.

И потому, должно быть, ещё упрямей шаг, жёстче тело. И ворочается за стенкою нахмуренного лба узловато-жёсткая верёвка-мысль, то больная и ноющая, то суровая и торжественная.

И не избегает уж людей Козин Семён. Идёт упрямый и властный. На берег спокойно взглядывает, ждёт уверенно, когда, наконец, встретится она, лодчонка эта какая-нибудь, чтоб переплыть ему на ту сторону озера этого Байкальского.

И остаются от него в песке ямки угловатые, глубокие...

*Впервые опубликовано:
«Сибирские огни», 1924, № 1.*

Сам по себе

1

Конечно, я только тебе и могу рассказывать так, как я рассказываю.

В сущности, с тобою-то я мог бы быть даже ещё более откровенным, если б ты был поближе.

И, несомненно, я так и сделаю потом, когда мы встретимся.

Теперь же я имею в виду передать тебе лишь только эти три события: почему я не донёс и почему я донёс.

И — почему я совсем не стал доносить после этого.

2

Я тридцать раз мог убежать, но я остался. Сам остался.

Конечно, я не знал, что сделают со мною красные, когда придут. Может быть, даже и повесят. Чёрт их знает, в самом деле: удивительного тут совсем даже немножечко.

Но я рассуждал: если повесят, то по отношению ко мне это будет совсем даже глупо с их стороны.

А отсюда я делал вывод: если б глупость вообще была им свойственна, то они ни в коем случае не смогли бы победить в тех тяжёлых условиях, в коих победили.

И я остался: была не была!

Но свою бойкую продувную мамашу я подвёз всё-таки к станции. Сунул два чемодана извозчику и, когда мы подбежали с ними к красному вагончику, сказал:

— Лезь!

Ударило два звонка.

— Нельзя! Куда-куда! Нельзя, ещё и с немцами! — закричали мне разъярённые белопогонники. — И так полно, дохнуть негде!

— Мамаша, — спокойно сказал я, — извинитесь вот перед господином полковником. И поезжайте, дружок.

Ударило три звонка.

— И помните: не так прост ваш Петрован, чтобы он зачем-то умер в то время, когда хочется жить.

— Петенька! — сказала мать, скривив лицо и разинув рот узкой щелью. Больше она ничего не могла сказать.

Нетерпеливый поезд поплыл, потом побежал. И долго тряслось и брякало в его красных ящиках.

— Прочтите «Что делать?» Чернышевского! И вспомните, почему там фуражка на берегу осталась! — надсаживаясь, крикнул я.

Чтоб успокоить.

Поезд выгнул бок свой вправо, загнул хвост влево и был уже далеко.

Я наугад махнул платочком и пошёл на свою квартиру.

И засмеялся (очень уж был доволен).

И сказал: это и правда. Правда, что если человек готовится к повешению, то зачем же мучить сердце матери.

Матери моей. Клавдии Петровны.

То ли дело так вот, как теперь: будет ждать год, два года... На третьем станет сомневаться.

А на четвёртом смирится с мыслью и забудет.

И я ещё раз засмеялся, будучи доволен, что наконец-то развязал себе руки, освободил их от этого балласта.

Это было 18 декабря 1919 года, ровно за месяц до прихода в Н-ск регулярных советских войск и за три дня до ликвидации почугаевскими партизанами наших белогвардейских гарнизонов в Н-ском уезде.

3

В эту ночь я, конечно, не мог спать, хотя и спровадил свою мамашу, сбыл этот досадный живой балласт с цепкими руками.

Спать было некогда. Я и то запоздал немного: красные взяли уже Тайгу, а уездные гарнизоны стремительно поролась по всем швам.

Но я успею ещё, конечно. Ведь теперь, без мамыши, я гораздо шире прыгаю. И мне только и осталось теперь, что ещё раз учесть пешки на шахматной доске и сделать два зигзагообразных путаных хода. Этого вполне будет достаточно, чтобы моя партия была сыграна вничью. А я теперь этого только и желаю. Больше мне ничего не надо.

В пять часов утра я унесу отсюда с собою только одно: свою маленькую жизнь.

С этой целью я спрячу её в это вот гаденькое драповое пальтишко, купленное мне два месяца назад одним знакомым телеграфистом-беженцем за шестьдесят рублей колчаковками.

Волчьи мысли я прикрою рваной кудельной шапкою.

Свою теперешнюю одежду, одежду «господина прапорщика» Петра Шайкина, я свяжу в узел и вынесу за город, чтобы затоптать её там в снег. И вместе с этим года на два я затопчу в снег Шайкина Петра.

В деревни, чужие и враждебные, пойдёт уже не тот заносчивый и бравый офицер 67-го Сибирского. Уже не Шайкин Пётр пойдёт туда. Туда в рваных катанках, заплатанный и облохмоченный, с палкою в руке, фальшиво прихрамывая на левую ногу, пойдёт-потянется читинский конторщик Владимир Михайлович Сорокин, только что выпущенный товарищами-большевиками из Н-ской колчаковской тюрьмы.

В доказательство этого он предъявит, если нужно, бессрочную паспортную книжку за № 18189, выданную ему читинским полицейским управлением.

Если кто-либо не удовлетворится этим и грубо полезет в заплатанный мешок, он найдёт там много больше: фотографический снимок в бережливых корочках из-под записной книжки и три постаревших тоненьких письма. Все три написаны безграмотной, но любящей рукой Кати. Они яро выражают женское беспокойство за жизнь этого непоседливого и неистового большевика-конторщика Володечки, которому, конечно, не придётся долго жить, если о нём узнают семёновцы*. На карточке рукою той же Кати нацарапано:

«Миламу моему Володичьке. От нивесты твоей Кати на память. Помни и ни забыть».

...Да. Не даром тоже она мне досталась, эта карточка. С нею я тоже поносился, прежде чем выбрать её на барахолке.

И я доволен выбором.

* Семёновцы — офицеры и солдаты частей Белой армии, подчинявшихся генерал-лейтенанту Григорию Михайловичу Семёнову (1890—1946). Генерал Семёнов с начала 1920 года стал руководителем всего Белого движения на Дальнем Востоке. Эмигрировал в Маньчжурию, продолжал активную террористически-диверсионную деятельность против Советской власти. В 1945 г. захвачен советскими войсками, казнён по приговору Верховного Суда СССР.

На пожелтевшем, мухами засиженном картоне видна большерукая девушка с гладко прилизанной головой, с испитым лицом больного человека. Ах, как она вульгарно простовата. Коротенькая кофточка, брюхо булочкой, юбочка оборками, и с хвостиком... Но мне такую вот и надо. Вот именно такую самую.

Правда, можно бы возразить на это, что человеку образованному, конторщику как-никак, не к лицу бы так мелко плавать: ведь это не мужик какой-нибудь, и требования у него поэстетичнее, и вкус имеется, как надо полагать. Всё это правда. Но ведь чистенькому трудно остаться жить, когда его будут убивать за то, что он чистенький. Это во-первых, а во-вторых, я ведь не просто конторщик Володечка, я — большевик. А это значит, что я так занят всевозможной этой агитацией, что мне, ей-богу, некогда обращать внимание на внешность своей невесты. К тому же я вообще-то в этом никаких чох-мох не понимаю. Мне душа в человеке была бы — вот что главное.

Три часа. Пора раздеться Шайкину, чтобы стать Сорокиным.

Осталось только наложить грязные заплаты на целые штаны, а потом свой любимый милый браунинг и колчаковки спрятать во дворе, в той застрехе, что над подвалом. Там укромно и не мочит. Там они с успехом дождутся моего возвращения.

...И ещё: изрезать ножом, как нужно, свои катанки, а потом выйти во двор и разбить, обтрепать их немного о валяющийся там камень от памятника. Тогда будет всё.

Тогда вполне можно будет сделать эту обдуманную заячью петлю.

На другой день я «потерялся», а дней через десять вернулся в Н-ск, въехав в него впереди разношёрстного «конного отряда повстанческих войск».

Я ликовал и был горд сам собою. Ещё бы. Ведь три дня тому назад в уезде погибло сто восемьдесят четыре офицера, девять десятых всего командного состава ликвидированных в уезде гарнизонов.

Шутка сказать: сто восемьдесят четыре... Ничего себе: длинная ниточка, если их уложить вдоль, дорожкой, одного за другим.

Я ехал и думал об этом. И мне просто приятно было сознавать, что их погибло так много, а я не мог уже быть сто восемьдесят пятым. И это только потому, что я умел учитывать грядущие события... И умел потому, что позаботился об этом.

Во-первых, я постарался держаться поближе к городу. Во-вторых, я весьма тщательно читал газеты, а в-третьих, я даже нарочно для того знаком был с одним из телеграфистов Н-ской почтово-телеграфной конторы. Он был беженец из-под Самары и потому не мог быть равнодушным к расположению пешек на шахматной доске. От него я узнавал белогвардейские тайны телеграфа. А чтобы он не был в проигрыше и не скупился, я сообщал ему и даже выдумывал свои военные.

Так вот и мыла у нас одна рука другую руку.

Но, конечно, этого было бы совсем недостаточно, если бы у меня не так удачно варила голова.

Взять хотя бы вот этот последний мой номер.

Другой, не столько задумчивый, так и упорол бы тогда в уезд в дрянном драповом пальтишке с бессрочною книжкою Сорокина.

Встретили бы его крестьяне, ощупали бы словами, взглядами, осторожно, подозрительно, и успокоились. И вдруг один из них вдруг брякнул бы напорным подозрительным вопросом: «А почему ты, милый человек, большевик, из тюрьмы выпущенный? Почему ты удираешь в деревню, когда теперь в городе ваша власть? Почему тебе так упорно-настойчиво писарем хочется наняться, когда тебе в городе теперь самое почётное место дадут?».

Вот и влип, засыпался бы милый человек.

И пришлось бы «большевику» Сорокину-конторщику скинуть драповое своё пальтишечко и к стенке стать.

Не помогли бы письма хитрые и придуманная Катя с брюхом булочкой.

Хорошо ещё, что вовремя сообразил об этом.

А ведь я уж за крючок держался и остановился лишь только, что мне нужно было послушать, тихо ли в доме, чтобы можно было выйти незамеченным.

Пришлось осадить. Пришлось ещё помозговать немножечко.

Конечно, я без труда мог бы, задержавшись ещё на день, сделаться каким-нибудь безграмотным мужиком Степаном. Не так уж это трудно, хватило бы ума.

Но это было бы немного лучше, чем в петлю большевистскую засунуть голову. И я не сошёл с ума. Слава Богу: не дошло ещё до такой сумасшедшей крайности, чтобы я додумался наняться в работники и ездить потом в сорокаградусные морозы за сеном на семи санях. Кулачки-то чалдонские мне известны. Слава Богу, знаю, как они кишки выматывают.

Был ещё третий выход: прицепить к согнутой ноге заносимую деревянную ногу, но где её возьмёшь так скоро?

А время не терпит.

... Да. Я мучительно напряжённо думал тогда, бегая по тесной комнатке.

И хорошо, что предпочёл вот этот вот проделанный мною рискованный манёвр.

Тем более, что удачно его выполнил.

И благодаря этому только въехал снова в Н-ск.

Въехал не как-нибудь, а тем же Шайкиным. Командиром Шайкиным. Во главе отряда.

Я был измят, обтрёпан, грязен. С носа слезла кожа, и под ним было мокровато от морозов. Платка у меня давно уже не было, и я обходился мохнатой рукавицей. Это ещё и лучше. Это ещё более помогает мне поддерживать боевой, молодцевато-ухарский «революционный» вид.

Бережливо сохраняя этот «вид», я чуть свет был уже у Чрезвычайной Следственной комиссии (она только что сорганизовалась). Допуск потребовал смело и заносчиво, прошёл важно, сел небрежно.

— Разрешите быть полезным... Сообщить вам кой о чём. Но предчека был груб, как... мужик.

— Подожди, — обрезал он.

Честное слово, я чуть было не ушёл: хм! Пожалуйста! Могу совсем даже ничего не говорить, если так уж некогда!

Другой бы так и сделал на моём месте.

Но я задержался. Ради Советской власти, которой решил служить, задержался.

К тому же я и не уважал его нисколько.

Посадят же этукую чувырлу, прости господи! Воображала, видимо, — рукой нехватишь. А что представляет из себя, разобраться ежели? Взять хотя бы это вот: поставил на стол стаканчик для яиц всмятку. И решил, что пепельница. Ему что, была бы ямка, вот и пепельница... и это предчека называется. Десятками жизней наворачивает. Хватает же нахальства у людей...

— Ну, в чём у тебя?

Я рассказал — в чём. Есть тут сволочи. Пока не поздно, ещё можно будет зацапать.

Но я пересоллил, удивил обилием сведений. И это было худо.

— Покаж, пожалуйста, документы... Зарайский! Посмотри-ка, брат, у него.

А через пять минут мне дали анкету. Ненавистную анкету в сорок два вопроса.

— Я, собственно... Хотя, что ж, — небрежно сказал я, — ладно, если это так уж нужно. Ха-ха! Меня это не задавит.

И я любезно засмеялся.

И написал уверенно и крупно, как всегда.

«Сын мучного торговца Самарск. губ., гор. Бузулук».

«Окончил четыре класса Самарск. реальн. училища. Из 5-го был исключён за политические убеждения».

«В армии Колчака на должности заведывающего судной частью 67-го Сиб. стр. полка».

«20 дек. сего 19-го года с пятнадцатью солдатами 6-й роты перебежал к партизанам Почугаевского фронта, принеся с собой три пулемёта и 2 ящика патронов».

«Принял командование над повстанческим отрядом в 65 всадников и с 21-го по вчерашний день противодействовал продвижению отступающих белогвардейских банд. Причём без всяких потерь взял в плен и конвоировал в Н-ск 193 чел. колчаковской пехоты при 140 винтовках и с обозом в 36 саней».

«Сочувствую коммунистической партии (большевиков), как единой защитнице трудящихся».

«Никакой вины за собою не признаю».

«Стремлюсь всемерно послужить Советской власти. Считаю, что буду особенно ей полезен в качестве продовольственника в армии, как практически знакомый с производством мучных операций с 16-летнего возраста...»

Написав это, я дружески протянул руку, крепко пожал чужую (неприятно волосатую и жёсткую) и вышел.

— Рубикон перейдён, — сказал я, решительно тряхнув головой и свистнув, как умел. И добавил, подбадривая себя:

— А что же струсил? Тетеря же ты, братец, как я вижу! Забыл, что смелость города берёт.

5

Я, конечно, не мог и думать, что мне не укусят моих пальцев, после того как я сам затолкал их в прожорливую пасть.

Но я не думал, что это сделают так скоро.

А это сделали в тот же день.

Ночью я сидел уже в концентрационном лагере, зная, что в квартире у меня проведён тщательный обыск. Я видел это тогда по поведению арестовавшего меня т. Зарайского.

Можно было сотни раз убежать. Но я и тут этого не сделал.

Зачем? Я был почти спокоен за себя. А кроме того, мне и самому-то казалось, что я предан Советской власти и никакой другой не хотел бы служить.

Только об одном беспокоился, и то немного: чтобы не потерялись весьма важные мои документы, имевшиеся у меня от прежней Советской власти. Я не заглянул перед арестом в чемодан. А мало ли что могло быть до этого. Хозяйский Гошка мог любопытствовать и стащить. Даже просто — выбросить, отыскивая для себя что-нибудь более путное. Ведь они же лежат в кармане чемодана. А это так близко! Стоило только Гошке открыть крышку чемодана, чтоб он чисто механически на них наткнулся в своих неопределённых исканиях. Другое дело, если б их взял т. Зарайский. Я был бы вполне спокоен. Вполне спокоен.

В сущности, они так и лежали даже (если уж на то пошло), чтоб попасться к тому случайному, кто вздумает обыскать, «ощупать» наш жирно-важный дом.

...Через десять дней меня вызвали на допрос.

Их сидело пятеро.

— Ну, Петенька, крепи, брат, свои позиции, — сказал я сам себе, чтобы не очень уж трусить. — И высылай всё на разведку, пока можно: перекрёстный огонёк будет не из лёгких.

Но — странное дело! (Для меня, строго говоря, не странное: я-то знал, чем это объяснить. Просто: Гошка не тронул документы, и они попали к Зарайскому. Вот и только.) Но так или иначе, а выходило, что пятеро этих неряшливых добродушных простаков меня вызвали исключительно с той лишь целью, чтоб отдохнуть несколько в приятельской беседе между трудными допросами. Антракт, так сказать, себе устроить. Никто из них даже не заикнулся спросить меня о чём-нибудь из моей личной жизни. Правда, два вопроса, брошенные как-то вскользь, заставили меня раз вздрогнуть (снаряды низко разрывались). Но это относилось не ко мне, и в худшем случае могло быть лишь прелюдией. А оказалось потом, что это даже и прелюдией не было. Они буквально хотели показать мне, что нас всех шестеро. И вот мы, все шестеро, немного посидели, от нечего делать поговорили о знакомых мне однополчанах-офицерах из числа оставшихся в живых, и этим кончилось.

Я несколько нахохлился сначала: надо же было показать им, что в глубине своей души я оскорблён беспричинным десятидневным арестом. Но надо же было показать и незлобивое простодушие, чтоб продолжать быть симпатичным.

Я разговорился и был любезно словоохотлив. Я вполне доказал им, что у меня тот же угол зрения на вещи, настолько тот же, что уж, если на то пошло, я вполне мог бы сидеть с ними шестым, не нарушая гармонии событий.

И вот я шёл домой.

Я шёл, подталкивая ногою шевяки*, посвистывал и напевал, как мог. Шёл, как влюблённый. Больше того, как влюблённый, пользующийся взаимностью: полушубок немного нараспашку, грудь вперёд... Ещё бы! Я наконец-то миновал и пороги: прошёл через Чека. Я был свободен и независим. Мало того, я мог даже претендовать на то, чтобы стать шестым. Я мог сесть шестым и быть таким же веским и значительным, как и остальные пятеро... И я буду шестым, вот помани ты моё слово!

И я ещё немного распахнул, голову поднял повыше, грудь ещё немножечко вперёд.

Девушка, девушка с мышкой,
С мышкой ходит под мышкой, —

напевал я самым тоненьким ликующим голосишком.

6

Дома, в своей комнатке, застал чужого. Он был большой и лысый, широкоплеч и грузен, в английском френче и в больших козых шудерсах**.

Так и есть! Вон и его манатки. Этого ещё недоставало!

Я намеренно не скрыл досады и недоумения.

И он смутился.

— Извините, пожалуйста! — сказал он. — Я тут у вас с разрешения хозяйки. Пока вас нет. Разрешите: Михаил Кронин.

— Шайкин.

* Шевяки — сибирское название помёта скота, чаще всего — замёрзшего конского.

** Шудерсы — восходит к английскому «shoes» (ботинки), в наше время применяется в форме «шузы» (жаргонное название обуви). Армия Колчака была вооружена, экипирована и обеспечена боеприпасами за счёт поставок из США, Великобритании, Франции (чехословацкий корпус), Японии (семёновцы). А. В. Колчак оплачивал эти поставки золотом из захваченных белыми ещё в Казани фондов Российской империи, в своё время эвакуированных из Петрограда.

— Представьте: я сразу догадался. Выпустили, значит? Очень рад за вас. Извиняюсь! Удаляюсь, чтобы не мешать...

Он свернул трубочкой свою постель и вышел.

Голова у него была большая, красивая, и во рту солидно скалился коричневый золотой клык.

Типичнейший полковник! — решил я и ярко представил себе, как он, задрав свою упрямую щетинистую голову с лысиной на темени, орёт: «По жалопе-рам!.. На одного линейного дистан!.. ция... Равнение на пра!.. ва... Полк!.. Шагом... ммарршш!..». Да, покричали, подёргали нашего брата. А вот не хочешь ли теперь, братец, в общественной столовой тазики с помоями выносить? Ловко это в шудерсах-то: шась-шась, шась-шась... Не хочешь? Ну, тогда — в лагерь, батюшка мой? В лагерь пожалуйста. В подвалах посидишь, вшей покормишь. Узнаешь у нас кузькину мать...

Но я был гораздо более доволен своей свободой, чем сердит на этого человека в шудерсах, и потому не мог долго злорадоваться.

К тому же мне было и некогда. Нужно было выдернуть из-под койки свой чемодан и торопливо заглянуть: как там?

Я так и сделал. Документов не было. Хороший признак.

На их место бережно положил выданную мне из Чека бумажечку о прохождении через следственную комиссию.

Я ещё раз прочитал её и любовно разгладил прежде, чем положить.

— Чепуха, а славная вещица! Можешь служить, — сказал ей я.

Потом слазил в подполье. Там всё, как и было. И колчаковки, и браунинг, и две бутылочки спирту. Так и лежали там, как я их припрятал, когда принёс их из-под крыши. Впрочем, я ещё утром знал об этом и лазил затем только, чтоб убедиться.

Потом я снял крючок с двери и начал поить себя чаем.

В комнату заглянула хозяйка.

— Дашка сказала, что Пётр Сидорыч вернулся. Посмотреть хоть на него... Здрастуйте!.. С освобождением!.. А мы уж думали, что расстреляют вас.

Я нахмурился: не нравятся мне эти шутки плоские.

— Эка сказанули! Наоборот, бить других меня ещё скоро пригласят. Вас ведь много: не перестреляешь сразу. На этот раз я засмеялся, а она потупилась.

— Кто это без меня у вас тут завёлся? — кивнул я в комнаты.

— Доктор какой-то. Сдались вчера. В винный склад их всех сначала запирают. Самих-то отпустили, а вещички-то отня-

ли... Жена у него да дочь. Я и то подумала: дочь — невеста. Пётр Сидорыч — холостяк, вот и поженятся. Так ведь и бывает: влюбляются в того, кто близко.

— Они где же, все тут?

— Все. В той вон комнате, где мамаша ваша жила... Что же сделаешь, как не пустишь. Может, и мой где так же... По чужим.

Она прослезилась и ушла.

А я не поверил тому, что это доктор — не похоже что-то, и решил, что недурно будет «пощупать», что это за молодец. Пусть даже это будет так себе рыбёшка, что из этого? Робинзон-то Крузо из чепухи себе положеньице состряпал.

И, подумав так, я размечтался о том, как крепко пожмёт мне руку и поблагодарит за сообщения пред. Н-ской Чека тов. Гурьев.

7

Я не стал долго мешкать: я в тот же вечер вышел в зал и крикнул господина Кронина. Товарища Кронина.

Он был очень отзывчив и пришёл тотчас же.

— Вы, пожалуйста, располагайтесь у меня, как дома. На мужской половине, так сказать.

Он даже покраснел от моей любезности.

И ничего не ответил, так был не находчив.

Вошла жена его.

— Можно? — спросила она.

Я ответил, поднялся и представился.

— Я здесь буду спать, Лёлочка, — ласково сказал ей Кронин. — Пётр Сидорович разрешает великодушно... Я сам! Я — сам, Лёлочка! Ты — напрасно. Это вот всё, что нам оставили, Пётр Сидорович, — дорожный тюфяк. Должно быть, знают, что у меня ревматизм страшный. Спасибо, Лёля! Пойди спи! Я и сам бы постлал с успехом. Ну, пойдите! Спокойной ночи!

Она, тихая и ласковая, поцеловала его в лоб. Он поцеловал ей руку.

— Спокойной ночи! Пойдите, друг!

Ревнует, догадался я и с любопытством посмотрел на эту пару.

Да, она, видимо, была красавицей когда-то. В сущности, она и теперь ещё довольно интересна. Ей лет так 35 ещё, не

больше. И — лет на 12 меньше, чем ему... Какая подкупающая простота в движениях...

Она задержалась чуть-чуть в дверях, чтобы быть любезной и сказать мне что-нибудь.

— Пётр Сидорович тоже давно на службе? Давно воюете?

— Да, вот сгубила грамота, отдуваюсь... Уже года 3—4 воюю.

— У-у! Тоже значит... вояка давний. Тебе будет удобно, Миша?

— Благодарю, очень даже удобно.

— Спокойной ночи! — грустно сказала она и вышла. И вместе с ней исчезло впечатление тихой ласковости.

— Вы бы на кровать ложились. Ложитесь на кровать, господин полковник!

Я намеренно назвал его полковником: я охотился. Я впился в него глазами, стараясь уловить момент, когда он вздрогнет.

Но это был старый и матёрый волк, как я сразу же увидел. Он даже ухом не повёл.

— Спасибо, спасибо! — небрежно сказал он. — Маленькое неудобство полезно даже. А я и к большим привык.

Тогда я применил другой подход. Я стал добродушно-доверчив и легкомысленно болтлив. Я играл, как артист. И в то же время внимательно следил за впечатлением.

— Только коллективизм! Обязательно! Клин клином вышибают. Нельзя бороться с массой и быть одиноким. Чтобы предотвратить опасность, надо обдумывать противодействие в три, в четыре головы. Выигрывают те, кто хорошо играют. А играть хорошо и удачно можно только подмигивая друг другу. Только в этом может быть успех...

Но Кронин решительно не клевал. Не шёл ни на какую наживу.

Сел на пол на постель, подпёр волосатой рукой голову, щурил глаза, затягивался, пускал дым.

И молчал.

Но я недаром был бестия. Я нащупал-таки «точку». Я сказал:

— Да. Интеллигенция не пошла с народом, и вот результаты. Сколько погублено, разрушено, разбито!..

И Кронин отозвался.

— Это верно. И мало того, что мы не пошли за ним, мы против пошли. Я удивляюсь, где была у нас наша голова, когда мы пошли топтать крестьянские нивы, эсерствовали, злобствовали и клеветали...

И он немножечко разошёлся. Он приоткрыл неосторожно занавесочку и поздноватое спохватился. Мне было уже вполне достаточно того, что я узнал.

Но я решил не пугать птичку.

Я даже сделал вид, что сплю, и тихонечко сопнул носом.

Полковник смутился, видимо. Пробормотал что-то, поднялся, захрустев ревматическими костями, повернул включатель и, ещё раз похрустев, успокоился.

— Завтра доскажешь, гусь. Завтра в Чека доскажешь, — мысленно сказал я ему.

...Хотя... Молод же ты ещё, Петенька! Зелен. Потому и срываешь яблоко зелёным, когда оно ещё ни к чёрту не годится. Ты вот узнал сегодня, что есть смысл даже бутылочку одну в ход пустить, чтобы развязать язык. Ты и пусти. Куда же тебе так спешить. Товар, друг мой, всегда лицом преподносят. Хорошие-то торговцы, кто продавать-то умеет...

...Правда! Не возражаю. Это ты хорошо придумал. А утро вечера ещё мудренее... Спи, брат Петруша... Спи, Петенька...

И я заснул, весьма довольный событиями прожитого дня.

8

Я проснулся часа через два после того, как заснул.

Проснулся от мысли: а вдруг они тоже не пойдут.

Они «американские купоны». 200-рублёвые билеты внутреннего государственного займа 1917 года. Прочные, чуть не коленкоровые.

И чем больше вдумывался, тем более трезвел — сознавал: не пойдут.

Я едва дождался рассвета. Я даже осунулся. Я постарел. И я проигрывал:

Сто двадцать тысяч рублей!

120 000 рублей я проигрывал.

Я ещё до свету слазил за ними в подполье.

Я не мог пить чай: обжигался, нервничал.

— Надо скорей по городу побегать, — сказал я Екатерине Ивановне, — осталось пять тысконок, так успеть козырнуть, пока ещё козыри.

— Ничего уже теперь не купите. Вчера уж не ходили. У меня вот тоже четыре тысячи пропали. Ни за грош, ни за копеечку. Все говорили, что эти... американские купоны-то... ходить будут. Я нарочно ещё и обменяла. Чаем ещё напоила

этого... из казначейства. А теперь — на вот тебе. Прямо с ума сойти. Ведь три дня тому назад тридцать пудов муки купить можно было...

Я не мог пить чай, я выскочил.

9

Наглой, хищной птицей носился я по городу! Во мне вдруг забилась кровь папаша. И только она спасла меня.

«Американки» доживали последние минуты.

Но я с честью вышел из положения. Я потерял только полстоимости.

Я устал и ослабел. Но был почти доволен: я принёс домой лисью шубу и даже кой-что из серебра.

Пришёл я тихонечко, крадучись, поскорее спрятал дорогую часть покупок и лёг, закрывшись одеялом.

Мне бы всё равно не уснуть: я не привык спать днём. А тут ещё пришёл Гошка. Ну и повеса же этот парень! Революционный переворот, как там ни говори, все сосредоточены, серьёзные, деловиты, а он хоть бы ухом повёл. Вот и сейчас. Выменял на что-то какую-то гармошку, пробует, «налаживает» и пиликает. Нашёл же время, нечего сказать.

Пришла и Екатерина Ивановна.

— Пётр Сидорыч! Ну что, пришли? Купили ли что-нибудь?

— Как же, как же, Екатерина Ивановна! Дал бог. Почти полностью. Это эссенции уксусной флакончик. В аптеке. На удостоверении отметку сделали и не дали больше... Нет-нет! И не думайте, Екатерина Ивановна! Конечно, у Гоши ноги молодые, может и сбегать, но напрасно, Екатерина Ивановна! Очередь стояла громаднейшая, и так впустую разошлись: не стали продавать. Это я утром ещё... Колбаса по двести. Ну, что ж, и то давай сюда... А это у букиниста — тут вот на углу. «Женщина и социализм». Бебель*. Мне, кстати, нужно было в этом роде что-нибудь. Я и ещё чего-нибудь такого, революционного, намеревался, да не оказалось...

— Вот счастливый вы, Пётр Сидорыч. Или ловкий ли. Мы так вот так и просидим со своими... Гошка! Бросил бы ты эту тальянку свою к чёрту. Она ведь и после не убежит! Беги-ка! Пётра Сидорыч вот скажет куда. Сама-то возишься тут с ран-

* Август Бебель (1840—1913) — один из основателей и виднейших деятелей германской социал-демократии и 2-го Интернационала.

него утра с тем, с другим, прости Господи. А уж кроме тебя никто пальцем не ударит. Никому не нужно, хоть всё пропадом пропади.

И пошла!.. Решительно у Екатерины Ивановны кишка лопнет от досады и зависти.

А тут ещё Гошка — не шевельнулся даже.

— Купишь теперь на них чо-нибудь! — заорал он. — Обнималась с ними сидела: копейки не выпросишь. Вот и покупай теперича!

— Ну, будет! Распустил хайло-то. Только на это вот тебя и хватает!

— «Хватает!» Цаца важная, подумаешь! Недолго уж важничать-то. Вытряхнем вот: большевики придут...

И Гошка с треском оторвал что-то у гармошки.

Но и Екатерина Ивановна тоже кипяток порядочный: так хлопнула дверью, что у дома зубы звякнули.

Пришла она в себя только через полчаса. И то мне пришлось успокаивать.

— Это уж просто фарт, Екатерина Ивановна, ни больше, ни меньше. Я и сам не знаю, как досталось. Трудно!

— Мне бы вот вас надо было попросить спустить деньги-то. Вы бы уж заодно.

— И я бы с удовольствием, если б вы мне предложили. Да вы дайте их мне, на всякий случай, я их китайцу, может быть, ещё продам. Давайте-ка.

— Спасибо, Пётр Сидорыч. Уж я и не знаю, чем вас... Вот, нате вам три тысячи. Потрудитесь уж, не то... Три тут только. Четвёртую-то я в жалованье прислуге выдала. Три осталось. Ну, не удастся — так бог уж с ними. Ребятишки будут играть.

— Конечно. Есть о чём горевать, Екатерина Ивановна, вам в особенности. Были в жизни бубны козыри. Теперь стали черви. У нас найдутся и черви. Мы их и червями по зубам. Не правда ли?

— Да я и то думаю: проживём ещё как-нибудь. Дотянем. Не всё, поди, такая жизнь-то будет...

И мы разошлись, довольные собою и друг другом.

10

Я два раза виделся днём по делу и с Гурьевым, и с Зарайским. Но я ни слова не сказал им о Кронине, этой опасной щуке из враждебного нам лагеря. Не сказал потому, что я не

люблю необоснованных заявлений. Это — во-первых, а во-вторых, товар же гораздо выгоднее преподнести лицом во всей его солидности и ошеломляемости.

И вообще нужно уметь учитывать моменты. И уметь ловить их: «лови, лови часы любви» и всякие другие там часы. Вот мудрость жизни. И первейшая заповедь живого... Да. Теперь тебе, Петенька, ещё романчик нужен, чтобы быть вполне счастливым. Красочность жизни измеряется количеством романов. Честное слово. Вот тебе бы взглянуть, как выглядит дочка у этого Кронина...

Но обратно я шёл с другими мыслями. И это потому, что я зашёл в гостиницу «Андалузия», где ещё так недавно кичливо олимпийствовал наш казачий штаб. Теперь там был штаб почугаевского фронта.

— Вот хорошо, что вы пришли, — сказал мне высокий и сухой начальник штаба. — А мы даже посылать намеревались. Вы что же это не по-военному? Ещё вчера вас ждали. Немного посидеть пришлось, товарищ Шайкин? Это не душевредно... Вот что, товарищ, — сказал он вдруг по-другому — сухо и властно, — вы готовьтесь. Дня через два, а може, и раньше, мы дадим вам боевое задание суток так на пять. Адрес ваш тот же?

— Тот же.

— Ну, вот и всё, — сказал он и повернулся.

Я сказал «слушаюсь» и пошёл в свой отряд.

Я был рад: мечта сбывается. Я буду шестым, таким же веским и значительным, как и остальные пятеро.

Но я был и печален: «Бог знает, что станет со мною впереди». «Паду ли я, стрелой пронзённый, иль мимо пролетит она?».

И потому я был не в духе.

— Вот-те на! — резонёрствовал я дорогой. — Скромность неуместной оказалась. «Почему вы не явились? Ещё вчера должны были прийти!» Да потому и не являлся, что арестован был. Оporочен. Кто вас знает, могу ли я после этого защищать власть ваших советов и что там ещё.

А почему же не можешь? Если б не мог, так ещё бы там сидел. Ясно. А то бы и в подвальчик ещё перевели... Маменькин сынок ты, правдивое слово я тебе скажу. Привык куражиться и конфеты жрать после того, как тебя в угол поставят. Когда это ты и выбьешь из себя закваску эту старую? За маменькину-то юбку нечего держаться, — теперь, брат, надо на своих ходить. Это тебе не колчаковщина.

Заборочка в зале очень тонкая и не доходит, а не всё слышно.

Кронины пьют в зале чай, надо полагать. Я недаром навести уши, приподнявшись с постели.

— Ну не узенькие ли это, не коробочные ли люди! Ну скажите, пожалуйста! В то время, когда под ногами толстопятой революции целыми тысячами головы хрустят, они пуговичку... Спешат поднять дрянную пуговичку, которая оторвалась от платья и может втоптаться в кровь и грязь... Эх! Шкурники, чтоб вас холера побрала!

— Не нервничай, Миша. Тебе-то что?

— Нет, ты подумай, Лёлочка. Никто аннулированных бумажек у неё не берёт, так она ими прислугу рассчитала. Ах ты фарисей ты проклятый! Вот и расчисти ты это болото мещанское. Хватит повозиться.

— Что такое? Вот так ловко! — подумал я.

Но это ничего, что подумал. А вот меня чёрт дёрнул поискать щелочки в заборке. И когда, после нескольких минут нешумных поисков вверху, я лёг на брюхо и полез под кровать, я задел стул ногою. Ну вот, так и знал! Тьфу! Скажите, пожалуйста: не лежалось человеку...

— Это вы, Пётр Сидорович? — тревожно отозвался Кронин.

— Михаил Васильевич? Это вы? — ответил я, торопливо сядя на койку и протирая глаза. — Войдите, Михаил Васильевич. А я заснул немного, слышу, разговаривает кто-то: должно быть, чай, думаю, пьют. Пора подниматься, значит.

— Папочка! Куда же ты? Чай остынет! — окликнул его из залы молодой девичий голосишко.

— Сию минуту, Веруся, — крикнул Кронин и сказал мне тихонечко:

— Пётр Сидорович (мне, право, и неудобно беспокоить вас), замолвите за меня словечко перед Екатериной Ивановной: не нашёл ещё квартиры, а она просит уйти. Опасается, что скомпрометирую.

— Хорошо, хорошо, Михаил Васильевич. Я и сам даже думал об этом, — ответил я, соврав немножечко.

— Не желаете ли стаканчик чаю выпить? Пожалуйста вот сюда, в гнездо семейное.

Я вскочил, чтобы приодёрнуться. Но — увы! «При дырявых сапогах и честь потеряна, и доброе имя потеряно». Прав покойничек Макар Девушкин. А ведь у меня даже не сапоги: у меня катанки. Большие, присядисто-рыхлые. И правый даже

рот разинул. Именно такие нужны были колчаковскому офицеру, перебегающему за день до переворота к партизанам почугаевского фронта. Но теперь они явно не годились. Тут как раз кстати были бы сапоги, отправленные с мамашей, — те, маленькие, с оригинальным вырезом вверх... Но не так уж это важно, в конце концов. Мы и на простой. За неимением гербовой — на самой простой.

Я ещё раз приодёрнулся и, приподнявшись в катанках на пальцы, чтобы быть ещё повыше, вышел с полковником Кроныным в зало.

12

Мы сидели на мягкой бархатной мебели и разговаривали. Я удивил себя тем, что отвечал удивительно впопад, а говорил бойко и легковесно: совсем как светский человек. Хотя что же тут и удивительного, с другой стороны. Недаром я сын мучного торговца. Но, несмотря на это, я нисколько не задирился: я был очень скромен. Я даже с этого и начал, когда мы вошли в зало. Я сказал: «Простой цветочек дикий нечаянно попал в пучок с гвоздикой», — и поклонился Верочке, пристукнул запяточками катанок, а её мамаше я поцеловал ручку.

У Верочки были большие чёрные глаза. Она оглядела меня ими быстро и как будто насмешливо. И сказала:

— В прозе это гораздо проще: бывший белый пришёл к белым.

Мамаша вспыхнула и поморщилась. И в самом деле — такая бестактность. Она, Елена Николаевна, ни за что бы себе этого не позволила.

Но зато я сразу же наметил, как мне быть. Я сразу же показал Верочке, что я, в сущности, дурачусь, играю в денди.

— Ах, как я стёр ногу в правом катанке! — сказал я ей и засмеялся.

И она вдруг засмеялась. Очень мило и просто. И чёрненькое пятнышко близ носа совсем утонуло в весёленьких ямочках и морщинках.

Ей очень шло её серенькое платьице с полосками. Такое простенькое и милое. Девичье.

Мы скоро разговорились по-деловому, по-серьёзному.

Но вот тут-то и влетел этот лоботряс Гошка. Вот уж действительно, что вырос, а ума не вынес.

— Пётра Сидорыч! А про вас говорят, что вы в Чеке служите! Этот... Мишка. Он там насупротив живёт. Подойдёт, говорит, ваш этот... квартирант. Посмотрит кругом и — туда... Уж много раз видели.

Все засмеялись: скажет же такую чушь! И я — тоже. Я даже больше всех. Не знаю только — удачно ли.

— Ха-ха! Что же это за Мишка? Я даже и не знаю такого.

— А вот приходил ко мне который. В реальном учится. Квартирант, говорит, ваш, низенький, чёрный. С матерью у вас живёт...

Я ещё раз засмеялся.

— Милая простота, — сказал я. — Я не только ходил туда, я даже там сидел и... даже засиживался. Дня три тому назад просидел там десять дней. Ха-ха!.. Чудаки вы с твоим Мишкой. Пинкертоны!..

И я ласково потрепал его затылок.

13

Этот верзила и дуралей мне все карты спутал. Хорошо ещё, при мне брякнул: хоть бутылочка целой останется.

Хм. Ты говоришь, что, быть может, он, продувной воробей этот, ничего и не понял даже. Не придал значения? Как же! Попал, брат, пальцем! И как ты мог это подумать, когда даже Верочка поняла. Недаром она так крепко, так ласково пожала мне руку, когда я пожелал ей покойной ночи. Даже как будто задержала её чуть-чуть в своей тёплой и ласковой ручонке. Я же чувствовал, что задержала...

14

Поднялся ветер: мне слышно, как он визжит, когда пролетает мимо, чтобы хлопнуть ставнем.

Кронин что-то замешкался и не шёл, а я завернулся в одеяло и уже готовился уснуть, как вдруг громко и властно застучали с улицы (с обыском?!).

— Кто там? — крикнула через двойные рамы Екатерина Ивановна, и чувствовалось, как насторожился испуганный белогвардейский дом. — А?.. Иди, Гошка, спроси, что ему надо.

Прошло долгих три минуты.

Оказалось, что солдат-повстанец к «командиру Шайкину». Подсунуть пакет в щель или в подворотню отказался: «Должен сдать под расписку».

Пришлось встать, засунуть ноги в катанки, надеть пальто и встретить.

В большом конверте, липком от клея, лежала бутылочная этикетка в игральную карту по величине. На одной стороне её значилось:

«Столовое. Белое. Торг. Т-во п/фирмой Герасим Иванович Гадалов и К^о».

А на другой:

«12 января 1920-го года. 10 часов вечера.

Командиру отряда Петру Шайкину

С получением сего немедленно, в полном боевом снаряжении, прибыть в Штабarm Почугаевского фронта.

Начальник штаба».

Далее неровно, но крупно, с упрямым нажимом было выведено: «Петренко».

Я прочёл это три раза. Обдумал, взвесил.

И решил: свой браунинг, что лежит под полом, я должен прицепить к поясу, ему нечего там больше ждать. Ныне отпускаешь...

В сумку я положил только два калача и две бутылочки со спиртом.

Через 15 минут я был готов. Катанки, жёлтый туго подпоясанный полушубок, шапка с ушами и чёрные лохматые рукавицы из собачин.

Ты и не знаешь, что я уезжаю, Верочка. Лежишь и ждёшь, скоро ли хлопнет дверь. Куда я ухожу и скоро ли вернусь?.. Иль, может, спишь ты безмятежно? Такая тёпленькая, ослепляюще-незнакомая и сладостная. Пряди-волосы, маленький курносик и высунувшееся из-под одеяла кругленькое голенькое плечико со свалившейся лялочкой... Ай-яй-яй, Верочка! Ты так и спишь с открытым ротиком. И — смотри: ты даже подушку чуть-чуть заслунявила. Ах ты, Слюнтяй Слюневич! Комочек загадочный, тёпленький, удивляющий...

Честное слово, дошло до того, что я даже расчувствовался.

— Екатерина Ивановна, — повывисив немного голос, окликнул я, — вы уж квартирантов очень-то не выпроваживайте. Я уеду, вам не так уж тесно будет.

— Ладно-ладно, Пётр Сидорыч! Уж если и будет что, так я теперь знаю, за кого... У кого помощи. Уж вы заступитесь... вы что: надолго, что ли? Когда вернётесь-то?

И голос у неё ласковый и липкий, так и тянется через заборку.

Я вышел в коридорчик. В дверях зало стояло и любопытничало трое. Только трое: Гошка, Екатерина Ивановна, Кронин. И — больше никого. Да-да. Хотя я не поверил и даже заглянул чуть-чуть дальше.

— Товарищ командир! — сказал солдат. — Вам бы катанок-то правый постегонкой* немного затянуть, он у вас каши просит.

И он засмеялся: так было много в нём невзыскательного добродушия.

Я чуть взглянул на катанок и ответил пренебрежительно.

— Ладно. В случае чего и соломой заткнём: ерят** ещё.

— Ну... Позвольте пожелать... — сказал я и шагнул к ним троим, стоявшим в дверях.

И первым порывисто протянул мне руку Гошка. Протянул и пожал крепко.

Я ответил ему тем же.

— До свиданья... До свиданья! — сказал я ещё два раза.

На крыльце кто-то из них чиркнул спичкой. Ветер выхватил брызнувшие искорки. Хлоп!.. Хлоп! — стучал ставень.

Смотрит ли она в окно? Или спит?

Было грустно мне. И весело.

«Паду ли я, стрелой пронзённый,
Иль мимо пролетит она?»...

...Ну и дам же тогда я себя знать.

15

По знаменитой ленточке-дороге двигается группа всадников. Человек так в семьдесят.

И впереди них я. Этот молодой да ранний. Пётр Сидорович, товарищ Шайкин.

На рыженькой лошадёнке рядом — Ветров. Такой сухонький и маленький. Военком отряда, товарищ Ветров.

Когда я пришёл в Штабарм, мне дали важное задание. Весьма важное.

И сказали:

* Постегонка (от «постёгивать, слегка стегать») — сибирское название сапожной драгвы.

** От *ершиться* (сиб. от «ёра») — ереститься, упрямитесь, задориться.

— А в помощь мы даём вам хорошего парня — товарища Ветрова. Слышали о таком? Преподаватель доброй половины всех наук в нашем партизанском военном училище и редактор наших писулек и газет. Уж с ним-то вы наверняка не пропадёте... Товарищ Ветров! Вот вам командир отряда.

И из соседней закуренной комнаты вышел тогда этот вот самый Ветров, что теперь едет со мною рядом — маленький, сухонький, но лохматый и мрачный.

Подошёл, пожал руку и сказал:

— Вы всё получили?.. Тогда двинемся.

И вот мы двигаемся.

...Уж скоро будет совсем светло.

Дорожка просёлочная и въётся-въётся ленточкой, и впереди никак не угадаешь, куда она повернёт.

Мы едем парами, чтоб не провалиться с упругого хребта дороги.

И стало вдруг совсем светло.

Взрзовело холодное белёсое небо. И высунулись кустики, деревьица, бугорки и весь отряд. Носы фиолетовые, глаза смотрят сквозь куржак, и стынет пар от лошадей.

И спать не хочется.

Хочется изогнуться, вытянуться в седле, захлопать крыльями и крикнуть звонким, радостно ликующе-вызывающим петушиным криком.

И я вытягиваюсь, изгибаюсь и кричу назад звонко и радостно:

— Рысью!.. Ма-а-арш!

Нестройно брякают винтовки, котелки, сопят устало лошади.

И снова шагом.

Въётся, путается узкая дорожка. Поднимаются, приближаются и отстают кусты. Всё больше розовеет небо. Всё ближе силы вражки чёрные. Всё больше страха. И больше радости. Чтоб стать шестым, я должен выпить эту чашу.

И выпью её.

«И Иван-царевич это будто — я».

И думаю о ней я: «О ней, о ней мечты мои». Глаза большие: горят порывами и тухнут грустью. «Черкешенка младая. Я на коленях пред тобою стою, молю»...

Солнце пристально греет. Осыпался с бровей куржак. Развязались языки. Весь отряд бодр, шутит. Скоро деревня, первый привал.

Остановились ненадолго, кто за чем. Ещё больше шуток. Полезли в карманы за кисетами.

— Заку-урь-и-ва-ай!
Гурьбой налетели вороны и шарахнулись.
— Карр! Карр! Кры! Карр!
— На тракт, на тракт! Там вам колчаковского мяса на полгода хватит!
— Ха! И мясо благородное: нежное и белое, что твои рябчики.
— Ха-ха!
— Васька! Да Вась, чёрт!
— Ну, чо тебе?
— Скажи же моей Гнедухе «тпру!».
— Ха-ха!
— У меня у самого губы смёрзлись. Даже калач никак не засунешь.
— Ха-ха! Може, и шаньга не пойдёт?
— А есть у тебя? Дай попробую!
— Ха-ха!
.....
— Ссадди-и-ись!

16

Дней через шесть здесь уже будут регулярные советские войска.

И потому белые, закупоривая узенькие дороги, вступая друг с другом в драки, бежали и тащились частыми разрозненными и разноликими человеческими стадами.

Безумные и отчаявшиеся, тифозные и вшивые, они шли, падали, вставали, истощались, умирали, бросали вымотанных лошадей, отнимали «свежих» крестьянских, торопливо, нервно дёргали, погоняли, «гнали» дальше и везли дальше своё отчаяние, коротенькую обрубленную жизнь, свой ужас и тифозную заразу.

И всюду: на пригорках у дорог, в лесу у дорог, в сёлах, в кустах, в ущельях у дорог — их ждали повстанцы и партизаны. Большое, рыхлое, панически настроенное стадо дробилось на куски. Их били в лоб, били в спину, окружали, расстреливали и рыхлой безвольной массой отгоняли в город.

Я ярко мог видеть, насколько сократил я путь, перебежав к партизанам почугаевского фронта. Я был далеко впереди этих жалких и несчастных.

Жёсткие серые люди в дохушках и в кочутках на лошадях, на лыжах мне уже не внушали дикого смертельного ужаса.

Я был равен им.

И — даже больше: я буду над ними.

Я буду над ними, если не паду сегодня или завтра.

17

Мы не успели отъехать и трёх вёрст от села, как нас догнал вершний крестьянин. Оказалось, что в село вошёл пеший неприятельский отряд численностью в роту и занялся мародёрством.

Мы посоветовались с Ветровым, как быть. И решили устроить засаду.

Остановились на пригорке. Спрятали лошадей. Протоптали к ним дорожки, чтобы можно было добежать быстрее. Чуть-чуть окопались снегом. Установили пулемёты. И стали ждать.

Впереди было чисто сажень на сто.

Я ещё издали увидел, что они шли в боевом порядке, развернувшись в коротенькие цепи.

Вот они совсем близко.

Впереди, сажень на пять, на десять от цепи, шёл генерал-старик. Может быть, это был полковник. Несомненно, его заставили так идти, и за дальнюю дорогу он привык быть храбрым.

Мы подпустили их на тридцать сажень, дали залп и чуть-чуть потарахтели пулемётом.

— Сдавайся!

— Бросайте ружья!

— Сдавайтесь, товарищи! — закричали мы.

Человек 10—15 (и в том числе старик-генерал) валялись в снегу.

Но кто-то что-то закричал, скомандовал.

Стоявшие замешкались и затоптались, но вдруг закопошились, увязая, и бросились к нам на пригорок.

Мы стреляли с партизанским хладнокровием и выдержкой. Пулемёты захлёбывались, заедали, но работали исправно. А они бежали, вязли, проваливались и распластавшись падали.

Но вдруг «ура» раздалось сбоку, совсем близко, на пригорке справа. Кто-то мельтешил меж деревьев, хлопал, суетился, кричал. И эти «кто-то» были конные.

— Ура-а! — ожила цепь.

— Ббей иххх!.. Урра! — закричали где-то далеко слева, но тоже на пригорке.

Положительно мы ничего не понимали.

Раздался лишь один наш выстрел. По всей вероятности, лишь Ветров догадался встретить загнувшийся конный фланг своим одиноким выстрелом.

По всей вероятности, он даже кричал нам что-нибудь.

Но мы не слышали.

Чуть-чуть согнувшись, мы торопливо бросились по топтанным дорожкам.

Кто-то кричал, кто-то махал шашкой, кто-то редко нестройно пощёлкивал из винтовок. Пулемёты молчали: мы их оставили в наших окопах.

— А где же Ветров? — вдруг вспомнил я. — Куда!? Повстанцы!.. Стой!.. Сюда, за мной, ребята.. Ура! — иступлённо заорал вдруг я.

Упрямая лошадь потопталась подо мной и ринулась навстречу конным.

Но... не знаю: я ли свернул её немного вправо, сама ль она сочла это за лучшее, но она летела почти что мимо флангадвигающихся навстречу конных.

Кто-то ещё, двое-трое скакали за мною сзади. Может быть, и больше.

Казаки! — увидел я.

Снег был мелок на пригорке, и потому, должно быть, один из казаков (самый крайний) с поднятой шашкой подвигался ко мне необычайно быстро.

Я растерянно стал сдерживать лошадь, желая чем-нибудь прикрыться, свернуть в сторону, избежать удара.

И я избежал его: он вдруг взмахнул вверх шашкой, запрокинулся и повалился набок. Отчего так, я и сам не знаю.

Но ещё раньше я увидел у сосны другого.

Он был без лошади почему-то и, прижавшись к дереву, просыпая патроны в снег, торопливо стрелял из маленькой казачьей винтовочки.

Я круто остановился и вытянул к нему руку. В ней оказалась мой браунинг.

Пак! — твякнул мой револьвер, а руку подбросило куда-то вверх. Пак!.. Пак!..

Он стоял боком ко мне, торопился и стрелял, как раньше.

Я был взбешён, видимо. Ибо лошадёнка подо мной взвилась от боли, скакнула раза три и остановилась.

До казака было лишь две сажени, ни в коем случае не больше.

Он только что вложил обойму. Вдруг испуганно обернулся ко мне и поднял винтовку. Такую маленькую с кругленькой дырочкой. И с двумя глазами по бокам: его глазами.

Я ясно видел его физиономию: большое, вздутое переносье и большие жёлтые усы. Вспомнились карты, водка, и я представил почему-то его голос. Да, он знаком мне.

Должно быть, я раньше выстрелил, ибо я видел, как он сатился, выпустив винтовку.

Зато и меня качнуло вперёд, назад. И левая рука вдруг задрожала и отерпла.

— Я ранен!? — сообразил вдруг я.

И страх перед расправой, страх смерти овладел мною с неодолимой силой.

— Ах, скорей!.. скорей!.. скорей!.. — стонал я вслух, и, бережно откинув левую руку, больную, раненую руку, наклонившись, браунингом в правой бил часто и сильно по вытянутым шейным жилам мою лошадь.

Минуты через три я выехал к своим солдатам. К маленькой группе человек в десять.

— Где Ветров? Ветров где?

— Там, должно быть, — ответили они.

Я снова вспомнил, что я ранен в руку. Но здесь уже не опасно: они не могут гнаться.

— Что такое?

Я кивнул им головою: они правы. Они угадали. Я сморщился и стал ощупывать осторожно руку: где попала пуля и почему не больно.

И вдруг почувствовал, как что-то мокрое и тёплое облило брюхо.

И вспомнил, что в тот момент, когда отерпла моя рука, кто-то ожёг мне грудь, прикоснувшись к ней угольком горячей папироски.

— Неужели? — недоуменно ответил я.

Но я и знал уже: да, я ранен где-то в грудь, и мокрое, и тёплое уже в моих штанах и даже катанках.

Во рту стало сладковато-кисло. Я плюнул. Бледно-красное пятнышко появилось на снегу.

Я ослаб, боясь пошевелинуться, боясь дышать. И услышал, как близко, тут же вот, сразу за дырочкой, что около левого соска, судорожно сопротивляясь, трепещет и громко, предсмертно громко, стучит моё большое, выпирающее из груди сердце.

Я наугад прижал к нему полушубок, прикрыв сверху рукавицей дырочку.

Затошнило. Мелькнули солдаты, снег, деревья. Неясный шум...

Я повалился, и меня не стало.

18

Вот уже дней двадцать, как я лежу в палате. Поверх одеяла я покрыт ещё полушубком и двумя шинелями. И, тем не менее, холодно, если не спрятаться. Я сгибаюсь сам во всех шарнирах и прячу под одеяло руки, такие незнакомые, волосатобелые и жалкие.

Но меня ничто не огорчает, и весь я полон дремотной, тихой радостью. Ещё бы. Ведь я же не могу забыть, что теперь, после ранения, я кой-что представляю из себя. Я кой-что значу для Советской власти. И потому я удовлетворён собою.

— Петенька, — говорю я сам себе с умиляющей заботливой лаской добродушной бабушки, — Петенька!.. Ну, спи. Спи-спи, дружок!..

И я сплю.

Этому никто не мешает.

Помню, когда я ещё был в полубреду, приходил ко мне легко раненный в руку Игнат Панов, прозванный нами «Кешкой».

Я видел, как прыгали лицо и губы Кешки. Но говорил как будто бы не он. Говорил кто-то по телефону за сто вёрст. Слова приближались, отлетали, глохли и терялись...

Больше никто у меня не был.

Я упросил санитаря сходить на Воскресенскую, № 43 и спросить там, нет ли письма командиру Шайкину. Лежит в госпитале (был, мол, тяжело ранен в грудь) и очень интересуется, нет ли письма.

Через два часа я снова попросил его не забыть добавить там (когда он пойдёт на Воскресенскую, 43), что, мол, Пётр Сидорович всем Крониным очень низко кланяется.

После того я пригладил волосы, загнул внутрь грязные обшлага рубашки, вычистил под ногтями и тщательно прикрыл себя и грязную простыню убогоньким и безволосым одеялом.

Но я напрасно ждал.

Ко мне никто не пришёл ни в этот день, ни на другой день, ни на третий.

Даже — Гошка.

Свидетельство о ранении, заботливо взятое мною из госпиталя, мне запачкали всё-таки, уж как я ни старался избежать этого. Так и написали: «Бывший прапорщик 67-го Сиб. стр. полка». И когда я избавлюсь от этого «бывший», чёрт вас возьми совсем! Да и что значит «бывший»? Ты смотри, каков я настоящий. Бывшее-то, брат, обманывает. Бывает и так, что ты его, как бывшего милого поросёночка, на красную доску записал, а сам потом и не видишь по простоте своей и глупости, что в настоящем-то он уж свинья целая. Вот как оно обыкновенно бывает, друг мой любезный. Вот оно как. А бабочку бомбисид ты как бывшую гусеницу к обжорам причислил, а у неё и пищеварительного канала-то нет, если б ты хоть что-нибудь соображал в естествоведении.

И ведь как мало гадости надо, чтоб хватило запачкать хорошую бумажку! Не показывать, говоришь, её? Да ведь обидно не показывать. Ею даже и сейчас можно утереть нос кой-кому. «Бывший»? А хотите, мол, знать, что я такое как настоящий? Вот, будьте добры, загляните, пожалуйста, в графу «подробное описание объективных признаков». Не по носу тебе тут написано? «Сквозное пулевое ранение мягких тканей грудной клетки левой стороны. Входное отверстие на сосковой линии, на уровне 3-го ребра, выходное — в области верхней части левой лопатки». Да. Изволили прочесть, что тут написано? Чёрным по белому. А вот оно и в натуре, не веришь ежели. Да. Я полагаю, что ты можешь сообразить, братец, чем это пахло. Полтора сантиметра от сердца, я тебе скажу! Вот тебе и «бывший». Ты всё с налёту норовишь прижать, чтобы самому вылезти. А вот ты «настоящий», так покажи-ка, господин хороший, что-нибудь подобное, что ты отдал когда-нибудь Советской власти. Хотя что-нибудь такое же, как вот у меня. Пустячки какие-нибудь. Эге! То-то и есть! Сфендрила? Ну и сократись тогда! Вались подальше!..

Рассуждения повысили моё самочувствие. А скоро я и совсем успокоился. Я сообразил, что цифру 9 два пустяка переписать на 8. И тогда все будут читать после «бывший»: «Перебежавший к войскам Почугаевского фронта 20-го декабря 1918-го года». Вот оно! «Бывший», но ещё год тому назад перебежавший. А ты вот не «бывший» и перебежать тебе поэтому всё равно, что раз плюнуть, а ты и не подумал перебежать. Кто бы говорил, а уж ты-то бы, брат, посидел да помолчал. Ещё не дорос немножко разговаривать...

Да. Это верно, что цифру 9 можно на 8. Совсем будет незаметно. Это я хорошо придумал.

Кстати, завтра же я заполню и анкету: партизан... пострадавший... желаю вступить в ряды Р. К. П... большевиков...

Обязательно завтра же...

Но вот и Воскресенская!

Часто-часто забилося сердце, и не знаю, побледнел ли я, или лицо моё румянцем залилось. Но что-то было с моим лицом. Так сильно я разволновался.

Но... что это такое?

Над домом 43, над нашим важным толстым домом по Воскресенской висел большущий флаг Красного Креста, а на воротах значилось: «Тифозный барак № 11».

Уж этого-то я никак не ожидал. Я остановился в недоумении. Я буквально растерялся.

Но во дворе и в этот раз всё было по-старому. Тот же разбитый памятник, служивший точильным камнем, тот же плотный, туго набитый уравновешенный уют.

Во дворе же я встретил расстроенного Гошку. Я, конечно, обрадовался и протянул ему руку, как взрослому. Стоял я прямо, чуть-чуть приподнявшись на пальцы в катанках, и руки-ноги мои верили, что на них смотрят. Из окна смотрят. Её глаза, глаза Верочки.

— Как дела, Гоша?

— Чо «дела». Перевернули всё ногам к шее. «Коммунисты». Кому на, а кому нет. На готовенькое-то...

И, отвернувшись от меня, он заорал уже под крышей.

— Тпру! Тпру, говорят!.. С палкой по деревьям пролетал? «Пролетарья». Соединилась со всех стран!.. Да тпру ты, язви тебя в душу! Чтоб тебя хвороба побрала!

Ну, конечно, я ничего от него не узнал.

Но зато я сразу узнал всё от Екатерины Ивановны.

— Как же, в губернию уехали. Службу там получил. И службу, говорит, хорошую... Вам-то што! Вы тоже вот за коммуны пострадали. Генералом вас надо сделать. А вот — нам. Горбом которые нажили. В карман не спрячешь. Под барак вот дом взяли... Во флигеле вещи-то ваши. Все ли собрала, не знаю...

Моя новая каморка-комнатка показалась мне такой ограниченно-пустой и печально-убогой. А тут ещё наивно-глупая телеграмма от моей мамы, лежавшая распечатанной на моём столе:

«Петенька, я в Иркутском не пустили дальше всё взяли жёлтый чемодан тоже и всё что там было не успела деньги тоже пропали не берут Шайкина».

Я совсем расстроился.

Ну скажи пожалуйста. Шопотки во все ротки. Уж никак иначе-то не сумела. Шифрованная телеграмма, нечего сказать! «В Иркутском», а где там в «Иркутском»?.. И-эх!.. Человечек, прости господи!..

При таких условиях нельзя было делать что-нибудь. Я лёг и завернулся одеялом.

...Да. Всё пропало. На развалинах, Петенька, приходится сочинять тебе твою новую жизнь... И — эта девушка. Близок локоть, да не укусишь. Да и близок ли? Четыреста вёрст, дружок! Так вот, с бухты-баряхты, туда ведь не поедешь. Да и поедешь, так что толку? Вот потому-то и сказал Пушкин: «Кто устоит против разлуки?» И я отвечаю: против разлуки никто не устоит. И даже ты, Верочка. Ххх! Я уверен, что через месяц ты даже выскочишь там за кого-нибудь. Права Екатерина Ивановна: влюбляются не в половинку, а в того, кто близко. В кого можно влюбиться. А остальное — дело воображения. Очень просто это устроено. Есть потребность любить, а кругом никого, кроме коровы. Ну, и в корову влюбишься. Уверяю тебя! Потому что ты — прыщик. И живут в тебе одни потребности. И им одним подчиняются твои руки, голова, твой мозг. Вот тебе соль мудрости. Вот когда ты и сам кой до чего додумался... Когда я додумался до этого, мне как будто бы стало легче. И я уснул.

20

С того времени прошло уж что-то около месяца.

Так как (с 1 марта ещё) я кандидат в члены Р. К. П., мне придётся делать завтра доклад на митинге в 1-й и во 2-й ротах караульного батальона. Я должен поддержать марку и не ударить лицом в грязь.

Живу я в казармах военного городка и как военспец занимаю отдельную комнату.

Я сижу в ней, наскоро глотаю холодный чай из кружки и читаю о Парижской коммуне. О ней я и делаю доклад.

...Тьер... Варлен... Делеклюз... Так. А это надо записать, — сказал я сам себе.

Из-под стопки брошюрок, взятых из центропечати, я выдернул свой дневничок и старательно внёс туда своё прячущееся личное.

17 марта 1920 года

«Славная вещь — этот самый фибрин. Ты нечаянно носишь себе рану: балуешься, стругаешь что-нибудь острым сапожным ножиком и разрезаешь где-нибудь своё мясо. Ах, как хлюпает кровь. Тебе жаль её: ведь она — это ты. И ты преградил ей доступ наружу своим пальцем. Ты считал, что одна надежда — твой палец, без него ты истёк бы кровью. Но ты забыл, глупый, что в этой же крови есть фибрин. И вот этот самый фибрин тонкими паутинками закупорил ранку. Ты увидел эту пробочку утром, когда проснулся. И ты сказал: «Ах, уже короста! Как скоро». И ты начал водить вокруг пальцем: кругом и под коростою так приятно зудится. И ты, неискренний человек, жаловавшийся на рану, уже доволен, что баловался и порезался. Мало того, ты так неосторожно исцарапываешь вокруг коростки, что тебе явно хочется сковырнуть эту коростку, растравить рану.

«Да, в том-то и дело! В том-то и дело, что мне хочется растравить рану. Мне хочется сковырнуть коростку».

«И осталось это чудное название в памяти, как воспоминание о каком-то счастье, глупом и далёком».

...«Сковырнуть коростку. Сковырнуть коростку»...

... Как там? Да, Верморель... Ферре... А первый? Варлен. Варлен (дай бог памяти), Варлен... Какие трудные для памяти имена. Всё забываю... «Труп повергнут во прах, но мысль непобедима». Это запомнить и сказать. Обязательно... «Никому не забыть этих славных имён». Эге! Это тоже, тоже надо вставить где-нибудь. И сказать с жаром, с ударением... Да. Высшая любовь... Сильнее смерти... Верморель... Делеклюз... Ужасно трудно запомнить... Тьер... Неблагодарнейший и труднейший это труд — быть политдокладчиком. Гораздо лучше было бы по продовольствию... Ферре... Верморель... Дай только в люди выбраться, а там... отделаюсь от лекций и докладов. И очень просто это: не могу, зайка, мол, иль что там... Был бы язык, найдётся, чем отговориться.

21

В апреле мне дали командировку, и я поехал.

400 вёрст... Так как мосты поломаны и паровозов осталось совсем мало, то мы... проедем 4 дня. Ну что ж. И это хорошо.

Но мы проехали неделю.

Кой-кто жаловался, что поезд тащится убийственно медленно, стоит невозможно долго, но не я.

Я был весел, доволен и беспечен, как телёнок, у которого всё благополучно.

И потому я почти что и не заметил даже, как мы приехали.

У меня были довольно-таки важные поручения, и я провозился с ними два дня.

И вот мне можно уже ехать. Мне нужно обратно ехать.

Я порядочно побегал, заглянул во многие учреждения, в кои мне и не надо было заглядывать.

И везде мне говорили: «Нет, такого у нас нет. Не служил как будто, и теперь не служит. Кронин, говорите? Что-то и не знаем мы такого даже»...

Я буквально взвыл с досады.

Стоило мне, в самом деле, семь вёрст киселя хлебать. Нечего сказать — удовольствие при теперешних обстоятельствах. А тут ещё от тифа сдохнешь. Заразишься.

И меня даже затошнило немножечко, когда я представил себе четырёхсотвёрстный обратный путь.

Немножечко скрасила положение одна маленькая удача: я встретил Фёдора Бичевина, того самого Бичевина, с которым сидел за одной партией в 913 году. Пять лет не видались.

Он очень мне обрадовался, когда узнал, что я — красный партизан с 918 года и член Российской Коммунистической партии (большевиков). Он тоже коммунист с 917-го, немножко пишет в газетках.

Служит в Губпарткоме.

— Очень рад, — сказал он мне. — А ведь я о вас совершенно другое имел раньше представление. Не думал даже, что вы по этой дороге направитесь. Весьма рад за вас, товарищ.

И с чувством пожал мне руку.

Признаться, и я был рад. Шутка сказать: в Губпарткоме у меня будет «рука», будет человек, которого я, в случае чего, могу приятельски похлопать по спине и сказать ему шутливо: полно. Будет кочевряжиться тебе, Фёдор. Брось. Напиши-ка вот лучше бумажечку...

И в голову мою кинулись весёлые идеи. Я даже забыл о Верочке. Я всё думал о том, что бы такое состряпать мне из этого чудесного знакомства.

Кончилось тем, что я охотно пошёл к нему пить чай.

— У вас тут славно, — сказал я ему дорогой. — Не то что в нашей яме. Каждый камень жизнью брызжет. Мысль на каждом лице... А у нас там до седьмого поту бьёшься, а не рас-

шиньгаешь человека. Обывательщина буквально всех заела. Ковыряет себе пальцем в носу, и хоть ты с ним весь лоб разбей.

— Люди и у нас разные. Есть всякие, — сказал он мне.

22

Мы уговорились с Бичевиным пойти вечером в Ревтрибунал, где слушалось дело о 12-ти «бывших».

— По-вашему, есть смысл пойти? — спросил я его.

— Даже очень большой смысл. Обвинителем выступает Ковтун (есть тут у нас такой). Его всегда интересно послушать, а теперь — особенно: сам «бывший». И мне интересно, как он подойдёт... Умница мужик. Ну и защитник тоже недурён. К тому же интересен тем, что женщина. А это ведь пока что — редкость...

Я обязательно решил пойти: как же не заинтересоваться, когда судят «бывших». Чёрт знает, все под нею (под Чекой этой остроглазой) ходим.

Но надо ж такой беде случиться: я встретил Ниночку. Я б и не узнал её, если б она меня не окликнула. Как она похорошела. Развернулась в женщину. И внешне изменилась: на губах густо-красно, под глазами густо-чёрно... Запах пудры и духов. Высокие сапожки... Женщина — хоть куда.

А ведь когда-то была просто грязнулей, «гимназисткой Нинкой», когда мы гнали красных под Читу. Присосалась тогда к нам в Иркутске, где мы кутнули с ней изрядно. Пришлось провести приказом как сестру милосердия. Так и ехала с нами, забавляясь и забавляя... Пока мы её не выкинули.

Я был главным участником этого события, но она так злобива, что не помнит зла. И вот идёт теперь, прижавшись, задевая меня своей изящной чистенькой ножкой.

Буржуя подцепила, — решил я. — Интересно — кого? Нельзя ли будет через эту Нинку какое-нибудь пиво сварить. Насчёт бы золотца. А через неё это можно: простенька она.

Вот с нею-то и подошёл я к «Дому Ленина», где заседала сессия Ревтрибунала.

Но очень уж, видимо, тихо шли, и опоздали. Пробраться в здание театра было невозможно. Народ густо толпился даже под окнами. Хотя там ровным счётом ничего не было видно.

Где-то заиграли «Интернационал». Нинка оживилась.

— Ах, какой красивый гимн! Вот люблю! С инте-ер-на! Ционалом!.. Восхитительно!.. Род людско-ой... Восхитительно! Ты любишь этот гимн, Васятка?

Я не был ни Васей, ни Васяткой, но не всё ль равно, пусть будет так. Пусть будет и Васятка. И я сказал:

— Нашли о чём спрашивать: насколько мне известно, этот гимн всем нравится.

— А я?

— Что?

— А я вам... нравлюсь?

— Я в вас давно влюблён.

— Правда? А зачем же... а зачем же вы пошли сюда слушать эту адвокатку?

И она, надув пухлые губки, ещё тесней прижалась.

— Ничего подобного. Я никогда не видел эту женщину.

— Фи, неинтересная. Но говорит великолепно. И, знаете, костюм всё портит. В шубе, в шапке. Какое ж впечатление! Иное дело, если бы вышла эле-гант-ная дама. Костюм, причёска... И так-кая речь! Это был бы шик, я вам скажу!

— Конечно, — сказал я ей, — вполне вас понимаю, выйдет какая-нибудь в сапожищах, в косоворотке... Какое же сравнение.

— Она ведь партийная, — брезгливо сказала Ниночка. — А я всегда замечаю... Почему это, Васенька, все партийные женщины ужасно безобразны?

Но ответ у меня уже был. Я только наклонился поближе к уху Ниночки, чтоб не услышал кто-нибудь посторонний, и сказал ей:

— Не везёт в любви, приходится идти в монастырь, чтоб найти успокоение. А уж коли монастыри позакрыли, куда же пойдёшь? — Приходится в партию.

И мы поохотали оба над удачной остротой.

А было уже поздно. Нахмурил брови вечер, и вспыхнули в окнах огни.

И вдруг клапаны театра распахнулись, и в улицу метнулись живым потоком взбудораженные страсти, страстишки, подогретые до 100 градусов.

Их несли в себе люди взъерошенные, подавленные, взбудораженные.

Я оставил ненадолго Ниночку, чтобы шагнуть к Бичевину.

— Что же это вы, — сказал он, — опоздали? Интересно. Что твоя глава из Достоевского. Даровитая натура Ковтун этот. В душу каждого залез и всё наизнанку выворотил. Здорово

сказал. Ланцетик у него острый. Защитнице и делать нечего: четырёх может и не оправдывать, а остальных хоть десять лет оправдывай, не оправдаешь. Объясняй преступления с точки зрения причинности, обвиняй и казни с точки зрения целесообразности. Вот его подход. Молодчик Ковтун: по-марксистски разделался... Завтра защита. Жалею, что не придётся послушать. Вы будете?

— А ведь завтра я уж ехать намереваюсь.

— Уже? Ну — до свидания.

— До свидания.

Я вернулся к Ниночке.

— Ну, что же будет у нас с вами дальше?

— Хотите, я вас поведу куда-нибудь?

— Не хочу, а жажду, — ответил я, крепко сжав её мягкое плечо. И я был искренен.

— Увидим, — ответила она, хихикнув мне в лицо.

Мы пошли.

...И она увидела, что я не на ветер бросил фразу.

23

Я проболтался с Нинкою ещё два дня, и, когда пришёл в свой номер, чтоб собрать вещи и уехать, нашёл там записочку:

«Приходили к вам с Ковтуном. Он очень вами заинтересовался. Много расспрашивал. Очень просил меня пригласить вас для встречи с ним. Если вам будет время, загляните ко мне.

С тов. прив. Бичевин».

Ковтун... Тот самый, который два дня тому назад так припёр к стенке восьмерых, что «хоть десять лет оправдывай, не оправдаешь»... Что ему от меня?

Я решительно не знал, что мне делать. Уж не Нинка ли тут что-нибудь? Или сам Бичевин? Сесть и уехать. Но куда? В Н-ск. Сказанул, брат! Да это ничутью не лучше, чем спрятать голову в песок.

В таких случаях я всегда предпочитаю идти напрямки.

Я решил остаться и увидеться с Ковтуном. Но видит Бог, как я сильно волновался.

И оказалось, что напрасно.

— Как же вы не знаете, — удивился Бичевин. — Он говорит, что вы даже на квартире с ним стояли. Да-да, вот я ещё вспомнил: фамилия-то двойная у него — Кронин-Ковтун.

Тут я буквально вскрикнул. Ещё бы!

— Но Кронин — так и есть Кронин. А почему же он стал Ковтун?

— Как «стал» — очень просто: двойная фамилия. Я тоже знаю, что он Кронин-Ковтун.

Я был взволнован и рад: не знаю, что больше.

Так вот оно что. Вот кто этот страшный Ковтун. Уж больно высоко, братец, вознёсся еси. Нельзя ли будет спуститься пониже немножечко...

Я стал жадно расспрашивать. И как больно резали меня восторженные отзывы этого идолопоклонника и глупца Бичевина.

— Деляга парень. Что он раньше из себя представлял — не знаю. Но сейчас — очень работоспособен. Он — главный врач в нашем госпитале. Лечит удачно, ухаживает самоотверженно, как за детьми. И ещё время находит в газету писать, лекции читать, с красноармейцами карбата* политработу вести... Вот посидите, он придёт ко мне сегодня. Поговорите о том, о сём...

— Обязательно дождусь, — обрадованно ответил я. — Ну а как его семейство?

— Да, забыл сказать вам, что жена-то его подвела: умерла с месяц тому назад.

— Что вы говорите? — обеспокоился я. — Что с ней?

— От тифа. Сестрой милосердия определилась.

— Ну а дочь? Ведь у него же была ещё и дочь. Верочка. Верочка, кажется?

Как много времени прошло, пока он собрался наконец ответить.

— Дочь замуж вышла. За военкома карбата Понурова.

Маленький камушек сорвался и чуть-чуть уязвил мне сердце. Вышла? Ну, и — пожалуйста. Пожалуйста, раз так, не заплачу. «Другой морда найдём»...

Только и всего? Что же это? Когда ж я разлюбил её?

Подите ж... Я и сам удивился, как скоро с меня это ссыпалось.

Но тогда какого ж чёрта нужно мне от этого Кронина? — подумал я. — Что мог узнать я нового. Да и не нужно оно мне. Слава Богу, у меня и так достаточно материала. Уж если на то пошло, так мне даже вредно при Бичевине с ним встречаться.

Тем более, что я никак не выносил этих неумеренных похвал.

* Карбат — караульный батальон.

Я мучился желанием открыть простачку Бичевину близорукие его глаза на этого пройдоху Кронина. Но ведь тогда будет ясно, как день, кто именно проглотил этого «нужного» им человека. А я совсем не хочу запачкаться, раз можно обойтись без этого.

К тому же я сказал Бичевину, что я с 18-го года... Чёрт знает, не замышляют ли они сами чего-нибудь?

Я бесповоротно решил уйти.

Я должен буду уйти: ну их ко всем чертям.

Я быстро поднялся и побежал в тёмный уголок в кухне, к тазу.

Там я наклонился, раскорячился и запихал себе два пальца в рот. Хорошо, что тут темно и узко: это и при нём, при Бичевине, ещё можно будет проделать.

— Что с вами? — прибежал испуганный Бичевин.

— Меня только что вырвало... — сказал я упавшим голосом. — Тфу!.. результат ранения... Я весьма дурно себя чувствую... Ы-ы-э!.. Ы-ы-э! Ох... ох!.. Тьфу... Тьфу... Тьфу... Теперь мне на свежий воздух... Дайте шапку, пожалуйста. И — пальто... Тьфу... Не беспокойтесь, у меня дома есть кой-что... И ещё просьба: разрешите, пожалуйста... заглянуть к вам завтра...

— Пожалуйста, пожалуйста...

Он был славный парень всё-таки. Мне даже как будто и немножко неловко было. Взял меня бережно под руку, проводил по лестнице и намеревался провожать и дальше. Едва я отвязался.

— Разве я не говорил, что выскочит, — ворчал я дорогою. — И скажи, пожалуйста, — за военкома! Губа-то не дура. С помощью папашеньки ловила муженька...

А папаша-то! В гору забрался, защитников себе нашёл, ещё, мол, шаг шагнуть и — лови щуку за хвост. Нет, братец мой, мы тебя не за хвост, а за самые жабры схватить сумеем. И это ты чувствуешь. Недаром возымел желание поговорить со мной. Услышал, что разыскиваю, и вспомнил, что в Учека служу... А и боишься же ты этой Учека, как карась сковороды калёной!..

24

Терпеливым быть я никак не мог. Чаю даже не пил и ровно в 9 был уже в Губчека.

— Как фамилия предгубчека? — спросил я дежурного красноармейца.

— Што? — недружелюбно и громко переспросил тот.

Меня это взбесило. Скажи, пожалуйста, слышит и не желает ответить. Ещё не спросишь ли: «Вам зачем?». — Не тебе, братец, знать об этом... Распустили сопляков.

Я отчеканил громко и решительно, готовый разразиться криками:

— Я... спрашиваю... как фамилия предгубчека?..

И он сдал.

— Товарищ Крутов, — сказал он.

«То-то», — подумал я, внушительно передвигая по ремню свой браунинг.

В комнате № 1 я предъявил свой партбилет и, сообщив, что я партизан почугаевского фронта и сотрудник Учека, рассказал, в чём дело.

Предгубчека тов. Крутов внимательно выслушал меня. Но ничего не записал, не сверил с записанным. Он только выслушал.

И сказал:

— Только и всего?

Как «только и всего?»... Я и так знал, что у него найдутся тут защитники. Прикрыватели. Он сумеет покумиться, чтобы спрятать у кума свой хвост и голову.

Но я знал, как надо держаться и разговаривать, чтобы иметь успех.

И я спросил:

— Если вы это уже знаете, то что же вы намерены предпринять, тов. Крутов?.. Я спрашиваю вас как члена Российской Коммунистической партии, в которой сам состою...

Крутов хотел сказать мне что-то, но я перебил его:

— ...Спрашиваю как товарища. Понимаете? Принципиально. В общих чертах вы обязаны мне сказать, уберёте вы его куда нужно или не уберёте?

Крутов озлился.

— Во-первых, не обязан, и вы не орите, — сдержанно сказал мне он, — во-вторых, Кронин не полковник, а врач, и в-третьих... подтверждающие документы у вас есть какие-нибудь?

— Нет.

— Так чего же вам надо, я вас спрашиваю? Сообщили и — уходите. Не мешайте работать.

— Понима-аю, — сказал я, едва сдерживая ярость. — Очень даже понимаю. Нно... Рреволюция... революция, которой я служу... с большой буквы! Понимаете? Она выше ваших мелких кумовских привязанностей к этому контрреволюционеру!

К этому... подлецу! И потому... и потому... я буду жаловаться на вас моему приятелю, члену Реввоенсовета Республики!

Я видел, что Крутов уже дошёл до красного каления. Что ж, пусть дойдёт до белого. Города так ведь и берут. Этим каши не испортишь. Разве это не доказательство того, что я ревниво охраняю завоевания революции? За это ведь в подвал не садят.

Крутов встал, поискал языком слюни и сказал со свистом:

— Жалуйтесь, пишите, но... убирайтесь к чертям сейчас же.

Я уж решил, что дальше не стоит заходить. Я уже совсем решил уйти, как вдруг маленький человек из соседней комнаты, который давно уже стоял в открытых дверях с той стороны, чтобы послушать, о чём таком мы кричали так громко, и который давно уже порывался сказать что-то Крутову, теперь вдруг решительно подошёл к нему и шепнул что-то на ухо.

— Неужели? — побледнел вдруг предгубчека и стал хмуро серьёзным. — Подождите, — бросил он мне... — Дайте-ка сюда.

Маленький человек подал толстую книгу, полистал и ткнул пальцем.

Глаза Крутова удивлённо побегали по строчкам, губы дёрнулись смехом.

Но на меня посмотрел с презрением.

— Шайкин?

— Д-а.

— Пётр Сидоров?

— Да, — сказал я, теряя бодрость.

— Ах ты фря.... — выматерился он. — Ха-ха! Скажи, пожалуйста!.. В подвал тебя отправлю... ..!

И он ещё раз матюкнул меня самой большой матушкой.

— Подойди сюда!.. Есть мозги в твоей голове?

И он прочёл, взглядывая в книгу и в мои глаза, одновременно читая там и тут. Прочёл уверенно и быстро:

«Шайкин Пётр Сидоров. В марте 17-го года стал эсером. Вначале был безвредною пустышкой, но в декабре того же года, не проявляя, правда, особой активности, участвовал уже в качестве юнкера Иркутской 1-й школы прапорщиков в юнкерском восстании, имевшем целью подавить в Иркутске Октябрьскую Революцию.

Будучи мобилизован Иркутским воинским начальником в белую армию, добровольно вызвался реквизировать оружие у крестьян Балаганского уезда, что и выполнил частично с 19-го по 29-е ноября 1918 года.

При обыске, произведённом 29 декабря 19-го года в комнате, занимаемой Шайкиным, в его чемодане обнаружены поддельные документы, якобы выданные ему, Шайкину, Нижнеудинским Советом солдатских и рабочих депутатов...».

Не знаю, прочёл ли он ещё что-нибудь. Я стал дутым цилиндром без дна, без всяких зацепок по сторонам. И этот цилиндрик вдруг стал пустым. Всё, что было в нём, всё провалилось. Осталась лишь пустота. И эта пустота звенела во мне. Слышал я сквозь вату, смотрел сквозь дым.

Надо полагать, хорош я был в то время, когда стоял так перед столом, опустив руки, расширив глаза и побледнев от ужаса.

Крутов не выдержал. В нём, должно быть, горело настоящее желание дать мне оплеушину. И потому он сам, наверное, не помнил, как крикнул:

— Пшщёл ввон!.. Ммерза-авец!..

Я шмыгнул, притулившись, и тихонько притворил за собою дверь — чего же ждать. Надо уходить, пока можно. Убирать ноги.

Свой револьвер я прикрыл рукой и дежурному красноармейцу сказал ласково и тихонечко, чтоб «там» не услышали:

— До свиданья, товарищ!

Даже и этот знал что-то: посмотрел сердито и хоть бы буркнул что-нибудь.

... — Сволочи! — сказал я за воротами.

И боязливо оглянулся.

25

Мне осталось только сказать теперь, что я совсем не стал доносить после этого.

Да с какой же стати: внутренней склонности к этому у меня с детства не было, а «выехать» на этом оказалось невозможным. Да, строго говоря, и выезжать-то мне было некуда, с меня вполне довольно того, чего я уже достиг. Правда, браунинг у меня взяли. И из числа членов Р. К. П. пришлось выйти при чистке партии. Но — недорого дадено — не больно и жаль. Меня это даже радует. Не так уж приятно это: читать лекции, готовиться к докладам, ходить на собрания... А кроме того, партдисциплина, профдисциплина, кровьдисциплина... Тьфу! Язви их в душу! А я люблю свободу, и всякие эти хомуты мне давно шею натёрли.

История моя в Губчека вызывает во мне приятные воспоминания. После неё у меня все данные быть спокойным и довольным. Тов. Крутов воображает по наивности, что он отчитал меня. А с моей простоватой точки зрения он просто-напросто зачитал мне об амнистии. Обвиняется в том-то и том-то, но... принимая во внимание, остаётся спокойно жить... Благодарю покорно, тов. Крутов. Хорошо, что на тебя нарвался. Не везде в Чека есть такие, которые так умно рассуждают. А что насчёт мерзавца и проч., так это ко мне не липнет. Горшком 40 раз назови, но в печку ни разу не ставь. Вот и спасибо.

Книжку конторщика Сорокина я сжёг и 18 снова переправил на 19. Зачем мне теперь всё это? Меня же больше не в чем обвинять.

Говорят, что я заметно раздобрел, поправился. Что ж тут удивительного: после того, как я переплыл пороги, жить стало значительно спокойнее. Служу я по продовольственной, а в этой области я — что твоя рыба в воде.

К тому же я значительно чаще живу на мягоньких, так как выписал сюда свою мамашу. К этому были все основания, когда прошло две недели после моего приезда из Губчека. До этого я мог ещё заболеть тифом и попасть в подвал...

...Взяли браунинг. Изгнали из партии.

А прошлое прикрыли амнистией.

Мы квиты.

И теперь они сами по себе, а я сам по себе.

«Для них я ровно ничего не значу.

Они не я, во мне им нужды нет.

И мне в них — тоже».

.....

Воды с того утекло порядочно.

А читателям, конечно, интересно знать, где теперь герой этой повести?

Я предварительно навёл поэтому кой-какие справки.

И оказалось.

Шайкин женился, обзавёлся хозяйством. В 22-м перешёл из Упродкома в Заготконтору. В 23-м судился за преступления по должности и получил год условного заключения. Тогда же («на жену») открыл торговлишку, и не жалеет нисколько об этом. «Своё дело вести — куда спокойнее. И жизнь пшеничнее к тому же»... — говорит он.

О других я не узнавал.

Впервые опубликовано: «Сибирские огни», 1924. № 2.

В. Я. Зазубрин в Канске

Четырнадцатого ноября 1919 года Красная Армия заняла Омск. Войска интервентов избегали фронтовых боёв и только ревниво оберегали железнодорожную магистраль, чтобы благополучно убраться восвояси. В распоряжении отступающих колчаковцев оказались лишь узенькая полоска шоссейной и просёлочных дорог вдоль длинной сибирской магистрали. По этой полоске пешком и на заезженных лошадей потянулись к востоку панические и наглые, обовшившие колчаковцы. Партизаны то тут, то там всеми способами осложняли им этот тернистый путь.

В Канске для охраны города от партизан находился 55-й колчаковский полк. Вскоре после падения Омска штабные офицеры этого полка поспешно перебрались с семьями в вагоны белочехов. О рядовых офицерах позаботились солдаты: перебили их. В декабре полк объявил себя повстанческим, и тасеевские партизаны вошли в город. Вместе с ними вошло, заполнило дома и улицы радостное ожидание новой жизни. В Канске забрезжила заря, на западе, за Новониколаевском, всходило солнце, но вблизи, кругом и дальше на восток чернела ночь. В каких-нибудь двухстах метрах от города ещё стояли белочехи, охраняя станцию и магистраль; днём и ночью медленно, но густо шли по ней настороженные поезда интервентов. Просёлочными дорогами, задыхаясь, торопливо обходили город колчаковцы. Ещё не прошли мимо теснимые 5-й армией банды каппелевских* головорезов. Ещё не проследовал через станцию убегающий верховный правитель Колчак.

Вот в такое время (в декабре 1919 года) поселился в партизанском городе в квартире Теряевых В. Я. Зубцов, принявший позднее псевдоним Зазубрин.

* Генерал-лейтенант В. О. Каппель (1883—1920), один из руководителей белой гвардии. В описываемый период был главкомом Восточного фронта Колчака. Погиб под Иркутском. Его солдаты и офицеры до конца гражданской войны и в эмиграции называли себя «каппелевцами». Психическая атака каппелевцев на обороняющуюся чапаевскую дивизию — фрагмент кинофильма «Чапаев» (1934 г.), вошедший в классику мирового кинематографа.

Город жил своеобразной жизнью. На окраинах города днём и ночью шли бои. Убитые колчаковцы оставались на снегу. Раненых не было, пленных тоже. Сдавшие оружие свободно входили, въезжали в город. Никто их в городе не ждал, никто не устраивал: «устраивались» сами, таинственно тонули в длинных, не освещаемых ночью улицах. То здесь, то там валялись оттянутые за хвосты к заборам костлявые, загнанные колчаковцами лошади. Беспомощные, жалкие, лежали они плашмя, оскалив жёлтые, изъеденные зубы, вздрагивая окровавленными, распухшими губами. Их не поднимали: не до них. Кроме того, ведь поднять — надо кормить, а где взять сено? С раннего утра тёмные закоулки, все улицы и площади города наполнялись озабоченно снующими фигурами. Один ищет еду, другой — пальто и шапку, чтоб изменить обличье. Желающий получал в военкомате винтовку и торопился в ряды партизан, чтобы хоть немного снять этим с себя невыносимое бесчестье.

Я был в это время помощником начальника гарнизона по политпросветчасти и наблюдал как-то в военкомате такую сценку.

— Я подавлен! — восклицал сдавшийся офицер. — Я удивлён и подавлен: какое беспредельное доверие!

— Это не доверие, — возразил ему суровый военком, — это вера в правоту нашего дела и в наш народ.

Около месяца город был повстанческим. 19—20 января без боя обогнули город потрёпанные под Красноярском каппелевцы. Наконец совершенно опустела станция. Через 2—3 часа её заняли передовые части 5-й армии. В город вошла 30-я дивизия*. Это произошло, помнится, 20 января 1920 года. Восстановлена Советская власть. Это воспринималось как чудо. Все в рядах победившего народа оказались восторженными романтиками и наивно ждали целую серию других чудес. Казалось, что от нашего пожара зажёгся весь мир, что вот уже, сокрушая капитализм, грядёт и ширится мировая революция, что завтра благодаря ликбезам все станут грамотными, что стряхнётся, ссыплется как песок всё старое и сменится необычным, непохожим, новым, что в недалёком «послезавтра» настанет коммунизм, и только тогда, только в коммуне будет сделана первая, вполне понятная остановка. Беспрерывно сменяющие друг друга обитатели города —

* За месяц до этого части именно этой дивизии вошли в Томск. Дивизией командовал Альберт Янович Лапин (1899—1937), за бои под Ачинском, Красноярском, Иркутском награждённый орденом Красного Знамени.

участники больших столкновений и схваток — наполняли дома, улицы, базарную площадь, учреждения. Они взволнованно рассказывали о пережитых событиях и ужасах, пытались, каждый по-своему, объяснить, что к чему и что надо сделать, чтоб было лучше.

Вместе с частями Красной Армии пришло в Канск большевистское пополнение. Организован был горком партии. Создан комсомол. Из столицы, из западных городов хлынули в Канск газеты, журналы, кинофильмы. Создавались ликбезы, курсы: все, кто знал больше, учили тех, кто знал меньше. Проводились субботники и «недели чистоты». Столовая отпускала обеды, не очень сытные и не очень вкусные, но зато бесплатные. Создана была Центропечать, оборудована типография, начала выходить местная газета «Красная звезда».

Центропечать и редакция газеты заняли второй этаж бывшей конфетной фабрики Коновалова. В нижнем этаже поместилась типография. Длительное время газета печаталась на толстой конфетной бумаге: на одной стороне газета, на другой — цветные картинки.

Владимир Яковлевич прожил в Канске почти весь 1920 год. Тогда он не был ещё Зазубриным — он был Зубцовым.

Официально он был корректором Канской уездной газеты «Красная звезда». Такова была его штатная должность. Надо полагать — первая советская должность в его биографии. Но в придачу к этой работе он был ещё метранпаж, и выпускающий, и постоянный автор статей, фельетонов, заметок. Удивительно объёмистым был канский период биографии Зазубрина. В этом году он преодолел изнурительную болезнь — тиф. Здесь же, в этом случайном для него городе, полюбил Варю Теряеву, девушку-студентку Омского сельскохозяйственного института, и навсегда связал с ней свою судьбу. Вступила в город Красная Армия — Владимир Яковлевич установил деловую и творческую связь с её политуправлением. И, кроме всего, он написал в том же году роман «Два мира».

Как-то утром, когда печатался 2-й или 3-й номер «Красной звезды», по крутой и узкой лестнице поднялся из типографии вверх в редакцию со свежими сырыми гранками в руках молодой черноглазый и черноволосый корректор газеты. Какое впечатление произвёл на меня тогда Владимир Яковлевич? Очень трудно вспомнить, так как это было почти полвека тому назад! Помню: передо мной стоял высокий, чуть долговязый парень, лет 25-ти, низко подстриженный, безусый, с крупным носом и острыми «хорьковыми» глазами. Эти глаза

и пристальный, чуть хитроватый взгляд запоминались и побуждали к ответному вниманию.

Я не сразу познакомился с Владимиром Яковлевичем. Нас постепенно сблизила совместная работа в редакции. Я был тогда секретарём «Красной звезды», Александр Антонович Ансон (он же секретарь горкома) — редактором, Вивиан Итин* — несколько позднее — сотрудником. Но ни с кем из нас Владимир Яковлевич не делился своими литературными замыслами. К тому же разговаривать «по душам» всем нам было как-то некогда. Все были заняты до предела, ибо не было тогда ни одного «совслужащего» без общественных нагрузок, поглощающих его время целиком. Конечно, иногда на работе мы делились настроениями, обменивались мнениями по злободневным вопросам жизни, освещаемым в газете, касались манеры письма, творчества классиков, но всё это делалось обрывисто и походя, в пределах, допускаемых служебными обязанностями. О глубине творческого напряжения Владимира Яковлевича я стал догадываться только после выхода его романа. Только тогда я представил себе, какую титаническую работу нужно было проделать этому молодому ещё парню, чтобы в одиночку разрешить целый ряд вопросов писательского ремесла! Зубцов прочно знал, что — по Марксу — новому содержанию присуща и новая форма. Отсюда следовало, что писать надо обязательно по-новому. Но как писать по-новому? Необходимый ответ надо было спешно извлекать из самого себя, ибо танцевать от старых печек было недопустимо: всё старое решительно и нетерпимо отбрасывалось. Муки творчества в дни революции были муками вдвойне. Вспомним, в каком творческом смятении начал Юрий Либединский свою «Неделю», как искали той же новизны Лидия Сейфуллина и Дмитрий Фурманов**.

* Итин Вивиан Азарьевич (7.01.1894—14.12.1945). Учился в Петербургском университете. В Сибири с 1919 года. Член РКП(б) с 1920. Работал в советских учреждениях Красноярска, в газете «Красноярский рабочий», потом в Канске. В 1922—1937 — в журнале «Сибирские огни». Поэт (стихи, поэма «Солнце сердца», (1922), прозаик (научно-фантастическая повесть «Страна Гонгури», 1922, «Каан-Кэрэдэ», 1926, сборники очерков «Выход к морю», «Восточный вариант» и др.).

** Либединский Юрий Николаевич (1898—1959), автор повестей, романов, рассказов, очерков. Повесть «Неделя» посвящена жизни уездного городка в первые годы после революции (1922). Сейфуллина Лидия Николаевна (1889—1954), автор многих произведений, в том числе нашумевшей в своё время «Виринеи», повести о жизни деревни в первые по-

Однажды (это было в первые дни нашего знакомства), поднявшись в редакцию с газетным оттиском в руках, Владимир Яковлевич спросил меня:

— Это вы «Малыгин» — автор вот этого очерка?

Я подтвердил его догадку.

— Печатались когда-нибудь? Пишете?

Узнав, что я не печатался и не пишу, заметно был разочарован, но всё же как-то потеплел в своих отношениях ко мне.

— Я всегда радуюсь, — сказал он мне, — когда встречаю человека, способного к поэтическому восприятию мира.

Его радость была понятна. Зубцову дозарезу нужны были собеседники. Его так волновал какой-нибудь вчера услышанный факт, «страшный факт», что он не мог работать, придавленный «чужой трагедией». Тогда он шёл к нам наверх, чтобы «стряхнуться». Иногда его выводил из равновесия даже не самый факт, а только промелькнувший мимо образ — неясный символ какой-то волнующей, большой и неотступной мысли.

— Увидел вчера лошадь, — в его голосе звучали теплота и задушевность. — Костлявая, доска доской! Стоит посередине дороги. Расставила передние ноги, тянется вниз мордой, чтоб ухватить с земли такую никчёмную травинку. И не может! Не может дотянуться! Передние ноги трясутся, задние подкашиваются, вот-вот сунется вниз грудью. И тогда уж не встанет. Не мог пройти. А чего смотреть? Жалкая попытка продлить жизнь! Разве продлишь, если никто не поможет? И никто не поможет! А ведь она отдала всю себя! Отдала тем самым людям, которые проходят мимо!..

Я по молодости лет предположил сначала, что взволновала его не столько лошадь, сколько трудность раскрытия неуловимого социального смысла этой картины, и сказал ему об этом.

— Зачем? — обиделся Зубцов. — Если бы меня интересовала только абстракция, а не лошадь, то разве было бы мне стыдно перед нею? Есть и другое. Как хозяин и коммунист, должен я видеть, какую ценою куплена победа? Или это лучше — закрывать глаза и проходить, не замечая?..

Обострённая впечатлительность — отличительная черта художника. Он не может «проходить мимо». Ему надо всё

слереволюционные годы и судьбе незаурядной женщины-крестьянки. Фурманов Дмитрий Андреевич (1891—1926), военный политработник, комиссар 25-й (Чапаевской) стрелковой дивизии, автор произведений о Гражданской войне, в том числе романа «Чапаев» (1928 г.), на основе которого в 1934 году создан известный художественный фильм.

досмотреть, всё запомнить и всё додумать бесстрашно, до конца. Не все понимали Владимира Яковлевича, его жадный интерес к острым, драматическим ситуациям, быструю и резкую реакцию на несправедливость, на страдание, повышенное внимание к судьбе личности.

Вот он рассказывает о 6-й роте 35-го колчаковского полка. Рота уходила из города. Командовал ею звероподобный белогвардеец Беляков. Вторым офицером был прапорщик Фетисов. Тщедушный, чуть картавый, с воспалёнными глазами, бывший сельский учитель откуда-то с Ангары. Фетисов тайно договорился с солдатами своей роты: если их отправят за пределы города, они сходу перейдут к партизанам. Был даже разработан план такого перехода. Фетисова и в самом деле командировали против партизан, но не со своими ребятами, а с другой ротой, которая не знала его. В ближайшей деревне рота решила расправиться со своим командиром. Фетисов спрятался. Никто из солдат не видел, куда он убежал.

Спросили у случайной девочки, — рассказывал Владимир Яковлевич, — не видела ли она тут где-то одного маленького дяденьку. — «Видела! Вон туда этот дяденька побежал, вон за те назьмы. Тамочка где-то он, за теми вон кучками прилѣг...». Беляков, по рассказам солдат, был дрянной, жестокий человечиска. Типичнейший каратель: я бы сам в такую сволочь пулю запустил. А вот Фетисова мне жаль. Жаль, что такие вот русские интеллигентики всё медлят, всё топчутся, сами никак войны не кончают, а всё ждут конца. Вот и финал: позорная смерть на назьмах. От чьей руки? От руки народа, к которому он не сумел вовремя шагнуть!

Драматические сцены, передаваемые Зубцовым, почти всегда сопровождались неожиданными поворотами его ищущей беспокойной мысли.

Поручик Генералов душой и сердцем был предан белым, смертельно ненавидел партизан. Когда его рота восстала, чтобы перейти к партизанам, он успел убежать. Трое солдат нагнали его по дороге к городу. Фельдфебель, возглавивший восстание, так рассказал о расправе над офицером.

— Мы не тронули господина поручика. Мы только раздели его. И отпустили. «Мы-то за всех, — сказали мы ему, — а ты-то сам по себе. Ну и бог с тобой: живи сам по себе!..» Никуда ведь не побежал, паразит: сел «сам по себе» в снег около деревни и побелел, как «белый»...

Зазубрин, улыбнувшись в этот раз, отметил образную «формулировочку» фельдфебеля, её «народный философ-

ский смысл» и, вздохнув, добавил из Полежаева*: «Порабощенье, как зло за зло, всегда влекло ожесточенье».

«Страшные картины» недавнего прошлого прочно жили в памяти партизан. Рассказы о «страшном» и поучительном передавались в городе из уст в уста. Зубцов знал этих рассказов больше, чем знали другие, и воспринимал их без промежуточных инстанций, непосредственно от очевидцев и участников. Он лично был знаком с бывшим командующим партизанским фронтом (потом — председателем ревкома) Яковенко, с его постоянным секретарём Черниковым. Передавая эти рассказы другим, Зубцов как бы проверял сюжетную убедительность материала и ответную реакцию слушателей.

Как-то в жаркий летний день мы с Владимиром Яковлевичем пошли купаться на реку Кан. Кан делил город на две части. На нашем (низком) берегу был широкий и длинный луг, покрытый пыреем, тимофеевкой, цветами, а ближе к реке — ровной бархатистой зеленью.

Выкупавшись, Зубцов лёг на прохладный травяной ковёр со словами:

— Какой луг! И сколько вообще нетронутой земли в Сибири!..

Полежал и вдруг произнёс:

— «Максим! Давай в небо смотреть!..» — Откуда это?

— «Босяки» Горького, — сказал я.

— А точно?

— Не помню. Герой рассказа, кавказец, лежит под деревом, повёртывается на спину и приглашает Горького сделать то же самое.

— Вот и я не помню. А фраза навеки вклинилась в башку. В чём тайна её воздействия? Ведь самая обыкновеннейшая фраза. А она, как лучик, отеплила мне тогда весь тот рассказ...

— Вы записываете то, что нравится?

— Нет... А надо бы! Вот сегодня. Прибегает к нашим соседям тётя Ариша (дочь у неё замуж выходит): «Нет ли у вас какой завалящей Божьей матери, мне Дашку мою благословить?..». Вот такое надо бы записывать! Тут и безбожие, и верность традициям, и — какая-то уничтожающая насмешка над этими же традициями!..

* Полежаев Александр Иванович (1804—1838), поэт, в 1826 году императором Николаем I за поэму «Сашка» отдан в пехотный полк. Умер в военном госпитале от чахотки. Участвовал в боях в районе крепости Грозной. В 1950 году в городе Грозном ему установлен памятник.

— Своеобразны здесь и край, и народ, — сказал он немного погодя. — Индустрии нет, поэтому почти нет рабочих, земли много, поэтому совсем мало батраков. Люди разные, их нужда не гложет. Что же цементировало их в борьбе? Многое. Очень многое. Вот эта Ариша: стряхнула с себя предрассудки, как гусь воду. Иконы раньше всех сожгла. А ведь неграмотная... Свободолюбивый народ сибиряки!

Через десятки лет дошло до меня: ведь он же был нездешний, этот Зубцов, он же вчера только пришёл из-за Урала! Чтобы написать сибирский роман, ему надо было познать, прочувствовать, прозорливо вникнуть в его психологию.

В редакции произошёл такой летучий обмен репликами. Скупущий на слова Александр Антонович процедил по поводу одной зазубринской статьи:

— Это у вас хорошо дано! Очень! То всегда прекрасно, что злободневно и правдиво.

Зазубрин, всегда сердившийся на похвалы, ответил несколько невпопад:

— Чтобы хорошо писать, надо выключать сомнения. Надо с такой уверенностью писать, с какой лунатик по карнизам ходит.

Полагаю, что он отвечал сейчас не столько Ансону, сколько самому себе.

Газетная работа помогла писателю. Задача «газетчиков» была яснее ясного: знакомить читателя с тем, что такое советская власть, как её организовывать и укреплять, что делать каждому, чтобы расти... Совершенно не было стиливых сомнений: пиши предельно просто, правдиво, ясно... Если ты страстно и правдиво пишешь о том, что глубоко волнует, мучает тебя и других, то для этих «других» ты сразу станешь близким.

Обсуждался очередной номер газеты.

— Суховато получается, — тоскливо вздохнул не улыбочивый Ансон. — Вы замечаете, друзья, мы совершенно разучились... смеяться. Высмеять порок — дело нужное...

— Давно говорю об этом, — поддержал Зазубрин, — обязательно нужен маленький фельетон. И, вообще, как же без него? Это же улыбка на лице газеты!

Прошла неделя — газета «не улыбалась».

Ансон решил подать пример. В самом конце очередного номера «Красной звезды» появился «юмористический уголок» и в нём что-то вроде частушки, подписанной буквой «Б»:

«Потеряла, потеряла! Батюшки!

Документы утеряла! Матушки!...».

Не знаю, смеялись ли читатели газеты, но мы в редакции посмеялись от всей души. Ещё бы: секретарь горкома, обычно подавлявший своим деловым видом всякий наш смех, на этот раз сам выступал в роли затейника. Александр Антонович сконфуженно хмыкал:

— Смеётесь? А что прикажете делать редактору, если у него такой бесталанный аппарат?

Утеря документов в то переходное время была в значительной доле фиктивной. Мы злились: ведь нескончаемые объявления вытесняли газетный текст.

Подчиняясь товарищескому долгу, я потянулся за Ансоном и написал в стиле басенного нравоучения: «Вот пошёл Назар на базар»... с концовкой: «Не отдам частнику пятака, пойду-ка лучше в Це-эр-ка*».

Посмеялись и над моей попыткой лубочным примитивом подменить серьёзный разговор.

Очередь была за Владимиром Яковлевичем. Он любил жанр фельетона, уже писал в саркастической манере о меньшевиках, белогвардейцах. Выходило серьёзно-язвительно, и совсем не то, что нам хотелось. Зазубрин досадовал.

— Ну, где ваш «маленький фельетон»? — скупой улыбаясь, хмыкал Ансон.

— Ожидаю бытовую тему, — обещал Владимир Яковлевич.

И вот такая тема появилась. Тасеевцы получили трактор. Трактор прибыл на станцию. Это был не какой-нибудь фордзон**, а настоящий гусеничный тяжеловес-силач. Его сопровождал с завода прикреплённый к нему специалист-водитель. Сбежался народ (большинство в глаза не видело эту диковинную машину). Полностью прибыли все ребятишки со всех улиц Канска. Первая беда: долго не могли снять трактор с платформы (ведь никаких кранов тогда не было). Наконец железный конь на земле. Он хлопал, тархтел на весь город, заглушая восхищённые возгласы толпы, фыркал, как заправский норовистый конь. Вторая беда: надо было двигаться через неглубокую канаву, но трактор ринулся через мостик и продавил его. Долго вытаскивали, кричали, спорили, ругались, причём более всего герои события — служащие земот-

* ЦРК — центральный рабочий кооператив.

** «Фордзон» — слабосильный (20 л. с.) колёсный трактор, выпускавшийся в 1917—1928 гг. компанией «Форд». В 1923—1932 гг. его копия выпускалась Путиловским заводом (до 1930 г. в России собственного тракторостроения не было).

дела. Кое-как трактор вылез: толпа выручила. С треском, под неумолчный лай ополоумевших собак, проследовал он по нескольким улицам. Теперь надо было показать его в работе, показать, как будет он совершать сельскохозяйственную революцию. Недолго думая, перепахали луг. Трактор добросовестно поставил на ребро мощные пласти дёрна, и уж никакая борона не смогла потом хоть бы несколько, чуть-чуть выровнять вздыбленную почву. Не стало зелёного приволья, на котором пастись городской скот! Исчез ковровый наряд берега, украшавший город!

В задачу газеты входило едко высмеять недалёкое усердие земотдела, высмеять в такой «пропорции»: побольше горького иронического смеха, поменьше пылкого негодования. В характере же Зазубрина выявилась другая «пропорция»: гнев подавлял в нём весёлую иронию. Ему было жаль ни за что ни про что испорченный луг, так обидно за честь трактора и земотдела, так больно от триумфально проявленного бестолкового усердия, что смеяться он уже не мог.

— Ну что ж, — успокаивал его Ансон, — хороший фельетон. Тяжеловат, правда, излишне запальчив, но выполнил свою задачу — отстегал головотяпов.

Зубцов был сумрачен.

— Оказывается, мы негодуем и смеёмся не в одно и то же время, — сказал он мне на третий день. — Смеёмся мы уже потом, смеёмся, когда остынем, когда примиримся, шагнём к равнодушию. У некоторых это быстрый процесс, но — не у меня... Люблю читать весёлый фельетон, смакую, когда он брызжет остроумием и царапает кого-то до больна. Но писать!.. Нет, видимо, этот жанр не в моём репертуаре...

Если я скажу, что Зазубрину не нравилась в людях лесть, угодничество, лакейство, лицемерие, то читатель удивится: стоит ли говорить об этом, какому порядочному человеку всё это нравится? Но дело в том, что нетерпимость к этим человеческим порокам была так обострена в Зазубрине, что он ожесточался даже против совершенно безобидных слов и поступков, продиктованных обычной доброжелательностью, вниманием.

Когда в Канске распространился слух о том, что в Иркутске издаётся роман Зазубрина, отдельные работники культуры обратились к нему с просьбой ознакомить их с фрагментами этого романа. Зазубрин согласился. В средней школе номер один собралась местная интеллигенция, главным образом педагоги. Зазубрин сделал краткое вступление, прочитал две главы. Когда он кончил, председатель собрания директор школы Францов сказал:

— Поблагодарим товарища писателя за...

Владимир Яковлевич вспыхнул и резко бросил в его сторону:

— Оставьте эту слащавую манеру играть в любезность!

Францов смутился, произошла нелёгкая пауза. Выручил собрание преподаватель словесности.

— Товарищ писатель сердится, — улыбаясь, крикнул он, — но мы ведь тоже не лишены права выражать признательность! — И захлопал.

Собрание обрадованно поддержало его аплодисменты. Неловкость была сглажена, но недоумение осталось.

О втором похожем случае сообщил мне Андрей Низовцев*, пожаловавшись на незаслуженную отповедь со стороны Зазубрина. Низовцев обратился в письме к Владимиру Яковлевичу с какой-то маленькой просьбой, имеющей отношение к литературе, и попутно высказал своё глубокое уважение к автору большого, социально значимого романа. Зазубрин просьбу выполнил, но в ответном письме отругал своего земляка-почтателя.

— Чего вы топчетесь вокруг «большой-большой». А чем вы маленький? Стыдитесь! Гаденько это у вас получается.

Я смягчил огорчение Низовцева, сообщив, что у Владимира Яковлевича это, видимо, «любимая мозоль», и что такую отповедь получает от него, надо полагать, каждый, кто невзначай на эту «мозоль» наступит.

Владимир Яковлевич, как все «ответработники» Канска в 1920 году, получал «военный паёк» с продсклада военкомата.

— А-а, товарищ Зубцов, — ласково встретил кладовщик Владимира Яковлевича. — Ну какой же вы нефартовый человек: ведь начатого барана как раз нет у меня сейчас. Придётся отрубить вам от передней части.

Во втором месяце произошло обратное.

— Вот не везёт вам, товарищ Зубцов: баран уже начат. На вашу долю только передняя часть...

Надо представить, как взбеленился Владимир Яковлевич, столкнувшись с этой плохо прикрытой дипломатией подхалимажа. Когда я представляю это, в моём воображении встаёт картина боя быков и красная тряпка, чтобы вызвать предельную их ярость.

* Низовцев Андрей Константинович (1898—1943), историк литературы, критик, закончил Иркутский университет. Погиб на Прибалтийском фронте.

На этот раз Зазубрин на ближайшем городском собрании поднял вопрос: откуда начинается баран?

Надо снова вспомнить, что тогда он был ещё не писатель Зазубрин, — он был просто Зубцов. Его заявление встретили с недоумением, шуточками, смехом: никчёмный сорный вопрос для серьёзной повестки дня. Но не так был прост и уступчив этот Зубцов. С пылающим от негодования лицом, возбуждённый, горячий, со страстной волевой убеждёностью гипнотизёра, он захватил и увлёк собрание. Встрепенулись, заговорили многие, ибо речь шла не о баране и каких-то десяти фунтах мяса, а о безупречном поведении нового человека, только что шагнувшего в новый и чистый мир. Речь шла не о кладовщике, заражённом микробами раболепства, а о гаденьком бытовом явлении — лакействе, о том, что его возрождают и поддерживают на очищенной земле те люди, для которых баран угодливо начинается с хвоста.

Вопрос о моральной щепетильности, так непредвиденно вклинившийся в повестку дня, ещё долго был всюду предметом обсуждения.

В истории с бараном, кроме брезгливости к барству и лакеям, я увидел ещё одну значительную черту в характере Зазубрина — его неистовую настойчивость в борьбе, его кристальную честность, страстную убеждённость, покорявшую равнодушных и несогласных с ним.

Таким он был в Канске.

Таким он остался до конца своих дней.

*Впервые опубликовано в кн.:
Литературное наследство Сибири. Т. 2. Новосибирск, 1972.*

Через
непонятное
(Вторая колея)

Роман

1. Люди мы или кто?

Я не решился бы взяться за эту повесть, если б не письмо от неизвестной женщины.

— «Человек человеку — друг и брат», — писала она. — Это, конечно, так. Я вот не знаю Вас, но почему-то крепко верю, что Вы шагнёте мне навстречу.

До меня дошли слухи, что Вы были в заключении и встречались где-то «там», — уж и не знаю, где, — с Дмитрием Юрьевичем Загулом. Сказали даже, что будто бы «по ту сторону» Вы были рядом с ним, и, что особенно поразило меня, были очень близко от него в последние для него дни. Может быть, даже — в последние минуты его жизни! Возможно ли такое? Я сомневалась, но меня убедили, и я поверила, с радостью поверила, поэтому и не стесняюсь беспокоить Вас, совершенно незнакомого мне человека. Прошу Вас, как самого-самого близкого: напишите мне об этих тяжких днях Дмитрия! Пожалуйста! Напишите всё-всё, что только знаете! Когда Дмитрий Юрьевич погиб? Где он погиб? Как он погиб? Безжалостно опишите всё, как было. Не щадите, не утаивайте: я испытанная. Ведь когда-то мне пришлось уже прочитать о Дмитрие Юрьевиче самое страшное: «Загул — враг народа! Тихой сапой пробрался в ряды! Выбросьте его из памяти! Затопчите его грязный след!..». Вот такое пришлось уже услышать и прочитать, когда его взяли от нас. Могло ли быть что-нибудь ещё более трагичное для человека! Ведь это надо только представить себе, как это чудовищно больно, когда тебя отталкивает советская власть! Ты беззаветно любишь её, ты целиком отдаёшься ей, ты хватаешься за неё, а она тебя отталкивает! Да ведь не просто отталкивает, а брезгливо и с омерзением отталкивает! Какой же это ужас! Надо же было такое пережить!.. Я была тогда какой-то посторонней, но и то в таком была страхе, когда читала эту ужасную газету, в такой была тревоге и тоске, что губы искусила, плакала... Поэтому не бойтесь сообщить мне всё-всё, самую мучительную правду. Ведь мы советские. Для нас самая мрачная правда всегда лучше светленького вранья... Откликнитесь, очень прошу Вас!..

Вы, конечно, знаете, что Дмитрий Юрьевич теперь полностью во всём восстановлен. Это по суду. Я радовалась, когда узнала, но потом мне снова стало грустно. Даже грустнее, чем было до этого. Ведь как тяжело, Вы-то поймёте это, — как тяжело сознавать, что восстановлен Дмитрий, но уже никогда-никогда не увидит он того чистого неба, под которым мы

теперь строим наше счастье! А ведь как чутко и жадно воспринимал он радости жизни: «Скільки радощив! Скільки втіхи в кожній дрібниці малій!» — писал он.

Я слышала, что Вы тоже были писателем. Правда ли? Но, если правда, то почему же Вы не напишете теперь о Дмитриии Юрьевиче? Ведь если несправедливо сказано было о нём вслух и громко на всю Украину, что он чужой и подлый, так пусть же все снова услышат, что он свой и честный. Как же не сказать об этом! Ведь люди мы или кто? Скажите о Дмитриии громко и вслух. Не кто-нибудь, а Вы об этом скажите. Ведь если Вы, которые были с ним, не скажете о нём, да так и умрёте, ничего не сказав, тогда кто же скажет? Если не теперь скажете, то — когда же? Чего же Вы ждёте, спрашивается? Извините за прямоту, но ведь это просто жестоко и непонятно, это просто нелепость какая-то. Уж кто-кто, а уж Вы-то не можете молчать. Мы, его друзья и читатели, ждём от Вас этих правдивых слов о поэте, песни которого ещё вплетаются в нашу жизнь. Мы прямо-таки толкаем Вас на это. Пусть как можно дольше задержится в памяти живых настоящий человек, у которого мы так безвременно и так бессмысленно оборвали полезную нам жизнь. Только так!.. Извините, что грубо высказываюсь. Надеюсь, Вы поймёте, что если любить поэта и болеть за его судьбу, то вот так и надо всё высказывать. Напрямки. Не пряча. А Вас я просто не понимаю. Я по себе сужу. Вот если б я... Я обязательно написала бы о нём, если б только могла. Обязательно! Бросила бы такой грустный-грустный цветочек на безвестную его могилу. Бросила бы пусть увядшую, пусть засохшую — уж это всё равно теперь, — но такую признательную, виноватую незабудочку. Конечно, пустое говорю. Ничего такого я не сделаю. Я же не сумею и, главное, ничего-то, ничего о нём не знаю после того, как он ушёл. Говорю всё это к тому же: бросьте Вы от себя, от меня, от всех его друзей, от всех его читателей такой скромный, дружеский цветок. Чтоб люди повернулись к нему, чтоб вспомнили и добрым словом вспомянули...

Стану ждать Вашего отклика. Отвечайте заказным. Буду томиться, буду ждать.

Напишите мне!

Уважаю Вас. Очень уважаю. И заранее благодарю.

Марина Григорьевна Кузьменко».

Киев, ул. Строителей, 208, кв. 98.

12/VII 1962 г.

2. Слёз достаточно

Письмо неизвестной женщины взволновало меня. Нахлынуло вдруг всякое, а поверх всего — досада. Было непонятно, с чего досада, и на кого она?

Да, мне пришлось быть «по ту сторону». Конечно, я что-то вынес «оттуда», и сам мечтаю написать людям прямодушную повесть-быль. Мечтаю и сомневаюсь — дождусь ли времени, когда выскажу то, что трудно высказать?

И вот неожиданно ворвалось в мою комнату это мятежное письмо с далёкой Украины. Приятно убедиться, что кто-то ждёт задуманную книгу. Письмо к тому же настойчиво доказывало, что я даже обязан написать её, пока живу. Казалось бы, надо радоваться, а во мне поселились грусть и едкая досада.

Досада стала понятной, когда я сел писать ответ.

«...Много жалости, но мало уважения, Марина Григорьевна! — написал я своей корреспондентке. — Дмитрий рисуется Вам «по ту сторону» только страдальцем, мучеником. Вы и от меня ждёте правду только «мучительную». Очень досадно за Дмитрия. Он и сам был бы огорчён, получив такое письмо от близкого ему человека: кому приятно быть жалким, тем более — без достаточных к тому оснований?

Конечно, о судьбе Дмитрия можно говорить со слезой в душе. Но есть тема более высокая. В бесправной, тусклой жизни в течение многих беспроблемных лет Дмитрий проявлял мужество настоящего человека, безмерно верил в партию и её идеалы. Вот куда мне хочется переключить Ваш затуманенный слезами взор. Ведь сегодня значительно важнее знать не то, когда и где погиб в заточении милый Вам человек, а то, как он, вопреки всему, обездоленный, опозоренный, неправданный, продолжал быть советским до последней минуты грустного конца.

Буду писать Вам письма, Марина Григорьевна. Много напишу Вам писем. Пусть они станут когда-нибудь страницами моей повести. Храните их. Они могут быть сыроватыми и недописанными, но — могу утверждать — будут правдивыми и честными. Пройдёт десяток лет, и за них ухватится беспристрастная история: ведь ей надо осмыслить прошлое, она не терпит загадок и завес.

Вашему сердцу, конечно, будут близки и значительны даже несущественные пустяки из лагерной жизни поэта. Коснусь и пустяков. Зато уж Вы будете довольны: Вы увидите, что ничего от Вас я не скрываю, никакие факты не перекрашиваю.

Предвижу, что Загул не будет основным героем повести. Не обижайтесь, Марина Григорьевна. Лагерная судьба была изменчива, коварна. Сегодня она поднимала человека на гребень лагерной волны, а завтра заталкивала в илистое дно. Дмитрий Юрьевич был обогащён культурно, но ведь «там» это часто было ни к чему. «Там» надо было ежедневно быть выносливым, живучим. Загул физически был слаб. Со слабыми «та» жизнь была бездушна.

3. И спутники, и попутчики

Судьба столкнула меня с ним в Забайкалье. Произошло это в 1933 году, не помню точно, в каком месяце. К тому времени всё мучительное было у Дмитрия позади. Пережит был и этап — испытание не только моральное, но и физическое, и тоже потрясающее.

Этапировали заключённых в товарных вагонах. Пожилые люди помнят, какими длинными, какими тоскливыми составами тянулись они через железнодорожные станции.

Везли людей медленно и бесконечно долго. В вагонах было тесно, вонюче, голодно. Но всё это было бы терпимо, если бы не болела душа. Трудно было обжить, освоить то непонятное и страшное, что произошло. Днём и ночью поднималась в сердце кровная обида, воспалялась едучая, неугасимая жалость к себе: всё-то безвозвратно отнято! Любимая работа, честь, достоинство, заслуги; мечты, планы; будущее; семья, уважение, любовь... Никогда-то, никогда не возвратится это вновь! Загул прижимался тогда к нарам и лежал, не двигаясь, опустошённый, оцепенелый, бесчувственный. Бессонные ночи казались бесконечными. А тут ещё оглушающее обстукивание крыши деревянными колотушками: конвоиры по несколько раз в ночь проверяли, не прорезаны ли доски в потолке вагона, не подготовлен ли побег. Начнут, топая, оголтело стучать по доскам кровли, тогда окончательно чувствуешь себя пойманным животным. Везут тебя люди, а ты — животное. И всё тебе враждебно, всё тебе непонятно! Кто ты и что с тобой? Куда тебя везут? Зачем везут?..

Голодать Дмитрий Юрьевич начал ещё в подвале. Там недокармливание было в числе методов воздействия: голодом ослабляли волю подследственных, принуждая их быстрее «расколоться». В тюрьме и в этапе было несравнимо сытнее, и всё же голод остро ощущался, не давая даже спать. Во время

остановок на больших станциях — там, где были питательные пункты, — в вагон подавали четыре таза «баланды», по тазу на десяток. Дмитрий стеснялся (да и не умел) проворно работать ложкою. Обычно недоедал. Недоставало питьевой воды. Очень тесно было спать: нельзя согнуться. От неподвижности затекали ноги, руки; окостеневали все члены тела. Не мог привыкнуть Дмитрий и ко вшивости. К великой своей досаде стеснялся пользоваться дырой в полу: ждал ночи, а поднявшись ночью, с большим трудом втискивался после того между товарищами. Было в этот переезд и многое другое, что выматывало слабые силы. Ещё во время следствия Загул оцарапал чем-то взъём ноги. С той поры рана не затягивалась, мокла, гноилась, ныла.

Много всяких тюрем познал Загул на тягучем этапном пути от Украины до Байкала! Скучно поднимать всё грязное со дна тюремной жизни, да скучно, я думаю, и слушать.

И всё же расскажу и об этом. Надо рассказать. В лагерном котле для многолетнего совместного проживания вплотную были придвинуты друг к другу жертвы культа и уголовная шпана. Жертвы культа были унижены: это контра, презренный, чуждый элемент. Уголовники были облагорожены: дрянцо людишки, но это же временно, зато, в общем и целом, это свои, это наши, это же у них бытовое, не идеологическое. Люди беспрерывно воспитывают друг друга мыслями, взглядами, поступками. Пройдут годы, и работники идеологического фронта будут жадно спрашивать, — кто кого перевоспитал в лагерях в ту своеобразную эпоху, кто на кого повлиял и в какую сторону.

Последним местом этапного «отдыха» была Красноярская тюрьма — мрачный, угнетающий душу каземат.

В Красноярске добавили в этап много сибиряков. С ними стало как-то яснее и проще. После Красноярска Загул приткнулся на нижних нарах. Рядом с ним оказались два крепких парня, намётанный глаз сразу подсказал, что это такие же, как он, его поля ягода. Загулу приятно было сильное соседство: мыкаясь по тюрьмам, он научился верить в надёжные бицепсы сотоварища и одновременно привыкал презирать своё и всякое бессилие.

Соседи оказались заядлыми шахматистами. Они не пожалели две пайки, из хлеба вылепили шахматы! В глазах голодного вагона это было сумасшедшей жертвой шахматному божеству. Шахматисты часами неподвижно лежали над фигурами, и только их высунувшиеся из-под верхних нар босые ноги, вздрагивая и нервно дёргаясь, напоминали о на-

пращённой борьбе. Загулу особенно понравился один из этих ребят: уж очень прекрасно он был сложен! Фамилия его была обыкновенная — Каблуков, а внешность приковывала внимание. Когда Каблуков выбирался из угла нар на середину вагона, Дмитрий не отводил от него глаз, любясь грацией движений. Уж так устроена была психика у Дмитрия Загула: почему красота незнаемого парня вызывала у него волнующую, щемящую грусть — какую-то тихую могильную тоску? Было даже так, что поэт Загул в недоумении спросил себя об этом, и не мог ответить. Этого парня, — подумал он, — самозабвенно любили девушки, он потерял всё, что и другие, но, кроме того, ещё и большую, многоликую девичью любовь...

Кто-то настойчиво покачал Загула за ногу. Прохор Иванович, крестьянин из-под Омска! Как-то так получается, что с ним Загул всё время попадает в один и тот же вагон после омской остановки. У Прохора округлая бородатая физиономия и лысая голова. Глаза выпученные, недоумевающие. Он всякий раз напоминает Загулу моржа, когда тот высовывает удивлённую голову на поверхность воды.

— Чего тебе, Прохор Иванович?

Прохор сопит, молча тянется рукой к лицу Дмитрия, таинственно открывает короткую неуклюжую ладонь, на ней гвоздь.

— Что это? — не понимает Загул.

— Иголку делаем! Будешь вместиах обтачивать? Одному, знаешь, муторно. Я уж Соломона сговорил. Одному негоже, а трое — это как раз. И запрятать легче. Будешь? — Прохор говорит об этом шёпотом, и всё время недоверчиво оглядывается.

— Ну её! — отмахивается Загул.

Глаза Прохора становятся совсем круглыми, и ещё острее щетинятся пшеничные усы. — Почему? — недоумевает он. — Ведь ежли нам не спонадобится, так на хлеб. За иголку всегда дадут, кому надо!

— Ну её! — повторяет Загул и закрывает глаза.

— Цингу наспишь! — негодует Прохор и снова таинственно подносит к лицу Дмитрия крепко сжатый кургузый кулак. — Гляди! Пуговку к штанам сробил! Деревянную.

— И что ж?

— Тоже под ногами не валяется, тоже хлеб.

У Загула, как и у всех, металлические пуговицы срезаны тотчас после ареста перед отправкой в камеру: не полагаются они арестантам. Недопустимы и верёвочки, чтобы поддерживать брюки: никаких верёвочек — ещё повесится сдуру. Но

Загул молчит. Пойдите вы все к бисову дядьке, чтобы после всего, что было, я тут пуговицами для штанов утешался.

Недалеко от Загула собралась толпа. Все примолкли и, разинув рты, слушают животновода Омельченко. Может быть, он и не животновод, а только «хлябает» под фраера для важности. Но кто в тюрьме или в лагере может проверить, правильно ли аттестует себя человек? И кому это нужно — проверять? Уже десятый день без усталости рассказывает он одно и то же: как разводил на воле кроликов. Все заучили его басни наизусть, и всё же вокруг него всегда взвинченная, мечтательная толпа.

— Я же вам говорю! — сердится Омельченко, преодолевая чьё-то недоверие. — Какой резон мне трепаться: вот так ел. Кроличьим мясом обжирался. Просто не знал, куда его девать...

У слушателей напряжёнными жёлтыми огоньками светятся немигающие глаза. Каждый, глотая слюну, уходит в смакование того мяса, которое Омельченко не знал куда девать. Каждый искренне удивляется самому себе, почему он был так беспечен, так глуп на воле: почему не разводил тогда кроликов и не обжирался мясом?

— Эй! Тебе говорю, старик! — раздаётся сверху хамский голос. — Давай-ка сюда эту заначку! Неси-неси сюда! Куда, подлюга, смываешься? Ну-ка тряхни его, Базиль!

— Я! Я тряхну! — напрашивается кто-то мальчишеским голосом.

Это с верхних нар командует «Кобра» — вождь уголовников и диктатор вагона. Каждое слово он сопровождает похабной бранью.

Базиль, тонкий, subtilный жулик, спрыгивает с верхних нар и делает прыжок к «старiku». «Старик» — совсем ещё не старый еврей Соломон Исаевич — покорно протягивает Базилу что-то завёрнутое в тряпочку. Он только что достал этот узелок из мешочка. Базиль выхватывает из рук Соломона и узелок, и мешочек, и, бросив это на грудь Кобры, не торопясь, запрыгивает наверх сам. Кобра что-то кладёт за изголовье, что-то выбрасывает за окно.

Соломон сидит, втянув в плечи голову, но ничего не произошло, всё законно, так и должно оно быть.

Блатных в вагоне восемь человек. Они давно спустили с верхних нар девятого и десятого, но и без них им тесно наверху. У Кобры царственное место: он помещается вблизи единственного вагонного окошечка. Через эту не застеклённую дыру с решёткой к блатным поступает свежий воздух, что

они не очень ценят. Важнее непрерывно наблюдать «волю», знать, до какой станции их довезли. На остановках выкрикивают похабщину девчонкам, задирают обидными насмешками красноармейцев-конвоиров. Блатные не переживали в это время мировых социальных драм — они жили привычной тюремной жизнью и были очень довольны «бдительностью» властей, напихавших к ним в тюрьмы всяких фраеров. Было бы побольше фраеров — и в тюрьме житуха ничего.

Кобра — сытый, мясистый, мордастый парень лет тридцати. Он самый опытный и самый наглый среди уголовников вагона. Все остальные семеро дружнее объединились вокруг Кобры и тоже чувствуют себя вершителями вагонных судеб. Особо восторженную почтительность выражал папахену желтоглазый мальчишка лет шестнадцати. Он настойчиво именовал себя «Чумой», но, к его досаде, все свои называли его пацаном. Пацан Колька влюблён в жоака, идеализирует его силу, верит бахвальству.

Как и большинство арестантов, Кобра лежит на нарах без рубашки, в одних подштанниках. Спина, руки, грудь его в наколках, негде клеймо поставить. На отвислом брюхе, распластав крылья, парит синий орёл, держит в когтях изогнувшуюся голую женщину. В местах, не занятых рисунками, приютились циничные изречения. На груди Кобры портрет Сталина.

— Почему портрет? — объясняет мальчишке Кобра. — Я же под расстрелом был. Понял?

— За что? За что под расстрелом? — Колька приподнимается и подобострастно смотрит бандиту в рот.

— Ну как за что? — лениво мямлит Кобра. — За то, что одного уполномоченного завалил.

— Расскажи! — томится Колька, и рука его нетерпеливо дёргает Кобру за подштанники.

Кобра млеет. Ему приятно быть интересным: редко так бывает. Он похож теперь на борова, которому чешут за ухом. Мясистая физиономия его раздалась вширь, маленькие глазки утопают в щёлках, между толстых, плотоядных губ зияет дыра: два дня тому назад в большой камере красноярской тюрьмы была драка, и Кобре выбили там зуб.

— Кобра! Ну, Кобра же! Расскажи! Ну чего тебе!

— А чего тут, дура, рассказывать?.. Ведь не я это накалывал. Просто паникёр там был один, в той же камере. Понял? Ну вот он за ночь наколол мне этот портрет. В Сталина-то энкаведешники стрелять не будут, понял? Уж не посмеют они, чтоб в Сталина стрелять!

— И что же? Потому и не стреляли, что портрет?

— Не!..

— Ну а почему? Почему же не стреляли?

— А я сбежал тогда!

— Из этой тюрьмы? Из этой камеры? Из смертной камеры сбежал?!

— А что ж ты думаешь! Из-под трёх замков! Уж забывать об этом стал.

Нет никакой мочи ждать, когда наконец начнётся эта упительная героическая баланда, и Колька наконец-то услышит то, о чём просит.

— Расскажи, Кобра! — неистово кричит он и энергично тычет уркача кулаком в мясистый бок. — Расскажи, как сбежал! И про всё про это! Расскажи!

Кобра ещё не придумал, как это было, не хочет рассказывать.

— Вот я расскажу! — неуверенно выступает уголовник по кличке «Корявый». Ему лет 27, он мешковат и неуклюж, но он самый сильный, сильнее всех на верхних нарах. И всё же рецидивисты презируют его: он колхозный вор, он молился колесу, он пароходного гудка боялся, а теперь вот под урку рядится. Рецидивисты даже оскорблены его неуклюжими претензиями: не так-то просто быть уркой, настоящим, неподдельным волком.

— Вот я расскажу, — повторяет Корявый, и краска смущения заливает его лицо. — Не про себя — про товарища. Это мой партнёр. Был у меня такой, из больших был начальников...

— А если точно, то из каких таких начальников? — придирчиво прерывает Базиль. Его хитрые глаза становятся издевательскими. Длинные и тонкие пальцы карманника и картёжника вздрагивают.

— Ну, он был... булгах... булгахтер, — Корявый чувствует, что его ловят, хотят осадить, и поэтому давится трудным словом.

— Вот так начальничек, — кричит Колька.

— Идрит твою! — вторит Базиль. Он глумливо взвизгивает, опрокидываясь на спину, дурачки задирает ноги, делает вид, что умирает от хохота.

— А что ж, не начальник? — вдруг самолюбиво вспыхивает Корявый. — А ежели... а ежели он был булга... булгахтер в ЦК! В ЦК партии.

На этот раз шумно гогочет весь царственный шалман. Снисходительно улыбаются и в «нижних палатах».

У Базиля тонкая язвительная усмешка: он доволен. Корявый мучительно, беззвучно открывает рот, но умолкает. Потом, спохватываясь, долго цинично бранится, перемешивая мат со словами «ухо», «горло», «нос».

— Кобра! — спустя минуту воспламеняется вновь Колька. — Ты говорил, что у тебя был наган. Взаправду был? Был или не был? Был! И ты стрелял из него? Ну расскажи, в кого стрелял! Ну расскажи! Расскажи, как стрелял!..

— Видишь ли, — лениво мямлит Кобра, лёжа на спине и мечтательно пошлёпывая себя ладонью по животу. — Наган — это только в крайности, понял? А так с собой всегда только финка. Понял? С огнестрельным знаешь как строго! Засыплешься — и уже срок. Понял?

— А где ты достал финку? Где продают финки?

— Хха! «Продают!» Какой же недоношенный ты! «Продают!» Их, пацанок, нигде не продают.

— А как же, если не продают? Где же ты достал?

— То я! С кем ты меня равняешь! У меня, молокосос, были всякие.

— Как — «всякие»?

— Ну — всякие. По номерам. Я вот, в натуре, больше люблю пятый номер. Сподручней всего зарезать пятым. Чистенькое дело — завалить человека пятым. Понял?

Колька чем-то подавлен, минуты две лежит молча. Потом вдруг садится, как бы впервые вглядывается в неразгаданную физиономию Кобры, его несуразно оттянутый затылок, в большой рот и в маленькие рыжебровые глаза.

— Ты убивал людей, Кобра?! Ну что же ты!.. Что же ты не расскажешь? — уже визгливо кричит выведенный из себя мальчишка. — Что же ты молчишь? Как ты их... убивал? За что ты убивал?

— Ну расскажи ему! — осуждающе присоединяется Базиль. — И вправду ломаешься, как девка.

Кобра сдаётся, приподнимает голову, чтобы убедиться, достаточно ли слушателей.

— Тише вы! Черти! — кричит на весь вагон Корявый.

— Тише! — требует Колька. — Добьётесь, что пошибаем вам рога. Орут, шумят, поговорить нельзя.

— Вот этот паршивый старик, — подаёт голос узкоголовый домушник и презрительно показывает на Омельченко, — всю дорогу бубнит, подлюга. Я тебе насую кроликов, — хорохорится он и, угрожая, показывает животноводу сухонький кулачок.

— Насуёшь! — осторожно сомневается животновод, но сразу же резко снижает голос почти до шёпота. Он опытен:

урки набрасываются стайей, изобьют как миленького, а ведь из 58-1* ни одна душа пальцем не двинет.

— Ты! Плешь! Лысина! Тебе-тебе говорю, лупоглазый! Чем это ты визжишь там, стерва? Мешаешь разговаривать. Давай-давай это самое сюда.

Базиль свешивается с нар и требовательно протягивает руку. Прохор Иванович растерянно оглядывает всех в вагоне и с убитым выражением передаёт Базилю злосчастный гвоздь.

— Кулачье проклятое, — для понта ругается Базиль. — Всех бы вас перестрелял на месте, а вас куда-то везут, контра проклятая!

Он выбрасывает гвоздь за решётку и дёргает Кобру за подштанники.

— Давай: все слушают.

— Ну вот, — хриплым, пропитым голосом начинает довольный Кобра. — Один из наших, ну, из жуликов, конечно, — в Одессе это было, — засыпался и скурвился, понял? Конечно, надо такого убрать. А кому его убирать? Метнули — вышло, конечно, мне. Ну приехал я с партнёром в ресторан. А я, конечно, знал, что тот, курва, тоже там будет, понял? Так и получилось, точно! Только вошли, видим — тут! Далеко за столиком, в своей компании. Сели и мы с партнёром, но поближе к выходу. Понял? На мне, конечно, коверкотовый костюм, у партнёра тоже. Короче — всё честь по чести. Заказали, конечно, коньяку, кефали, икры паюсной, пива...

В этом месте рассказа Кобра приподнимается на локти от необъяснимого волнения: нет слов описать тот шикарный ужин, который, наверное, был только в мечтах рассказчика. Углы большого рта повисли, маленькие глаза с рыжими ресницами замаслились.

— Ну, дальше, дальше! — торопит Колька.

— А ну тебя к... «дальше, дальше»! — вспыхивает рассказчик, и через дыру, где недавно был зуб, вылетает сердитая слюна. Что это тебе? Это тебе не просто тят да ляп!.. Не люблю рассказывать, когда мешают...

— Да! — успокаиваясь, продолжает он. — А план такой был: пойдёт он в уборную, я — за ним, понял? Уж в уборную-

* 58 — номер статьи, открывавшей главу 1 Уголовного кодекса («Государственные преступления»), в её первом пункте говорилось о свержении, подрыве или ослаблении власти советов, измене родине и т.д. Формулировки статьи позволяли расширительное её толкование, а мера наказания — от ссылки до расстрела.

то он пойдёт, понял? Ну, так и получилось. Как только он туда, и я туда. Сразу же! Незаметно, понял? Там темновато, но я-то это место в точности изучил, понял? И вот, как только он повернулся... Как только он повернулся, чтобы обратно идти, понял? Я тогда его прямо сходу — вот сюда. Понял? Снизу, в мочево́й пузырь! Он в один момент так вот. Ну — обвис сразу. Короче, заваливаться начал. Ну, я, конечно, финку об него этак вот вытер, и — незаметно за свой стол. Понял? Гужуемся с партнёром. Что было? Ничего не было! Выпиваем, закусываем, понял? А через три минуты (у меня же на руке часы!) официанту: будьте так добры, счёт. Понял? А сам с понтом шатаюсь, партнёр тоже. Рассчитались честь по комедии и ходу — на такси. А такси давно ждёт нас, понял? Только за порог, а сзади уже шухер начинается: человека завалили! Мёртвый! Уже забегали, туда-сюда! Мильтонов по телефону! Ну, когда мильтошки причапали, мы уже на километр оттуда драпанули, понял?.. Д-да! Чистенькое это было у меня тогда дело! Нюхали собаки своё... Только пришлось мне оборваться из Одессы. Сходу! В тот же день оборвали мы концы на поезде... Вот так, пацан. А ты, недоносок: «Дальше! Дальше!». Что это тебе? Пряники на складе перебирать? Понял?

— Чистое было дело! — восхищается Колька и оглядывает 58-ю: вот-де мы какие! Знайте, вислоухие, с кем вам жить! Подручные и вся челядь Кобры одобрительно улыбаются. Заискивающая улыбка и у Соломона Исаевича (он очень щуплый, и его уже один раз зверски били уголовники, когда шарились в его вещах, а он сопротивлялся по неопытности). В целом, вблизи вождя проходит минута почтительного молчания. Поезд давно остановился, но никто не тянется к окошку.

— Вот свистит этот брехун! — раздаётся вдруг внизу досадливая реплика. Вялый, даже сонливый возглас, для себя, но до чего же он показался неожиданным и дерзким! Свора Кобры остолбенела от удивления. На скулах вождя красные пятна. Кобра приподнимается и ширит свирепые глаза.

— Это про кого ты там, проститут? — глухо спрашивает он и напряжённо подаётся корпусом вперёд. — Ты примолкни там, гад. Понял? Не то вытащу и обломаю твои чертячьи рога! Понял?.. Подлюга!.. Гад!.. Понял, спрашиваю?..

Затих и прислушивается весь вагон. Но звенит встревоженная тишина, и нет ответа на угрозы. Слышен только там же, внизу, странный спор. Это шахматисты. «Брось! — говорит один из них. — Твой ход!» Базиль и Колька, свесив головы, сурово вглядываются в темноту: кто же это всё-таки так дерзко поднял хвост?

— Маруха! — уже кричит кому-то их атаман, прильнув к решётке. — Что же передачу не несёшь, голуба? Говорила — любишь, а сама уже другому...

Вся ватага придвигается к окошечку. Все плотоядно ржут. Изощряется в гадких выражениях и Колька, напрягая мальчишеский голос. Получается настолько срамно, что конвоир-красноармеец бьёт прикладом по решётке. Уголовники улюлюкают, выкрикивают в его адрес мерзкую тюремную брань. Им непритворно весело.

Поезд трогается и — вновь хвастливые рассказы. Верх снова берёт Кобра.

— Хуже всего татарина резать, — нехотя сообщает он. — Визжит, стерва!

Снова просьбы рассказать. Кобра тянет, ломается. Наконец, сдаётся, но говорит вяло, тускло. Не убеждён, верят или не верят. И враньё не продумано, совсем черновой вариант. Потускнел и Колька: интересно, но не складно получается!

— Давно уж это было, — оговаривается Кобра.

— Это было давно и неправда, — уточняет белозубый Базиль.

Кобра сердито встряхивается, крепко ударяет себя в грудь:

— Вот курва буду, если вру!

«Курва буду» — это уже клятва. Доверие восстанавливается, рассказ продолжается.

4. Битва в пути

Насмешливую реплику в адрес Кобры бросил Каблуков. Правильней сказать, она сама у него вырвалась. Бандит окрысился, а Каблуков не только сам притих, но даже удержал от рискованной перебранки своего товарища Воронина. Досадно признаваться в этом, но — что скажешь: благоразумный уступает.

Так бы и ехали, так бы и не было ничего, если б не слабость блатяков — пожрать и полакомиться за счёт английского короля. Базиль и Корявый получили задание — пошарить там, по нижним нарам, нет ли у запасливых «чертей» заначек — табаку, сала, сахару.

— И ещё, — шёпотом добавил Кобра Базилю, — есть под нами один фраер, понимаешь, о ком я говорю? Дай там ему. Попутно, понял? Выпячивается! Стихи там какие-то... Вот этому. Дай, чтоб припух. Понял?

— Понял, — помрачнев, ответил Базиль.

Речь шла о Загуле: Кобра по ошибке именно ему приписал обидное восклицание.

Базиле не улыбалась задача «попутно» дать в зубы тому, кто там, внизу, стихи вслух читает. Правда, тот, который читает, шуплый и сдачи не даст. Но Базиль беспокоил белобрысый и сутулый шахматист, что помещается где-то там же. У блатных не хватает памяти на то, чтоб запомнить имена и фамилии, но Воронина Базиль уважительно запомнил ещё в Красноярской тюрьме. Когда в большой камере той тюрьмы вспыхнула массовая драка, Базиль сам видел, какое диковатое бесшабашие разлилось по веснушающему лицу этого легаша, и как бездумно бросился он на выручку своих. Базиль в тот момент тоже задирался и хорохорился в числе блатных, но вовремя увидел Воронина и успел посторониться. Не хотел бы он такой же встречи и теперь.

— Знаешь, Кобра, — сказал Базиль, — есть там внизу такой. Белобрысый и сутулый. Шахматист. Из легавых, но настырный, падла, он обязательно вяжется, уж это я б... буду.

— Спёрло тебя? — презрительно бросил Кобра, раздувая ноздри. — В чём дело? Сам спрыгну к вам. На подмогу. И вся братва. Только... Слушай сюда!.. Ты, Корявый, тоже послушай. Если этот, о ком говоришь, начнёт дыбиться... — понял? Тогда вы оба быстро, понял? Сходу! Оба! Раз — и обломали рога! Понял?

Кобра сказал так, но всё же обеспокоился. Базиль дрянцо на кулак. Только горлом берёт. Корявый — сильная колхозная дура, но он же — что корова на льду. Конечно, сам Кобра тоже в соку — ему же всего только 29, — но у него отшиблено лёгкое, и в драке он обидно быстро теряет силу. Хотя чего он боится? Ведь это черти. Очень уж рожу берегут. А если и есть риск, то какой он, к чёрту, жулик, если не будет рисковать!

И всё же Кобра был на распутье. В раздумье спустился он к отверстию в полу и, возвращаясь назад, намеренно задержался на середине вагона. Он долго подтягивал, оправлял подштанники, чего не делал до этого, и всё пытливо вглядывался в угол нижних нар. Ему не видно было лица Воронина. Другой шахматист оказался совсем сопляком, ещё не бритым маменькиным сынком, таким плёво-чистеньким, что больше был похож на девку, чем на арестанта.

Шахматисты не обращали на Кобру ни малейшего внимания, и Кобра вдруг успокоился. Для прощупывания котомок наступал удобный момент. Вся эта контра только что хлебала баланду, уж нечего ей больше ждать от жизни до завтрашне-

го дня. Спать ей не спится, но всё же дремлет. Стучат колёса вагонов, пробегают конвойные по крыше, и снова только стук колёс о стыки рельсов. Самое подходящее время, чтоб добыть махорки и накуриться всласть на все сто. Накуриться и услышать, как свои ребята скажут: «Вот это атаман у нас! С нашим атаманом не приходится тужить!».

Кобра решительно поднялся на своё место, весело шепнул что-то Корявому и дал знак — пора! Корявый и Базиль, посерьёзнев, не скрывая волнения, спрыгнули с нар. За ними спустились жаждущие подвигов Колька и Витька Бзик, тихий и скромный полячок. Начался сопровождаемый вразумительной мимикой повальный обыск.

Начали от стены. Привыкшие к бесправию, давно павшие духом «контрики» безропотно приподнимались и беззвучно наблюдали, как хищно и нагло роются бандиты в их убогих пожитках.

Загул был восьмым от края. В его мешке не было ни съестного, ни табаку. Только в старых ботинках запрятаны были чудом сохранившиеся до сих пор книжки.

— Поднимись! — потребовал Корявый.

— Чего тебе?

— Поднимись, говорю! Видать, ты и слямзил у нас консерву! Покажь, что в сидоре!

Загул не успел ответить: верный уговору Базиль ударил его кулаком под глаз. Корявый рванул из-за спины Дмитрия мешок, сходу ощупал и бросил на пол.

Дмитрий, прикрыв ладонью глаза, закричал что-то несуразное, вроде: «Бандюги! сволочи!», — такое, что на воле никогда не слетало с его языка.

— Книжки! — обнаружил радостную находку Колька.

— Вот это гут! — отозвался вождь. — Давай сюды! Законно! Во, карты какие получатся!

Каблуков и Воронин, как всегда, увлеклись игрой, но когда рядом закричал Дмитрий, уже невозможно было ничего не замечать вокруг.

— Что такое? — выкрикнул Каблуков.

Головорезы дружно бросились к Воронину: надо было успеть захватить его лежащим, пока он не выбрался из-под верхнего настила.

— Тебя, паразит, спрашивают? — наклоняясь, вкрадчиво произнёс Корявый, нарочито выламываясь и гнусава. — Ты чего тут сохнешь? А ну, покажь свой мешок!

Воронин тотчас издал в ответ какой-то победный крик, но ему трудно было выбраться. Выдвигая ноги и приподнима-

ясь, он получил от Корявого первый удар в лицо. Базиль поторопился к Каблукову, но тот был недосыгаем в своём углу. Произошла минутная заминка: тесно, неудобно, — никакого разворота для действий.

Все арестанты в вагоне, притворявшиеся до сих пор, что ничего не видят и не слышат, вдруг приподнялись, взбудораженно сдвинулись на край досок, чтоб лучше видеть.

— Бейте их, чего смотрите! — крикнул запертый между нарами Воронин.

Никто не тронулся. Но призыв Воронина был явным посягательством на власть! Кобра не вынес. Камнем сорвался с верхних нар. Мелькнули его босые ноги в грязных подштанниках, грудь в наколках. Нагнув по-бычьей голову, ощерив стиснутые зубы, он сходу, отодвинув Корявого, зацепил и яростно двинул к себе первое, что только попало ему внизу под руку. Мягко запрыгали под ногами кони, короли и ферзи. Но в тот же миг стремительно разогнулась жилистая нога Воронина. Кобра, за что-то задевая, пытаясь за что-то зацепиться, валился, валился, и вдруг шмякнулся у противоположных нар. Торопясь, он слепо ринулся обратно, но... было уже поздно. Воронин и Каблуков, босые, тоже почти голые, были уже на ногах. Уже безнадежно где-то притих жидковатый Базиль. Уже Корявый почему-то очень тяжело и очень медленно поднимался с пола. Каблуков не дал ему выпрямиться, с широким вольным размахом, с каким привычно бьют по футбольному мячу, он ударил Корявого босой ногой между глаз. Колька и Бзик с визгом бросились на Воронина, обхватили сзади его плечи, впились пальцами в лицо, шею, больше царапаясь, чем нанося удары. Воронин стряхнул их и встретил Кобру. Кобра намеревался нанести Воронину прославленный у жуликов удар головой под рёбра, но уже чьи-то свирепые руки, схватив сзади, круто перегнули на спину его голову. Три-четыре минуты длилась стремительная, неуловимая в деталях драка. На пятой всё уже закончилось. Победители, Каблуков, Воронин и тот агроном из-под Винницы, что много ел кроличьего мяса, деловито затолкали Кобру под нижние нары: без этого победа была бы неубедительна. Вместе с этим разом прорвалась напряжённая тишина. Вся 58-я повылезала со своих нар на середину вагона. Раздались свист, неистовые выкрики:

— Бей их!

— Дави их, гадов!

— Кровь нашу пили, сволочи!

— Отошла им лафа!

— Жалко, меня задержали, я б им!

Уже новые угодники предлагали из своих тайных запасов воды Воронину, чтоб он мог умыться. Трое подбирали шахматы на полу. Воронин, презрительно отстранив воду, метался по вагонному пятачку, как лев в клетке. На его победном, замазанном кровью лице можно было видеть и боевой экстаз, и неудовлетворённость, и досаду: он только что разошёлся, а перед ним не было уже врагов, ни стоячих, ни сидячих. Лежачих не бьют, да и нет удовольствия. Любимец Дмитрия Каблуков, весь исцарапанный со спины, заботливо принимал и жалостно оглядывал растоптанные шахматы. Но вот он спохватился — сунул их в чьи-то руки, величавым жестом победителя сдёрнул с верхних нар на пол лохмотья уркачей и небрежно забросил к окошку пожитки свои и Воронина.

— Где твой скарб? — кивнул он Дмитрию Юрьевичу. — Залезай наверх!

Робко подошли бесприютные, сброшенные прежней властью с верхних нар, оба поджарые, синие, большеглазые.

— Товарищи! — в смятении, с дрожью в голосе, сказал один из них, не зная, к кому адресоваться. — Тут и моё место было. Мы вот там тогда спали. Можно мне туда? Можно мне туда?

— Забирайся! — разрешил Каблуков.

— Что «забирайся»? Куда «забирайся»? — запротестовал было Воронин, но сконфузился. — Ладно! Лезьте, туды вашу... — брезгливо согласился он. — Трухлявая лапша! Вон в тот угол!

Дмитрий Юрьевич разостлал на третьем месте от окна брюки и бережно уложил в изголовье дорогую для него котомку. Рядом с ним, никого не спрашивая, деловито устроился Омельченко. Настроение у Загула было и мятежное, и подавленное. Ведь он ничем не помог совершившемуся «перевороту». Он тоже «трухлявый» в глазах Воронина. Откуда же у него это право — занять в вагоне одно из лучших мест? Было стыдно и грустно. И всё же что-то протестовало в нём против ощущаемого стыда.

Поезд остановился. Донеслись слабые звуки с воли. Каблуков, Воронин, Загул жадно прильнули к решётке. Прежде всего увидели конвоира. Тот подозрительно заглядывал под вагон. Вот он выпрямился, вгляделся в новые физиономии, на его лице мелькнуло удивление, потом он что-то понял, даже přátельски улыбнулся новым для него персонам.

Вагон был в хвосте, не видно было ни станции, ни уборных, ни домика с кипятком. Недалеко виднелась будка стрелочника, в стороне от линии какая-то избушка, копна сена

за ней. Пробежала вдоль эшелона сибирская собака, за ней мальчишка в тяжёлых сапогах и в громадной фуражке с околышем. Очень бедный пейзаж, но всё, что было видно, всё значительно, всё волновало до слёз, будило тревожные мысли о многогранности жизни, о беспредельной мудрости того, что существует... Пустяки... Но какое наслаждение видеть чужую жизнь!

* * *

Ніби гріб, хатенка низька,
Де на світ родився я;
Там була моя колиска,
Там живе рідня моя.

Я родився серед смутку,
Виростав я в морі сліз...
В кождім кутику-закутку
Чув прокльони, зойки скрізь.

Чим ми, бідні, винувати,
Що гризе нас вычини біль?
Голод, холод в наши хаті,
А по стінах бруд і цвіль?!

Я родився серед болю,
Хоровитим виростав,
Туча вбила хліб на полі,
В хату голод завитав.
З нужды батько в гріб звалився
І лишив нас без часу...
Я в широкий світ пустився:
Може, щастя принесу...*

5. У вагонного окна

Окно в теплушке небольшое, двадцать сантиметров на тридцать. И всё же через решётку Загулу видна необъятная жизнь. Вот мелькнула и осталась где-то позади не то хата, не то землянка. Маленькая, но есть труба, из неё тянется дым.

* Из цикла «Весняні мрії», 1912 г. Наверное, нет необходимости переводить на русский язык это стихотворение украинского поэта.

Кто-то одинокий, согнувшись, долбит около неё землю. Кто он? И зачем ему земля? В этой пустой и ничтожной для других тайне для Загула скрыта большая мысль. Она не одинока. К ней пробиваются другая, третья. Скапливаясь, они давят на мозг, погружают Дмитрия в глубокое раздумье о том, чем живут люди на земле и в чём заключается настоящее их счастье.

При свете из окна Загул обстоятельно разглядел своих товарищей. Оказалось, что у Воронина круглое лицо в жёлтых крупных веснушках, кожа у него розовая и на носу чуть облупилась, а грудь покрыта не чёрными, как казалось там, внизу, а рыжеватыми волосами. У Омельченко длинные, свисающие вниз «запорожские» усы, но отвисают они не столько с верхней губы, сколько со щёк. Глаза Каблукова в полумраке нижних нар тоже казались чёрными, во всяком случае, матовыми, на свету выяснилось, что они были зелёными под густыми чёрными ресницами. При свете от окна чуткого к красоте поэта ещё более восхитила недостижимая пластичность природной художественной лепки. Сколько было гармонии в чертах лица этого счастливого парня, сколько плавности в переходах, законченности в милом облике! В овальном лице юноши было столько бесхитростной красоты, что, казалось, на нём можно читать, как в детской книге с крупным шрифтом. Дмитрию и раньше нравились люди простые и открытые. Он со сладким волнением любовался красотой юноши, но вместе с тем ему было особенно грустно от сознания собственного несовершенства. Он, Загул, к сожалению, некрасив. У него симпатичные серые глаза с умным юмором, энергичное волевое лицо. Неплохо! Загул доволен этим. А вот нос... Нос портит портрет поэта. Он плоский и несколько низка его седловина. А каков он теперь в вагоне арестантов, если взглянуть в зеркало?! Теперь он, худой, небритый, грязный, надо полагать, совсем «красавец». Впрочем, о чём журишься ты, Дмитро! Ведь ты уже не поэт Загул, и кто будет с пытливым любопытством всматриваться в тебя при встречах? Ты просто лагерник, без прошлого, без имени, этакий замухрышка, ниже среднего роста, начинающий новое примитивное житьишко на совершенно голом месте, никем не знаемый, никому не ведомый и никому задарма не нужный.

Воронин и Каблуков сдружились на тюремном дворе, когда формировался этап, но знакомы они были много раньше, ещё в Томске, где их столкнули любовь к футболу и шахматам. Воронин работал тогда физруком техникума, Каблуков был студентом вуза. Что объединяло теперь этих по внешности

и характерам совершенно разных людей? Каблуков черноволос, высок и строен, Воронин — блондин, среднего роста, сутуловат, плечист. Каблуков по многим признакам немножко флегма, Воронин — крикун и забияка. В тюрьме этот рубахапарень уже акклиматизировался и в совершенстве освоил тюремную брань. Видать, потянулся за ним и Каблуков. Загул, услышав вырвавшийся из уст Каблукова мат, не удержался.

— Не надо! Зачем так похабно, мерзко... выражать ваши хорошие мысли? Вам это никак нейдёт.

Каблуков чуть покраснел.

— С волками жить — по-волчьи выть, — мягко возразил он. — Ничего не сделаешь, теперь нам надо мерзко ругаться и зверски драться.

— «Это похабно, это мерзко!» — обиделся Воронин. — Жизнь мерзкая. А ты бы лежал здесь, если б мы были ангелами?

Загул смутился; да, он среди них вроде попики.

— Где те книжки, которые отнимали у вас? Можно взглянуть? — дружелюбно попросил Каблуков.

— Не всё в них поймёте, они на украинском.

— Ну что ж, попытаемся.

Загул без колебаний достал и передал юноше свои «Мотивы» и перевод баллад* с немецкого, единственные сохранившиеся у него книжки, заветные, свято хранимые. Это для него был единственный документ его честного прошлого.

Воронин, убедившись, что стихи написаны на украинской мове, потерял к ним всякий интерес.

— Я сам прочту, — взяв из рук Каблукова книжку, поторопился сказать Загул. Срывающимся голосом он прочитал строфу из «Сонце і серце»:

Раздарував і я свою любов,
Аж серце стало вбоге і студене.
І довго жду, чи не поверне знов
Хоч крапелька тепла того до мене.

— Хорошо! — первым отозвался Каблуков. — Задушевно! Мне нравится. А чьи это стихи?

— Добре, — похвалил Омельченко, разглаживая усы.

— Это и я понимаю, — присоединился Воронин. — Неплохо написано. А кто автор?

— Я автор, — тихо сказал Загул, и на минуту смущённое лицо его покрылось розовыми пятнами. Ему вдруг показалось,

* Мотивы. Стихотворения. ГНУ. Київ, 1927. Вибір німецьких балад, переклад, Західня Україна. 1928.

что Каблукову трудно поверить в то, что перед ним и в самом деле автор этих задевших его душу стихов. Недаром, взяв снова одну из книжек, он два раза переспросил фамилию Дмитрия. Недовольство своей внешностью было ранимым местом в душе Загула. От самолюбия ли это? Я думаю — от стремления к прекрасному. Такое переживал когда-то Лермонтов, переживал и Лев Толстой. Но Загул ошибался: Каблуков отнёсся к его авторству с полным доверием. С подчёркнутым уважением он сам прочитал вслух и очень выразительно несколько страниц.

— Поэт должен делать точные ходы, как и шахматист, — сказал он. — У вас — точные. Прекрасно... Скажите, у вас 58-я?

— Да.

— По какому делу судили?

— По делу Скрыпника*.

— Кто этот Скрыпник?

— Был наркомом просвещения Украины.

— Что приписали вам? Конкретно.

— Самостийность.

— На самом деле было что-то или туфта?

— На самом деле ничего не было.

Помолчали оба.

— Я понимаю: наверное, очень тяжело, когда страдаешь ни за что! — глаза Каблукова затеплились и тотчас потухли. — А ведь вот у меня нет этого, я меньше обижен, потому что я... ну, потому что я, можно сказать, сам себе срок заработал.

Загул встрепенулся: ещё не приходилось встречаться ему с осуждённым, который признавал бы за собой какую-то вину.

Правдивая история показалась Загулу очень грустной.

Она была проста.

Каблуков исполнял обязанности секретаря горкома ВЛКСМ. В город приехал Орджоникидзе. Захотел поговорить с комсомольцами. В большом зале заводского клуба собралась вся молодёжная организация. Орджоникидзе и главки города засиделись в кабинете директора. Ребята заволновались: хотелось скорей услышать Орджоникидзе — что он им скажет. И вообще каков он сам. «Лёшка! — кричали они Каблукову. — Чего сидим? Скажи, что собрались. Ты не тушуйся!» Лёшка и в самом деле тушевался несколько, но вдруг с чего-то осме-

* Скрыпник Николай Алексеевич (1872—1933), член РСДРП с 1897 г., один из организаторов КП(б)У, член её Политбюро, участник Гражданской войны. Член ЦК ВКП(б), член исполкома Коминтерна, председатель Совета национальной ЦИК СССР. Покончил самоубийством.

лел. Подхватила его вдруг какая-то озорная радостная волна. Оживлённый, бойкий, смело, но почтительно вошёл он в кабинет. Оказалось — все главки тут, не разобрал сразу, где кто. Но вот увидел Якова Исаевича. Секретарь горкома партии сидел за столом рядом с Серго. Весёлым движением руки он остановил Алексея в дверях.

— Чего тебе, Каблуков?

— Все собрались, Яков Исаевич!

— Сейчас придём, — ответил Алексею сам Орджоникидзе, при этом приподнял над столом большую руку, задержал на Алексее приветливый взгляд и улыбнулся.

Яков Исаевич стал торопливо укладывать в папку какие-то бумаги.

Восторженный Лёшка выбежал из кабинета, забежал на сцену, остановился у трибуны, поднял руку, подражая Орджоникидзе, и негромко сообщил затихшему залу:

— Сейчас придём!

Ребята возликовали, засмеялись, задвигались и затихли. Тотчас вышел из-за кулис Орджоникидзе и сел с секретарём горкома за стол. Что было дальше, Лёшка уже не знает. Дальше всё пошло уже без него.

— Я, конечно, ничего не хотел сделать обидного, — закончил свой рассказ Каблуков. — Ведь я же люблю его. Просто как-то не разобрался. Орджоникидзе — мой любимый вождь. А оказалось — дискредитация власти. Может быть, и дискредитация. Думаю, думаю и не могу разобраться. Во всяком случае, я сам виноват, за то и сижу.

— Будь доволен, что не расстреляли, — лениво вставил Омельченко. Он явно не одобрял «святых рассуждений» Каблукова, считая, что тот из какого-то кокетства напустил на себя эту «святость».

Долго ехали молча, глядели в окно. Каждый думал о своём. У Каблукова вдруг как-то размягчилось его погрузневшее лицо.

— Бывало, едешь в поезде, — по-детски доверчиво и мягко сказал он Воронину и Дмитрию, — едешь в поезде, и тебе жалко-жалко тех, мимо которых едешь. Кажется тебе почему-то, что у них, конечно, серая, конечно, скучная жизнь, далеко не такая интересная, как твоя. Ты вроде как быстрокрылая птица, а они как пешеходы-курицы... И вот совсем не то... совсем не то теперь. Еду, везу тоску в груди, и у меня к этим вот людям, ну хотя бы к этим вот, что копошатся (что это они — картошку роют?) — у меня к ним зависть. Если б мне сказали: высаживайся. Живи до конца вон в той избушке! Не в домике,

а вон в той — в землю зарылась — весь век! Живи в ней, не рыпайся, ничего не желай, ничего не требуй!.. Я был бы счастлив. Это я по-честному говорю. Правду говорю.

— Я тоже согласился бы тут жить, — понимающе улыбнулся ему Загул.

— Хм, «согласился»! Кто бы не согласился? И я бы согласился, чтобы сбежать. Между прочим, я всё равно сбегу, — понизив голос, сообщил Воронин, как о чём-то прочном, давно им продуманном. — Только я ещё в тюрьме решил, что на семье теперь крест. Ведь если бегать и за семью держаться, то уже через месяц засыплешься.

— Нюхайте! — закричал вдруг Каблуков. — Как опилками пахнет! Смолистыми опилками! Ах, до чего же хорошо!

Загул потянул носом. Да, неожиданно, радостно и вкусно запахло опилками. Воронин и Алексей уткнулись в решётку, но никаких опилок, даже оструганных брёвен нигде в этой стороне видно не было.

— Конечно, были где-то близко опилки, — оживлённо пояснил Каблуков. — Это не зря запах нанесло. А вот скажите, почему мы так чутко улавливаем запахи? Потому, друзья, что мы голодные. Это я как медик поясню вам. Почему волчье обоняние — самое острое среди зверья: волк за десять километров овечку чувствует. Потому, что нет зимою зверя более голодного, чем волк.

6. Разговоры по душам

Поезд тащит свой вонючий эшелон уже по Забайкальской железной дороге. Паровоз здесь свистит озабоченно и насто-рожённо: его беспокоят частые крутые повороты. Байкала узникам не видно: он с левой стороны теплушки, а там нет окна. С правой, в пяти шагах, тянутся чудовищно-грузные от-весные громады камня. Великаны-утёсы, видимо, упираются в небо: вершин их из окошечка не разглядишь. Дикая, волну-ющая красота, и снова на сердце у Загула томительная грусть. Бежит и бежит эшелон навстречу неизвестному. Колёса дав-но устали отстукивать одно и то же: «Как хороши, как свежи были розы!»*, и всё же они отстукивают невозвратное и днём, и ночью, и нет осточертевшему пути ни края, ни конца.

* Первая строка стихотворения И. П. Мятлева (1796—1844), широко известная по одноимённому стихотворению в прозе И. С. Тургенева.

Один раз в день проверка. С визгом отодвигается дверь, в теплушку вскакивают два солдата, четверо с винтовками наизготовке у вагона. «Не разговаривай!.. Не двигайся!.. Не шевелись!.. Пять, пятнадцать... Поднимись!.. Тридцать!.. Сорок! Все! Закрывай!..» Выскакивают, закрывают, и вот уже взвизгивает дверь соседнего вагона... На очередной большой станции один раз в день подадут в вагон четыре таза с баландой, выдадут хлебные пайки, иногда ведро воды...

...Днём много веселее. Особенно тем, кто у окна. От свежего воздуха, когда он жмётся к лицу, становится так же радостно, как от прохладной воды в жару в момент купанья. Пахнет то бензином, то углём, то просто железной дорогой или вагонами заключённых. Лес становится уже помятым, жёлтым, он тоже много пережил, поредел, осунулся. После скал появились высокие фиолетовые сопки. Фиолетовый их цвет от кустарника, который называют здесь багульниковом. Об этом сообщил Базиль. Видать, этот фартовый парень — стреляная птица: говорит, что уже в третий раз везут его по этим рельсам. Воронин вылепил новые шахматы, и теперь с Каблуковым целыми часами не замечает ничего вокруг. В промежутках между партиями Воронин весело кричит: «Занять исходное положение!». Или: «Поставить ноги на ширину плеч! Продолжай под музыку!». В общем, в глазах хмурых пассажиров он немножко чокнутый. Хлебный мужик Прохор Иванович обтачивает новый гвоздь. Обтачивает в этот раз смело, в открытую. Омельченко снова в кругу жадных слушателей: снова рассказы о кроликах, с которыми никогда не будешь голодать. Бывший директор курортного ресторана Гурий Шатов передаёт срамные анекдоты. Он лысый, круглый. Речь его витиевата. Вместо «так сказать» говорит «таскае», вместо «всё же» — «всётый же». Основная масса арестантов слушает про кроликов. Вокруг Шатова только особые любители, и среди них Колька, вихлявый и пухлозадый мальчишка, недавний почитатель Кобры.

Днём веселее, ночью скучнее, томительнее. Ночью у Загула нестерпимо больно нарывает взъём ноги. Алексей — медик, он студент последнего курса, но без лекарств ничем помочь не может. «Твоему организму нужны белки. Будешь есть мясо — само заживёт». Загул тупо воспринимает эту учёность: оказывается, у него есть организм, и он требует от Загула мяса. Вот ещё забота на те же плечи!

Ночью мало кто спит: голодному не спится. Зато по двое, по троеверяют друг другу сердечные тайны. Загул прислушивается.

— Я возражаю следовательно, — говорит кому-то мягкий и тихий Соломон Исаевич Айзман. — Иосиф Виссарионович сказал: «Человека надо любить. Надо ухаживать за ним, как садовник ухаживает за любимым деревом». А он мне: «Вот так мы и делаем. Как садовник ухаживает за деревом? Он его пересаживает, он его стрижёт, он ему лишние ветки и сучья обрубает...». Видишь, как перевернули дышло и куда оно вышло.

— А мне в утешение такую, таскае, ахинею следовательно преподнёс, — отвечает Айзмону незнакомый Загулу голос. — Читал, говорит, о процессе промпартии? Ведь главу всех этих инженеров-заговорщиков Рамзина* к расстрелу приговорили, а он всё тый же, сидя в тюрьме, новую машину изобрёл. Теперь он, таскае, снова в чести, ему и свобода, и почёт. Вот и ты трудись, работай, изобретай, изобретёшь что-нибудь — с тебя тут же всё снимется, на воле, таскае, будешь...

Оказалось, что Алексей тоже не спит.

— Я почти смирился с наказанием, — вдруг, перегнувшись через Воронина, шепчет он Загулу. (Хотя много, чёрт возьми: десять лет! — добавляет он про себя.) Мне будет 36, когда выйду! Да, почти смирился, но... есть девушка, Дмитрий Юрьевич!.. Милый и хороший человек. Да ещё и мама у меня. Только едва ли доживёт. Старушка. Так всё это жаль! Смертельно! Вот и лежишь — глаза не смыкаются. Не о себе думаю, Дмитрий Юрьевич! За что страдают там, в моём городе, эти два хороших человека? Ведь они куда больше, чем я, страдают!

— Да, — отозвался Воронин. — Девушка осталась у него, во! В чём-в чём, а в женщинах я разбираюсь. Хорошая. Такая грудастая, мне такие нравятся. Мало таких. Как-то идём мы с ним, с Алексеем, со стадиона. Вся футбольная команда, только мы с ним впереди. На тротуарах бабы толпятся, на нас глазеют. Слышу, одна девица говорит другой: вот из этих я бы любому сердце отдала. Я покосился глазом этак. Ну, невольно как-то захотелось увидеть, кто это напрашивается. Бог ты мой! Вот действительно рожа! Унеси ты, думаю, меня подальше...

Каблуков отвернулся к окну и затих. Загул подумал про Воронина: какой же он бестактный, как толстокож и груб!

* Рамзин Леонид Константинович (1887—1948), инженер, один из авторов плана ГОЭЛРО, профессор МВТУ и МЭИ. В 1930 г. осуждён по «делу Промпартии». Сконструировал промышленный прямоточный котёл («котёл Рамзина»). В 1943 г. удостоен Сталинской премии. Награждён орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.

И вдруг что-то произошло.

Все враз это почувствовали: что-то произошло. То ли пронёсся какой-то тревожный звук где-то под вагонами, то ли скатился кто-то под откос и вскрикнул. Все вопросительно приподнялись, сели, вытянулись. Базиль и Кобра скатились с нар и прильнули ушами к боковой стенке вагона. Быстро-быстро протопали по потолку кованные сапоги бойцов. Поезд вдруг резко споткнулся. Всех рвануло, сунуло вперёд, потом так же стремительно откатнуло назад. Возник и распростёрся жалобный железный визг. Поезд остановился. Каблуков, Воронин уткнулись в темь окошка. Низко замелькали фонари, освещая сапоги, приклады винтовок, полы шинелей. В темноте утонули неясные крики конвоиров. Фонари, мигая торопливо, двинулись в хвост поезда. Обострённый слух ловил обрывки фраз. Прошло пять минут, ещё пять. Поезд двинулся. В теплушке заговорили, все уже точно знали, один подробнее другого, что произошёл побег. Колька настойчиво добивался у своих, сколько убежало, как убежали, куда они дальше побегут.

Пояснения Кольке давали в этот раз не столько Кобра, сколько Базиль и Корявый. Картина побега, обрисованная Базилем, показалась всем самой правдоподобной и обстоятельной. В вагоне, ближе к паровозу, в полу расширили дыру. Через неё и совершили побег. Конечно, это были блатные ребята, — рогатый чёрт не побежит, у него, подлюги, душа на это не поднимется! Бегут во время пути только настоящие урки. А вообще, делается это так. Беглец, конечно, одетый, но без всего верхнего, протягивает в дыру руки против хода поезда, потом продевает туда же голову и плечи, хватается за шпалы и вываливается весь вдоль полотна головой к последнему вагону. В вагоне, конечно, помогают, чтоб не зацепились ноги. Вслед спускают бушлат, телогрейку, шапку.

— В этот раз один только сбежал?

— Чурка ты. «Один». Бегут двое-трое! Одному не дело бежать.

— Должно, конвоир задний не спал, заметил, стерва, — внушительно вставил Корявый. — Почему он поезд остановил?

— Даже если утапали, всё равно двое-трое из конвоя остались, в погоню пойдут. Убежали-убежали! Ещё рано «гоп» кричать.

— Может быть, — неохотно согласился Базиль.

7. Сердце будущим живёт

Утром говорили только о побеге. Не столько о нём самом, сколько о жизни. О том, как дальше жить. У блатных побег вызвал много хвастливых рассказов. Осуждённые по 58-й статье впали в грустное раздумье.

— Куда побежишь? — высказался Омельченко, на этот раз так драматично, что забыл погладить свои усы. — Вот меня взять — осталась семья. Ну, убёг. А дальше? Ей сразу же неприятности: обыски, допросы. Письма вскрывать начнут. Нет, хватит для неё и того, что было.

— Правда-правда! — высунувшись из-под нижних нар, столь же проникновенно подтвердил Айзман. — Я своему сыну даже наказ такой дал: немедленно откажись от меня через газету, немедленно напиши обо мне: такой-сякой, подлец и мерзавец, не признаю его отцом! Заплакал, ну а что поделаешь: куда ты уйдёшь от этого? Ведь не откажется — из вуза выгонят...

— Урка — это по-латыни волк*, — хотел так же громко выкрикнуть с противоположных пар слабогрудый человек, но закашлялся. Загул впервые обнаружил такого в вагоне. Бледный, с впалыми глазами и трясущейся правой рукой, которой он хотел сделать какой-то энергичный жест. Господи! Куда везут такого? Ему же под семьдесят! — Волк! Потому... потому он и бежит, что он волк! Только так он может! У него ни семьи, ни работы! Ему подстать волчья жизнь. Жизнь скрытая, воровская, подпольная. А мы? «Черти»? Разве удовлетворит нас такая жестянка? Живым и настоящим нужен свет, нужно, чтобы прошёл и свет остался. Нужно...

Старик закашлялся и свалился на подстилку.

— Чья бы корова мычала, а эта бы молчала, — тонко прокричал ему задетый за живое Бзик.

— Глядите! Выявился новый Исусик! Видать тебя! По соплям видать! — насмешливо и беззлобно поддержал Базиль.

Поезд неожиданно остановился. Сразу же прогремел замок и взвизгнула отодвигаемая дверь. Проверка! Неурочная, особо тщательная. Всех арестантов перегнали в одну сторону теплушки. Обстукали пол и стены. По одному пропустили на другую сторону, и, торопясь, поспешно вышли.

— Гражданин начальник! — успел вслед крикнуть Базиль. — Трое или пятеро от вас сегодня драпанули?

* По-латыни волк — *lupus*. *Ursus* же — медведь, герой повести ошибся, что, конечно, сути дела не меняет. Слово «урка» обычно производят от протокольного обозначения УР, уголовник-рецидивист.

Начальник конвоя на секунду задержал дверной просвет.

— Секретов из этого не делаем, — чеканя слова, резко ответил он. — Двое сдохли под колёсами, третий подстрелен, остальные налицо. — И гневным рывком задёрнул дверь.

— Брешут попки!

— Чёрта с два!

— У кого есть карандаш, ребята? — крикнул Каблуков, обращаясь ко всему вагону.

Никто не отозвался, но через пять минут куцая ладонь Прохора Ивановича разжалась и опустила на постель Алексея огрызок карандаша.

— Будем письмо писать, — сказал задумчиво Алексей и улыбнулся Прохору.

— Треплются! — хвастливо гнусавил внизу Кобра. — Я сам бегал, и по их штанам теперь ясно вижу, что ушами хлопают. Прос...ли! Один раз так со мною получилось. Везут это нас так же вот в теплушке...

Воронин, мечтательно глядевший в потолок, вдруг дёрнулся, и на его широком веснушчатом лице появилась ироническая улыбка.

— Дура ты, Кобра, — кричит он, заглушая всех в вагоне.

— Когда только ты, трепло, бросишь свой дурацкий свист? Я да я! Если бы да кабы! Кто тебя теперь слушает? Подумаешь: герой, слюни до подолу, сопли до полу.

— Воронин! Ну тебя! — одёргивает его Алексей.

Кобра не выдерживает насмешек, вылезает на средину вагона, поддерживая подштанники.

— Чего ты выламываешься, падлы ты кусок! — тоже до крика повышает он свой голос, грозя то кулаком, то пальцем. — Ведь ты шипишь, паразит, только до первого ножа, жду не дождусь, когда попадёт он мне в руку. Курва буду, если не выпущу из тебя кишки!

— Брысь под нары! — суровеет Воронин, угрожая тем, что намеревается прыгнуть вниз.

— Воронин! — с упрёком обращаются к бывшему физруку Каблуков, Загул, Омельченко.

Воронин оборачивается к ним и подмигивает, на лице его довольная, издевательская улыбка.

— Ведь ты, стерва, враг народа! — вплотную подходит Кобра к нарам. — Если б не было у меня отбито лёгкое, я бы из тебя всё... вытряс, и ещё премию за тебя мне бы выдали!

— Кобра! — добродушно и тихо увещевает его Каблуков. — Конечно, у тебя нездоровые лёгкие, но ты же дышать в драке не умеешь.

— Да, ты меня поучишь! Сявка ты, чтоб учить.

— А что же ты думаешь, — тихо и дружески говорит Омельченко. — Придётся вам, блатякам, физкультуре обучаться.

У Кобры нет доводов, он мерзко ругается. Теперь его бесильная злоба вызывает только смех.

— Не задавайся, друг народа! Много думаешь о себе, — кричат ему из трёх углов: Кобру никто уже не боится.

Много было таких перебранок за длинную дорогу. Но всё надоедает, и перебранки тоже. К тому же, многое забывается. Стало забываться даже, что Кобра стоял у власти. Забыл об этом и сам Кобра. Когда вдруг обнаружилось, что у кого-то сохранился табак, он раньше всех попросил «сорок» и согласился на «двадцать». «Сорок» и «двадцать» — это проценты от всей закрутки. «Черти», забыв обиды, великодушно угощали недавнего деспота. Зато приверженцы «папахена» ухитряются без спичек и кремня добыть огонь... Дружеский обмен услугами.

— Дайте вашего огонька, ребята.

— Сорок! — летела в ответ торопливая заявка.

— Двадцать! — торопился обеспечить себя другой.

Слюнявая закрутка долго переходила из одного вонючего рта в другой.

8. Первое письмо

Неожиданно для всех в вагоне объявился самый настоящий певец. Из самого настоящего театра. Если издали судить по голосу, ему было лет восемнадцать. Безупречно чистым, мелодичным тенором он вдруг запел арию Ленского «Куда, куда, куда вы удалились...». «Громче! Громче!» — запросили ошарашенные арестанты. Они уже позабыли, что есть на земле искусство и, может быть, потому им показалось, что юноша поёт артистически хорошо. Во всяком случае, исключительно богатая музыкальная память подсказала ему самые нежные нюансы мелодии, и он безупречно воспроизводил их, вкладывая в пение нежную, поэтическую душу.

— Какой молодец! Какой молодчинище! — шепнул Загулу Каблуков. Разнеженное лицо самого Каблукова тоже стало милым, простым, домашним.

Оказалось, что фамилия певца Князев. Он был мал ростом, широк в плечах. Наружность не артистическая. И всё же в той, оторванной от него жизни он был хористом оперы. Каблуков

перебежал к нему, упросил спеть ещё что-либо. Князев спел что-то грустное о журавлях, которые кричат в небе «курлы-курлы», покидая страну, где родились, где выросли. После «Журавлей» расстроился и отказался петь.

— Лёшка! — крикнул равнодушный к пению Воронин. — Чего ты там? Жду! Играешь белыми!

Каблуков отказался: он приготовил письмо, ждёт останковки поезда. Хочет попытать счастья первым нелегальным письмом.

Теперь у окна была демократия: всегда сидели какие-нибудь гости. Не пытались быть гостями только Кобра, Корявый, Бзик. Как большинство блатных, они равнодушны к природе, а весёлые шуточки над бабами через решётку были уже невозможны.

За окном потянулись фиолетовые сопки, среди них широко раскинулись раздольные долины со спокойными ленивыми речками. Лес начинал уже чернеть. Издалека виднелась в нём недоступная боярка, она в багровых листьях. Её ветки просятся в букет.

— Места-то, места-то какие! — не то мечтательно, не то завистливо произносит Омельченко.

— Уборка сейчас. Хлопотно в нашем колхозе! — озабоченно шепчет Прохор Иванович. Выглянул через решётку Базиль.

— Гляди: ястреб! — восхитился он. — Вот, курва, как ныряет! Ястреб! Во: видите? Мышей ловит, подлюга!

Поезд замедлил ход и остановился. Большая станция. Каблуков достал угольничком свёрнутую бумажку с карандашным адресом. В адресе были слова: «Маме моей Ирине Павловне Каблуковой». Сбоку крупно приписано: «Товарищ прохожий! Бросьте это письмо в почтовый ящик!».

Каблуков прочитал адрес и приписку громко, на весь вагон.

— Как думаете: попадёт в ящик? — обратился он к ближайшим.

Воронин пожал плечами. Загул, Омельченко сказали: «Попадёт!».

Тогда на противоположных нарах снова приподнялся старик — тот, что поразил Загула пророческим обликом, бледностью и огромными ввалившимися глазами. Он сделал тот же многозначительный жест крючковатым перстом.

— Народ... — задыхаясь, произнёс он и закашлялся. — Народ чувствует... Народ чувствует правду. — Всё ли он сказал или только начал? Новый приступ кашля прервал его.

— Пи-и-ить! Пи-и-ить! — затянули арестанты всех теплушек эшелона. Сегодня весь день ни в один вагон не подали воды.

— Пи-и-ить! — закричали Колька, Корявый.

— Пи-и-ить! — подхватила почти вся теплушка. Каблуков обеспокоился.

— Ребята! — согнувшись, привстал он на нарах. — Я написал письмо матери. Не кричите, пока не выброшу это письмо. Я боюсь, что вы разозлите конвойного! Пожалуйста. Очень прошу.

Вся теплушка разом затихла, только Кобра проворчал что-то бранное.

— Тётенька! Тётенька! Пожалуйста! — просительно обратился к кому-то Каблуков. — Бросаю для моей мамы письмо. Опустите, пожалуйста, в почтовый ящик! Это моей матери! От сына — матери!

Решётка мешала размахнуться, и письмо почти отвесно опустилось куда-то вниз. Проходившая работница была ещё молода, лет двадцать пять, не больше. Но у неё было серьёзное внимательное лицо. С минуту она была в нерешительности, видимо, определяла настроение конвоира, и вдруг торопливо подбежала к вагону и подняла письмо.

Вот она подходит уже к платформе. Бросит письмо в ящик или не бросит? Будет читать его или бросит, не заглядывая? Незнаемая женщина идёт с письмом. Идёт... Всё ещё идёт... Бросила!

— Бросила! — радостно кричит Алексей, и весь вагон заговорил о письме, брошенном в ящик. Это был просвет в жизни! Первый радостный в ней луч!

— Не задерживайте дыхания! — в тон Каблукову кричит Воронин.

Зачем он напускает на себя это фиглярство? — с досадой думает Загул. Колька Сбитнев думает о другом. Ему нравятся эти весёлые выходки Воронина. Он симпатизирует сильному, смелому, весёлому дяде, ищет случая, чтобы оказать ему услугу, заметно крутится вблизи.

Не чуждается Воронина и Каблукова Базиль. То попросит разрешить ему выглянуть в окно, то смотрит часами, как шахматисты передвигают на доске фигуры.

— Базиль! — как-то спросил его Воронин. — Это у тебя кличка или фамилия?

— Моя фамилия Базиликин, а ребята запомнили Базиль. Вот ты Воронин, а тебе уже кличка Рыжий... Тот поляк, что с нами, он Брзжевский, а стал Бзик. Зачем тебе моя фамилия?

— По ночам планы составляю, — улыбнулся Воронин и подмигнул Базилю, как близкому товарищу. — Это у тебя... настоящая?

— Спрашиваешь! — ответил Базиль и тоже засмеялся.

— Со сколько лет по тюрьмам?

— С семилетки. Кончил и пошёл.

— Твоя специальность? Вот эта? — и Воронин, вытянул два пальца, показал, что тянет из кармана.

— Нет, я к аферам тянусь, но и картами не брезгую.

Каблуков, Загул, Омельченко заинтересовались, придвинулись, — когда ещё услышишь столь откровенный разговор! Польшённый Базиль приоткрыл им завесу в подпольный мир, разноликий, но как-то всё-таки упорядоченный, планомерный и дружный. Вот узкие специалисты по обкрадыванию квартир — «скокари», «домушники», вот опытные специалисты по хищению чемоданов — «чемодан-пики», вот простенький «тихарь» — тихо-тихо заходит он летом в открытую дверь, встретит хозяйку — смиренно на хлеб попросит, никого не встретит — утащит первое, что попадётся под руку. Оказалось, что у этого мира свои песни, своя устная литература, свои идеальные герои.

Базиль слушали уже все. Он побывал уже в лагере, и не в одном, а в трёх, в том числе на постройке Беломорско-Балтийского канала. Слушать было не менее интересно, чем рассказы о кроликах. Базиль презирал «чертей» за их «интеллигентность», за их благородство, внешнее приличие, брезгливость к тёмным делам, но в душе тяготел к ним, как тяготеет к собратьям собака, ставшая волком. Теперь его воодушевило всеобщее внимание и, незаметно для себя, он как будто вырос в собственных глазах...

— Пить! Пи-и-ить! — затягивают прерванную песню десятки голосов.

— Пи-и-ить! — нудно, тягуче кричит весь эшелон.

9. У каждого своя судьба, своё страдание

Загул лежал, окаменев в невыносимой тоске, — была как раз такая полоса, — когда Колька дёрнул его за ногу.

— Папаша! Дай туё книжку. Почитать!

— Не давай, — шепнул Омельченко, — на карты просят.

— Сам читаю, — ответил Загул.

Колька разразился похабной бранью. Его тотчас поддержал Кобра. Он даже выбрался с нар, подошёл вплотную к ногам Загула, и, брызгая слюной через дырочку в зубах, изошрялся в бесстыдных и сокрушительных ругательствах.

— Падло ты трухлявое, — негодуя, кричал он. — Почитать пацану книжку не дал! Да на кой тебе (такой-сякой проститутке) эта книжка сдалась?! Тебе же, стервуге (в ухо, в горло, в нос), жить-то только две недели. Вот-вот загнёшься, все шмотки останутся...

— Кобра! — ухмыляясь и сладко потягиваясь, предупредил Воронин. — Аут! Запри собак, а то я своих выпущу...

Кобра собак не запер, но, погавкав, устал и забрался куда-то к себе. Загул лежал бледный, взвинченный.

— Какой ужас жить с такими! Ведь это быдло! Животное! Куда спрятался в нём человек?

— Медведь не умывается, зато люди боятся, — отозвался Воронин. — Я таким же буду, легче срок отбывать.

— Дмитрий Юрьевич! — отозвался от окна улыбающийся Каблуков, и Загул не знал, шутит он или насмехается над ним. — Ты знаешь, как надумал я ругаться, чтобы тебе приятно было? Ангидрит твою в перекись марганца! Приемлемо?

Загул внимательно всмотрелся в Каблукова, и тот заметно покраснел.

— Лёша! — ответил наконец Загул. — Мне страшно подумать, что мы обречены жить с такими. Не день, не месяц, — всю жизнь! Это ужас; я, действительно, загнусь, не вынесу. Пошлют работать с таким на пару...

— Базиль! — крикнул вдруг Воронин. — Иди сюда! Иди залезай! Расскажешь.

Воронин сдвинул в сторону ноги. Базиль легко запрыгнул наверх, уселся с ногами, тонкий, живоглазый, с ручками изящной женщины.

— Вы друзья народа, мы — враги. А в лагере жить вместе будем?

— В маленьких лагерях отдельные бараки, а в больших все вместе. Это я про отдых говорю. На работе — там другое.

— Почему «другое»?

— Соображать надо своей коробкой. На отдыхе ты меня можешь научить вредительству, а на работе ты меня учишь труду. Спецчасть надеется: когда ты на работе, ей надо помалкивать. Там тобой начальник управляет. Что надо начальнику? Ему прежде всего план давай. Резон ему разбираться в статях и пунктах?

— Ты был в маленьком лагере?

— Был. Сказал в тюрьме, что портной. Меня — телогрейки для лагеря шить. Не выдержал.

— Чем плохо там?

— Производство не требует, чтоб ты свободным был. Сиди на двух квадратных метрах и шей. Кругом лагеря густо вольные живут. Выскочил за зону и потерялся. Спецчасть и стража в штаны воняют. То ли дело как здесь — большое строительство! В Бамлаге пути будем прокладывать.

— Ты в этих местах в первый раз?

— В этих впервые.

— Чёрт её знает, куда везут. А где этот Бамлаг?

— Я и знать не хочу. Зачем? Моя Ибрагим, работать не могим.

И всё же Базиль знал больше. Он уже был на постройке Беломорско-Балтийского канала. Шикарное строительство. Заключённых девяносто тысяч человек! А строили всего только двадцать месяцев. Конечно, и туфты хватало, но всё же сколько понастроили, мать твою в богородицу! Двести двадцать семь километров трассы от Онежского озера до самого Белого моря. И какая трасса, разве увидишь где такую! Одних шлюзов девятнадцать штук, плотин пятнадцать, водоспусков двенадцать, дамб этих сорок девять! Да сто двадцать восемь всяких гидротехнических сооружений! Говорят — Беломорско-Балтийский канал. Да разве он один, этот канал! Их там тридцать три канала!

Слушали Базиля и вспоминали. Да, на воле тоже кружилась голова. Каблуков, Воронин, Загул, Омельченко жили в разных местах, но с одинаковым воодушевлением ощущали резонанс успеха. Всюду радостные речи, в кинотеатрах «Путёвка в жизнь», «Заключённые»*. Удивлялись, но без раздумья: мы ведь идём по нехоженому, у нас ещё не то может быть. Горький писал: «Изменена физическая география

* В 1934 году группа писателей (Евгений Габрилович, Максим Горький, Михаил Зощенко, Вера Инбер, Валентин Катаев, Лев Никулин, Лев Славин, Алексей Толстой, Бруно Ясенский и др.), побывав на стройке, выпустила посвящённую XVII съезду ВКП(б) книгу «Беломорско-Балтийский канал имени И. В. Сталина», первую из задуманной М. Горьким серии «История фабрик и заводов». Результатом поездки был и сценарий фильма «Заключённые» (в сценическом варианте — «Аристократы»), написанный Н. Погодиным (1930, реж. Е. Червяков, в главных ролях М. Астангов, Б. Добронравов, М. Яншин). «Путёвка в жизнь» — первый советский звуковой фильм (1931, реж. Н. Экк, в главных ролях Н. Баталов, М. Жаров, И. Кырля), одна из лучших кинокартин тридцатых годов.

страны, увеличена обороноспособность Родины, но есть ещё одно достижение — переработка человеческого сырья». Иллюзии недолговечны: очень скоро многих досрочно освобождённых, перековавшихся, пришлось заботливо вылавливать для новой перековки. В числе таких был и Базиль.

— И ты вкалывал, как все?

— А я что, рыжий? Я всё в РУРе припухал, а как аврал весной объявили, и я пошёл. Всем досрочное обещали, а я что, откажусь? Начальником Беломорстроя был Коган, Лазарь Осипович. Он не заключёнными, а каналармейцами приказал нас называть. Генеральный прокурор приехал — тот нас, соцвредов, даже товарищами назвал. Ну зато и мы навстречу: за вас, товарищ Сольц*, рады лоб разбить. И в честь его вместо двухсот кубометров бетона восемьсот уложили. Зато тысячи вылетели досрочно. Ягоде, Когану, Фирину, Рапопорту — награды на грудь**. Сам Сосо приезжал. Это его был план — строить заключёнными.

Послушать Базиля стянулись любопытные со всех нар. Воодушевившийся «герой Беломорстроя» рассказал даже свою биографию. Она была не без романтики, но в то же время буднично-правдива. Слушатели отнеслись к ней с доверием, учитывая, что не всё так складно получается, как потом изображается.

Вырос Базиль в шикарной семье, — он два раза выделил голосом это горделивое определение. Конечно, в квартире много комнат, рояль, ковры, всякая там ерундовина. Отец — зав. сельхозбанком. Строгий и взыскательный. Никогда не улыбнётся. Мама — так, как вообще: кроткая, ласковая, словом — мама что надо. Конечно, она много моложе отца и красивая — курва буду — первая по городу.

* Базиликин не вполне точен. Сольц Арон Александрович (1872—1945), профессиональный революционер, участник трёх революций, журналист, входил в состав Верховных судов РСФСР и СССР, но Генеральным прокурором не был. По поручению ВЦИК курировал строительство Беломорско-Балтийского канала.

** Постановлением ЦИК СССР зам. пред. ОГПУ СССР Г. Г. Ягода, нач. ГУЛАГа М. Д. Берман, нач. Беломорстроя Л. И. Коган, зам. нач. ГУЛАГа — нач. Беломорско-Балтийского ИТЛ С. С. Фирин (соредактор упомянутой выше книги), зам. нач. ГУЛАГа Я. Д. Рапопорт, зам. главного инженера Беломорстроя С. Я. Жук (впоследствии — академик), ном. нач. Беломорстроя Н. А. Френкель и зам. главного инженера Беломорстроя К. А. Вержбицкий были награждены орденами Ленина. О последних двух в Постановлении сказано, что они — бывшие заключённые.

До семи лет Юрик бездумно воспринимал теплоту семьи. В десять попала ему вожжа под хвост: задурил. В это время появилась у него сестрёнка Ниночка. Юрий любил Ниночку, но стало казаться ему, что с появлением сестрёнки он, Юрик, отодвинут куда-то на второй план. Отец, такой холодный, посторонний для Юрика, стал неузнаваемо говорлив, ласков, свой для девочки. И мама чаще и нежнее шептала ей свои бездумные слова.

Вначале это, возможно, была обычная ребячья ревность. Но вот кто-то подсказал Юрику, что он, наверное, не родной в этой шикарной семье, а просто-напросто приёмш. Юрик сразу как-то опустилcя, дурно стал учиться, стал пропадать на улице. Школа начала жаловаться родителям: Юрик повеса, отпетый шалопай. Отец становился всё суровее и жёстче. Подозрения Юрика усиливались.

Однажды, когда Юрик был в седьмой группе, а Нинка пошла в первый класс, он случайно заметил в одном из старых писем к матери знакомую ему фотокарточку. На этом фото Юрику был годик. Такой снимок он видел много раз в семейном альбоме. Подозрительный Юрик тайно прочитал письмо. Сестра мамы писала, что в их городе в детдоме есть хорошенький мальчишка. «Берите, — писала тётка, — парнишка мал, безроден, никто и знать не будет».

Для Юры это было всё. Он почувствовал себя несчастным, всеми покинутым, чужим. Зимой того же года отец обнаружил, что из внутреннего кармана его шубы исчезли облигации. «Конечно, их стащил Юрий: у него давно проявляются такие повадки».

— Куда ты девал облигации? — спросил отец во время обеда.

— Я их не брал.

— Они сами исчезли? Что ж ты лжёшь, мерзавец?!

Отец протянул через стол руку и тупо, отрывисто щёлкнул Юрия пальцем под чуб.

В тот же день Юрий убежал из дома, а через два дня — из города. С тех пор бежит по сей день.

Два раза Базиль виделся с Ниночкой. В первую с ней встречу в школе узнал, что облигации нашлись весною: они оказались в демисезонном пальто, а папа думал, что они в шубе. Нинка плакала, звала Юрку домой, уверяла, что и мама, и папа ждут его, будут очень рады.

Второй раз Юрий встретился с сестрой-студенткой, выждав её на ступеньках университета.

— Нинка такая красучка стала... Извините! Такая красивая стала девка... Извините! Такая красивая девушка, что сразу

влюбишься. И я влюбился. Кончу срок — по-честному! — и женюсь на ней.

Все слушатели сочувствуют, к такой развязке тянет сама логика романа. К тому же о свиданиях Базиль рассказывает так красочно, восстанавливает в памяти столько ярких живых деталей, что Загул и Каблуков, слушая, испытывают истинное наслаждение.

— Дурак! Чего тебе надо было! — изрекает задумавшийся Воронин. — Глупая была та вожжа, что попала тебе под хвост.

— Эта вожжа — лень, — перестраивается Базиль на философский лад. — Страшная это болезнь — лень. Как получается: лень учиться — уходишь из дому, лень зарабатывать — лезешь за валютой в чужой карман.

— Расскажи, как засыпался, — дружески просит Воронин. Базиль колеблется, рассказывать ли, но всё же решается.

— В этот раз попал в непонятное, — отвечает он. — Зашёл в горсад, потом в буфет. Встретил там друзей, выпивают. «Садись за компанию!» Конечно, сел. И вдруг нас всех: «Ни с места!». Окружили, бежать некуда. В милицию, потом в тюрьму. Конечно, оказалось, — напачкали ребята. И мне пришили статью: с ними был. А я и во сне не видел...

— Умер! Старик умер! — раздался на противоположных нарах недоуменный беспомощный выкрик. Это растерялся Князев.

— Я как-то издали почувствовал, что он холодный. Ощупал — в самом деле...

Запрыгнул на верхние нары Колька, освидетельствовал.

— Загнулся! — хохотнул он. — Есть уже один!

— Доехал!

— Окачурился!

— Получил путёвку в жизнь!

— Освободился! Досрочно! Раньше всех!

Поспешно вылез на средину Кобра.

— Жалко, что не ты сдох, — бросил он Дмитрию, затем поддёрнул подштанники и торопливо забурчал, взглядывая на Воронина:

— Ша! Вы, там! Слушай все! Шанс имеем! Конвою только тогда скажем, когда пайки раздадут. Понял? Ежли проверка будет, то — спит старик. И всё. Не тревожьте его. Понял? Ежли какая падла проболтается, свою пайку отдаст. Понял?

Он закончил и снова пытливо посмотрел на Воронина.

— Занять исходное положение! — весело и одобряюще ответил тот и дурашливо задрал кверху рыжеволосые ноги.

10. Везли арестантов, встречают работяг

Приехали неожиданно, ночью. Эшелон некоторое время гоняли по путям, загнали в тупик. Приехали! В этом не было уже никаких сомнений. Приехали!

Арестантов охватила радость. Всем захотелось выглянуть из вагона, увидеть тот уголок земли, где обретут они первое пристанище.

Однако новый мир открылся не сразу.

— Глядите: какая-то большая станция!

— Деповская! Я депо вижу. Похоже, посёлок растянулся в обе стороны! Огней много в темноте.

— Глядите! Вышки! Вон он где, лагерь: в низину смотри! Видите: вышки торчат.

— Идут! С фонариками вон, и конвой идёт. Начальство! Принимать идут!

Широким рывком отодвинута снаружи дверь вагона.

— Одевайся! Готовься с вещами! — команда в этот раз оживлённая, она как вздох облегчения — конвой тоже радуется.

Пути, фонари, люди. В стороне безмятежная, мирная железнодорожная станция. Предрассветное белёсое небо. Синим туманом курятся трубы низеньких домиков и чёрненьких избушек.

— Шевелись! Готовься к выходу!

Нового конвоя почему-то уже не видно. Вообще что-то неожиданное, что-то отрадное ощущается в пейзаже. То ли потому, что не слышно опасных криков конвоиров, нет суматошных их угроз, не видит глаз надменных оскорбительных для человека собак-ищеек, то ли потому отрадно, что этапу наступил конец.

Перед дверью появились трое молодых ребят с фонарями, они в новых телогрейках, в кирзовых ботинках.

— Вам повезло, что сюда закинули, — кричат они, — здесь неплохо.

— Вы тоже зэки?

— Путейцы! Пути строим!

— А какая это станция?

— Урульга*.

— А где БАМлаг?

— Вылезай! До Биробиджана всё будет БАМлаг.

Расправили члены. Кто бодро вскочил, кто еле спустился со стоном. «Контра» посерьёзнела, притихла. Наскоро по-

* Урульга — железнодорожная станция между Читой и Нерчинском.

строили всех в колонну, подвели к столу, на котором стояли две лампы «летучая мышь».

Приём был деловым и быстрым.

— Воронин! — выкрикивает по формуляру человек у стола. — Имя, отчество!

— Антон Демьянович.

— Статья!?

— 58-я.

— Пункт?

— Второй.

— Срок?

— Десять лет.

— Проходи.

Приёмка шла повагонно. Вот откликнулся на вопросы тридцать девятый, и всех повели уже в зону. Ведут те трое ребят, что торчали перед вагоном. Охранники в стороне, реденько вытянулись шпалерами по обеим сторонам дороги.

— Культурно! — одобряет бывалый Базиль.

— Тут к нам будет больше почтения, чем в тюрьме, — говорит догадливый Омельченко, — везли заключённых, а принимают работяг.

Загул бредёт, согнувшись и прихрамывая, в самом хвосте колонны. Работяга ли он? Скорей всего, нет. Уж очень пошатывается и от ветра, и от тошноты, и от слабости. Но просыпается, и в его груди жадное желание двигаться, дышать, существовать. Оно просыпается, ищет выхода и как бы предчувствует его в ближайших далях.

Перед проходной всех пересчитывают вновь: тридцать девять. Ввели в зону, подвели к палаткам: бытовики — сюда, 58-я — вон туда.

— Не отставай, — заботливо бросил Загулу Каблуков. — Устраивайся рядом со мной и Ворониным.

Загул и без того торопился, чтоб не отстать. Вошли в палатку. Справа, слева, посредине тянулись двойные нары. Воронин был уже наверху. Рядом устроился Каблуков, с ним Загул, с Загулом Омельченко.

Было бы гнездо, уют появится...

11. Встреча с солнцем

Большую часть нового этапа разбросали по другим фалангам отделения. Урульгинская фаланга была под номером один. Где-то недалеко, в посёлке же, были расположены вторая фаланга и третья, женская.

Прибывшему лагерному пополнению дали шестидневный отдых — карантин. Всех сводили в баню, сменили бельё. Выдали новенькие телогрейки, ватные штаны, ушанки. С детской хвастливой радостью переоделись во всё новое, непривычно пухлое и тёплое. С грубыми шутками эки-санитары сожгли на кострах жалкие «вольные» лохмотья, добротную «вольную» одежду прожарили в вошебойке.

На поляну за палатками привезли для набивки матрацев около двадцати возов золотистой соломы. Она удивительно приятно пахла чем-то волнующе плесенным и прелым.

Днём кроме отказчиков и ночных рабочих в зоне остались только «молодые» лагерники: «старых» в шесть утра увели на работы. Новенькие до усталости бродили по широкой поляне, покрытой мшистой ветошью, утомившись, валились на солому и, забросив руки за голову, подолгу лежали так, бледные, с закрытыми глазами. Со станции доносились гудки паровозов, перестуки поездов. Где-то недалеко гулко ухали взрывы. В небе, кружась, тарахтел аэроплан. Под эти звуки приятно было дремать и думать.

Забайкальская погода не разобралась вначале в прибывших людях: была холодна, сурова. Но вот выкатилось на хребет гор солнце, вопреки всему по-прежнему родное, без предвзятостей, выкатилось и забылось там, вверху, участливо щурясь и пристально разглядывая прибывший с дальних мест этап. Под ласковым и непривычно тёплым солнцем на душистом ложе расчувствовались даже заскоруждые рецидивисты. Двое из них неожиданно затащили песню. Свою, любимую, тюремную, жалобливую. Песню подхватили все, кто отогревал тут, на соломе, свою тоскующую душу. «Не плачь, подруженька, не плачь и не грусти, ведь наша жизнь с тобой ещё поправится, ещё не раз придёт, придёт не раз весна»*. Песня подавала надежду, и потому долго кружила над пригорюнившейся зоной, будила в людях неясные видения и думы.

— Как себя чувствуешь, Дмитрий Юрьевич? — přátельски спросил подошедший к Загулу Шатов и повалился с

* Один из вариантов очень популярной в 30-е годы полублатной песни.

ним рядом на солому. — У меня, знаешь, сейчас на душе, таскае, какое-то благостное, таскае, умиротворение. Хорошо! Наконец-то хорошо! Как я устал, бог ты мой! От всего устал... Как не устанешь, когда даже свои... А люди, всётый же, — курвы, Дмитрий Юрьевич! Вот ты отказался делить пайку мертвеца. Хотя тоже зря. С какой стати такое, таскае, благородство! Но ведь я-то не отказался, не отказался, а всётый же мне шиш! Почему? Я же был сосед этого старика. Конечно, что там от этой пайки: кто не получил — не треснет, и кто съел — не воскреснет. Но я из принципа, Дмитрий Юрьевич, из принципа. Курвы люди! Кругом, куда ты ни повернись. Неправду я говорю?..

Загул досадливо поморщился и промолчал. Он испытывал редкий душевный покой, и ему не хотелось хоть на минуту терять его, говорить о чём-то никчемном, суетном. Вот и на меня спустилось умиротворение, — думал он. — Конечно, лагерная жизнь — не воля, но разве можно сравнить с одиночной камерой в подвале! Там ты был заживо похоронен и, задыхаясь от тоски и бессилия, без конца переворачивался в своём гробу. Страшные обвинения как рана кровоточили в тебе днём и ночью. А здесь уже лучше. Весь этот кошмар понемногу отодвигается назад, раны покрываются коростами, несомненно, они когда-то зарубцуются. Впереди маячит жестянка-жизнь. Развалины прежней, конечно, станут ещё долго-долго терзать тебя, когда ты будешь оставаться наедине с самим собою, но это уже только добавки к существованию. «Как хороши, как свежи были розы»...

Первые дни лагеря после подвала, после тюрьмы, после этапа, были для всех неповторимо своеобразными, говорить о них очень трудно. Их можно сравнить с днями после тягостной, кошмарной болезни. Душевно больной, почти поправившийся, поднялся наконец с постели. Он в каком-то чужом и чуждом месте, но он так долго был без памяти, что не вполне осознаёт своё собственное место в окружающем мире. Однако биологическая жадность к существованию уже проснулась в нём. Она так выпирает наружу в его эгоистических заботах о себе, что выздоравливающий часто кажется звероподобным. Много надо таить в себе душевного благородства, чтоб сохраниться в тюрьмах человеком. Как это трудно после жестоких испытаний и перевернувшей душу лжи!

Вечером возвратились с работы старые лагерники. Наскоро поужинав, они торопились в палатки к новеньким: рецидивисты в надежде встретиться с партнёрами по делам на

воле, 58-я — в поисках земляков, чтобы услышать новое о тех краях, где остались доживать родные.

— Кто с Дона, ребята? — входя в палатку, весело и громко вопрошал «старенький».

— Есть кто-нибудь из-под Вологды? — спрашивал другой. «Новенький» отзывался.

— Давно с воли? Ну, как там? — с этого начиналась задумчивая беседа. Чуть не до подъёма шептались люди, пытаясь чем-то новым, ещё неведомым, помочь себе.

Дмитрию нездоровилось. Ныла нога, неумело, без ничего, перевязанная в околоте. «Развяжи ты её к чёрту!» — посоветовал Алексей. Загул снял повязку, стало лучше. Он согнулся на свободных нарах, набросил на себя одежду, какая есть, и лежал, закрыв глаза, то ли дремал, то ли думал. К Алексею забрались побеседовать двое земляков. Постели Воронина и Омельченко были пусты: они сами разыскивали своих в палатках «стареньких».

Краем уха Загул услышал из реплик многое и разное. В лагере было бы очень плохо, но выручает блат, а ещё больше — туфта. Но туфта — выручка зыбкая, блат — ещё того больше, и потому надо работать. Работать надо со смекалкой, не то «дойдёшь». Привыкайте здесь к тому, что ничего нет прочного. Можно сказать — тут та же фронтовая жизнь. Сегодня ты на одной работе, завтра на другой. Здесь ты — тургеневский Сучок*. Никаких привязанностей. Свалился спать, ничего не предполагая, не думая, а завтра или ночью: «Собирайсь с вещами!». И почапал ты за тридевять земель под дудоргой**. Но — привыкнешь. Вот так всё это вообще, ребята. А если говорить в частности, то участок, на который вы попали, ничего себе участок. Тут, правда, повар из уркачей: кормит за счёт работяг свою блатную шатию. Но это только «на пока»: свернут ему башку на праведный бок. Зато лекпом здесь очень хороший, на воле известный был врач, про болезни книги писал. Даёт поблажки, можно иногда и отдохнуть, свой мужик. Урки его ненавидят: им от него не очень светится. Могут проиграть, — боимся за него. А вот бухгалтер у нас сухарь... У нормировщика тоже работягам

* Сучок — прозвище крепостного крестьянина Кузьмы, одного из героев рассказа И. С. Тургенева «Льгов». Сучок был и кучером, и рыбаком, и поваром, и «при буфете состоял», и в «ахтерах», и в казачках, и в садовниках, и в доезжачих, и в учениках сапожника — исполнял всё, что могло заблагорассудиться очередному самодуру-барину или барыне.

** Дудорга, дудка — на лагерном жаргоне огнестрельное оружие.

не отламывается. Но, в общем, не тушуйтесь, ребята: жизни большой, конечно, никак не будет, но жестянка всё-таки получится. Самое главное: на товарища надейся, но и сам не плошай. Спецчасть тебя сегодня в землю вдавливают, а производство завтра обратно тебя из земли вытаскивает. Так и идёт эта борьба. А ты будь мудрым: закапывают — не плачь, вытаскивают — не радуйся. Вот так и живи, без печали, без радости...

12. Кем ты хочешь быть?

На шестой день карантина в зоне оставались только новенькие, больные, отказники. Ждали сигнала на обед: в два часа должны были ударить ломиком по подвешенному рельсу. Но вот широкоплечий увалень — завхоз «Хомяк» — что-то начал организовывать. Очистил площадку, с которой направляют заключённых на работу. Притащил на спине большущий стол и многозначительно поставил перед воротами. Шакалы, ревниво отталкивая друг друга, ринулись к нему на помощь. В лагере ходила присказка: «Завхозу раз услужить — можно день не тужить, а если часто помогать — можно долго припухать». Как из-под земли выросли близ стола шесть табуреток. Вышел из проходной будки отупевший от безделья, вялый вохровец, примостился на перилах, чтоб поглазеть от скуки — авось сон свалится. Появились «придурки», так полупрезрительно и полузавистливо окрестили заключённые своих собратьев по лагерю — обслугу и конторских служащих. Не спеша, сановито, они расселись по табуретам, приготовились что-то записывать.

Зона, всегда жадная до всяких «параш» — слухов и событий, — придвинулась поближе, подтянулась от самых дальних своих окраин. Наиболее любопытные вплотную придвинулись к столу. Конечно, ближе всех оказались блатные. Оживились все пошляки, привыкшие потешать грязными выходками нетребовательную публику. На многих, даже на людей большой душевной крепости, тюрьма наложила печать цинизма, привила им смак к чудовищно-бесстыжей матерщине. Ко всему прочему, изощрённая брань была «покровительственной окраской». Среди тысяч «чертей» и «фраеров» тюремного двора блатной из кожи лез, чтобы создать о себе мнение, что он такой рискованный и такой отпетый, что дальше некуда: уж лучше уступи такому сходу, уж лучше с таким не

связываясь. Вчерашний колхозник или служащий тоже пыжился: ему тоже надо было показать, что он прожжённый арестант, и уж будь здоров, — уж постоит он за себя, когда дело дойдёт до этого... Никогда, наверное, так не насаждалась, не расцветала мерзкая, циничная брань, как в эти годы физических и нравственных испытаний.

Загул не переоделся в новое, остался в том, в чём был когда-то арестован. В пальто, в чёрной островерхой шапке, он был заметным среди одетых в бушлаты и ватные штаны.

— Слушай сюды! — приподнявшись на носках, сипло закричал завхоз, и выжидающе выпучил глаза. — Есть... среди... портные?... Подходи ближе, кто портняжить мастак.

— Я маракую! — заторопился невидимый в толпе мужичок, вызывая этой торопливостью обидный, недружелюбный смех.

— Запоздаешь! — кричали ему и не давали ходу. Наконец он вылез всё-таки откуда-то из-под ног с шапкою в руках.

— Давай сюды, — грозя острыми усами, отозвался завхоз. — А почто небритый? Что, цирюльни тебе в зоне нет? За рога тебя туды затаскивать?

Мужичок топтался, испуганно мигал. Толпа потешалась.

— Ланно! Подходи и говори своё фамилиё... Та-ак! Когда скажут, что надо на развод, на развод не выйдешь. Понял?

— Слушаюсь! — обрадованно вытянулся щупленький человек.

— Рукавицы, штаны работягам будешь починять. Понял?

— Слушаюсь! — тянулся мужичок, умильно оглядывая благодетеля.

— Ланно-ланно! Иди теперя, отдыхай!

— Теперя-тетеря! — передразнили в толпе.

— Корабельный кох, готовлю, как бох! Запишите, сеньор! — настойчиво требовал кривляющийся голос.

— Суп на пустой воде, — кричал другой.

— Тише вы! Чего орёте зря...

— Теперя отзывайтесь, кто чеботарь из вас? Ты, что ль, чеботарь? Что ж робеешь, будто и не арестант? Тут героем ходи, тут лагерь, — поучал Хомяк. — Говори своё фамилиё!..

— А разве нет в документах, кто кем работал? — спросил Воронина Дмитрий.

— Какие документы? — презрительно сплюнул под ноги Воронин. — Старое разбито, растоптано, стёрто. Ты новый с головы до пят. В формулярах только фамилия, год рождения, статья, срок и... пальцы. Отпечатки твоих пальцев. Только это

от тебя и осталось... Лагерная спецчасть и УРЧ* ни черта о нас не знают, — добавил он через некоторое время, и в голосе уже слышалось удовлетворение.

Бухгалтер краснощёк, здоров, упитан. Одет в новенький, сшитый из лагерных одеял, костюм. Этот знает себе цену, ведь в зоне все под его влиянием: и завхоз, и бригадир, и повар, и нарядчик... Спокойно и деловито оглядывает он толпу.

— Счетоводы в новом этапе имеются? — солидно роняет он. — Счетоводы! Бухгалтеры! — недовольно повышает он голос. — Кто это отозвался там? Ну, подходи поближе!.. Бухгалтер, говоришь? Хорошо! Производственник? Великолечно! И на самостоятельном балансе работал? Порядок! Морской порядок! Таких нам во как надо! Фартовый ты парнюга! Во будешь жить! — Бухгалтер сияет и, характеризуя хорошую жизнь, дружески вскидывает перед собратом большой палец. — Статья? Пятьдесят восьмая? Плоховато! Пункт? Второй пункт?! Э-э... Пункт у тебя...** — Бухгалтер даёт пункту хлёсткое непечатное определение. — Вот дёрнуло тебя против советской власти восставать! Да ещё с оружием! Что ж это ты? Вот сдуру и нагадил сам себе! — в толпе оживление.

— А что? — упавшим голосом спрашивает подошедший.

— А то, что могут такого не допустить... Жалко, жалко... Ну, что ж, увидим там. Пока в забое вкалывай. Если спецчасть пропустит — вызовем. Я постараюсь: ты же мне вот как нужен!.. Следующий!

У невзрачного старичка-доктора узенькое землистое лицо. Он весь нервно дёргается. С узкой переносицы то и дело сползают очки в искаленной оправе. Доктор поправляет их, и тогда видно, как трясутся его маленькие руки.

Всё беспомощное, всё хилое всегда вызывало у арестантов только презрение. Арестант не может быть равнодушным к хилу, как собака к бегущему. В адрес доктора несутся обидные выкрики.

* УРЧ — учётно-распределительная часть, ПТЧ — производственно-техническая часть, КВЧ — культурно-воспитательная часть, подразделения управления лагерем. РУР — рота усиленного режима, позднее — БУР — барак усиленного режима, тюрьма в тюрьме.

** Статья 58-2 УК РСФСР («Вооружённое восстание или вторжение в контрреволюционных целях на советскую территорию вооружённых банд, захват власти в центре или на местах в тех же целях влекут за собой высшую меру социальной защиты — расстрел или объявление врагом трудящихся с конфискацией имущества и с лишением гражданства») обычно применялась не по факту совершённого преступления, а по подозрению в нём.

— Мне нужны лекпомы, — шамкающим голосом едва слышно произносит старик. — Медики! Есть медики?

— Есть помощники смерти? — помогая доктору, звонко спрашивают молодые голоса. В толпе непонятный гогот, выкрики и шум.

— Не трепися! Вы! Шпана! — хрипит Хомяк и сердито надует щеки. — Не трепись, говорю! Люди вы али скот? Вас, дураков, по-сурьёзу спрашивают!

Осведомлённые уголовники презирают Хомяка. В-первых, они знают, что от него блата нет. Во-вторых, этот вислоухий бытовик туда же, с рогатой головой, туда же, под жулика подделывается, настоящего жулика из себя корчит.

— «По-сурьёзу» — на разные голоса презрительно передразнивают они завхоза. — Ох, ты! Чувырла!

— Балалайка без струн!

— Пробка от бутылки!

— Чурка с глазами!

— Ребята! — поднимаясь с табуретки, хмурится бухгалтер. Выкрики затихают, но «балаган» продолжается.

С шутовской бранью пытаются вытолкнуть кого-то из толпы ближе к доктору. Этот «кто-то» сопротивляется.

— Иди, Валет! Сойдёшь! Мировой темнила, а тушуешься!

— Здесь, браток, не натемнишь! — возражает порозовевший доктор. — Вот лапти будете плести, тогда темните, а у нас уж расшифруем как-нибудь.

— Расшифруешь ты!

— Видать птицу по крыльям, тебя по соплям!

— Работничек, давно анатомировать пора!

Валета всё-таки вытолкнули. Сдвинув на затылок шапку, широко улыбаясь, он размашисто придвигается к доктору.

— В самом деле, или трепешься? — пытается осадить его насупившийся бухгалтер.

— Фельдшер! — вызывающе и гордо бросает Валет, оглядывается назад и подмигивает кому-то.

— Акушер! — кричат друзья.

— Гинеколог!

— Разберёмся, — бормочет взвинченный доктор, пляшущими пальцами придавливая к столу листки бумаги. — Говори фамилию! Где работал?.. Уж раскусим как-нибудь, уж будьте спокойны... В какой был должности? Сколько времени?

— Кто в снабжении работал, подходи сюда.

— Слесари! Кузнецы! Электросварщики! Подходи ко мне!

Незанятый Хомяк, записавший двух портных, парикмахера, сапожника, семь поваров — как блатной, так обязатель-

но повар, — обращает внимание на человека в островерхой шапке.

— Ты! — мотает Хомяк вытянутым вперёд пальцем. — Вот ты! Шапка! На тебя показываю! Кем работал на воле?

— Попом был! — подсказывают блатные.

— В санчасть его запиши: покойников отпевать!

— Да тише вы, растак вашу... Ну и бесстыжая вы шатия!.. Так кем ты был? Вода, что ль, в роте?

— Вода в роте, чирьи на... — рифмуют в толпе.

— Журналист, — тихо и нехотя отвечает человек.

Хомяк озадачен: надул щёки, выпучил глаза.

— Ты мне о том отвечай, чего могёшь ты делать?

— Шофёром быть! — хайлит орава.

— Тачку водить!

— С паровым двигателем!

— В бригаде «не бей лежачего»!

У человека в островерхой шапке средний рост, но многим кажется, что он стал выше. Молча, в течение нескольких секунд глядит он поверх сборища безалаберных, неосознаваемо опустившихся людей. Серые глаза его с тяжёлыми припухшими подглазницами грустны, суровы.

Переживания его понятны. Лагерю нужны здоровяки-разнорабочие, разные умельцы, производственники, даже расторопные торговцы, но на кой чёрт этому лагерю поэты, художники, лирики? Что им воспевать? К какой свободе звать? Какую красоту описывать?

Глубже других настроение Дмитрия понимает Каблуков.

— Пойдём, — говорит он и берёт Загула под руку. — Я тоже не записываюсь. Какой я доктор, когда совсем не было практики! К тому же мне хочется мускульной работы. Пока. Пока я не приду в себя. Нарботаться до устали и — спать. Так легче.

«Я в твоём положении поступил бы точно так же», — подумал Загул, отрывистым движением поднял с земли мешочек, и оба стали пробираться через толпу.

— Смотрите, какой мировой сидор у этого фраера! — удивлённо вскрикивает один из шакалов и жадно ощупывает голодными глазами угловатую котомку...

В бараке — без перемен. Только там, где лежала постель Омельченко, было пусто. Записался бетонщиком, мост строить, собрал вещички и ушёл в палатку строителей.

13. Первый блат

Был вечер. Ночные рабочие ужинали, готовились к выходу. Прибежал Алексей.

— Познакомился с доктором, — оживлённо сообщил он Загулу. — Оказывается, мировой хирург, жалко, что старик, скальпель у него теперь в руках пляшет вот так вот. Сейчас же иди к нему на приём. Рыбьего жиру тебе даст. Посудинку захвати с собой, — добавил он шёпотом на ухо.

— Блат! — заулыбался Воронин и, вытянувшись, потёр руки. — С доктора начинаете, неплохо. Между прочим, тут такая шутка в ходу. Больной з/к у врача. — Что болит? — Вздохи, доктор, болят. — А ну, дыши! Фамилия? — Петров! — Глубже дыши! Статья? — 58-я! — Не дыши!

Воронин не успел досказать, захохотал. Загул чуть улыбнулся:

— Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно.

Но где взять посудину? Конечно, надо к Прохору Ивановичу. Он в этой же палатке, где-то на нижних нарах близ самой двери.

— Прохор Иванович! Нет ли посудинки какой? Мне под лекарство.

— Господи! — засуетился омич. — С удовольствием! Пожалуйста! Вот... Вот кружечка! Из консервной банки. Бери-бери. Чистенькая!

— Спасибо! Я сегодня же возвращу.

— Зачем? Насовсем возьми. Что это мне? Я другую найду, обделаю. Банки валяются. Господи! Это же одно удовольствие: предметы делать!

Загул невольно оглядел кружку. У консервной банки гладенько обточены края, чтоб не царапала губы. Поперёк два пояса из алюминиевой проволоки, оба, загнувшись, образуют ручку.

— Спасибо, — благодарит за подарок Загул, и чувствует, как на дно его души оседает мудрость: вот так, видимо, надо приспособляться к «жестянке». Быть таким же утилитарным, как Прохор Иванович.

Приёмная врача — маленькая деревянная комнатуха. К бревенчатой стене приткнулся крохотный столик, на нём инструменты, лекарства, корпия... Около столика послушливый парнишка — ассистент. Душно и шумно. Большая очередь.

— Что у тебя? — обращается к кому-то врач.

— А я знаю? Перво-наперво понос, — напористо отвечает тот молодым, басовитым голосом. — Вот этот старик ви-

дел — хлещет из меня, как из лагушки*. — Больной произносит это жалобно, и голос его вздрагивает.

— Хлещет, говоришь? — иронизирует врач. — Покажи язык... Вот что, милый, не коси ты у меня, пожалуйста. Пустой номер... Следующий!

— Издеваешься над людьми! — беснуется отвергнутый и сотрясает столик. — До каких пор это чувырло будет глумиться над нами? Если ты, чурка, сам ничего не понимаешь, так ведь вот старик-то видел, что понос. Старик видел, а тебе, сука, мало этого?

— «Понос», — бормочет доктор, оглядывая следующего.

— Видел он, как ты рукой отламывал, ногой отталкивал? Перевязку этому! Запиши: на работу не выходит... Следующий!

— Дождёшься, ведьма, что от ножа, паскуда, сдохнешь! — задыхаясь от ненависти, пророчит бас.

— Я от ножа, ты от пули, какая разница, — сонливо откликается доктор. — Что у тебя? — скучая, спрашивает он Загула.

Загул молча показывает ногу.

— Фамилия?

— Загул.

Усталые скучные глаза врача оживают. Он с проснувшимся любопытством вглядывается в Дмитрия Юрьевича и вдруг кричит на него.

— Что ж ты прячешься с такой ногой? Флегмону нагулять пытаешься? Перевяжи ему. Внутрь влей. Принёс под лекарство что-нибудь? Давай сюда!

Доктор сам сердито наливает Загулу из большой чёрной бутылки две-три рюмки жиру и, не глядя, суёт ему в руки кружку.

— Прийти завтра утром. Слышал, что говорю?.. Следующий!

Дмитрий Юрьевич шёл и улыбался. Что это? Наивный спектакль или серьёзная, деловая жизнь? Так или этак, а Загулу всё равно приходится участвовать, только у него так натурально никак не получится.

Дмитрий Юрьевич пересказал Алексею всё, что произошло у врача.

— Ты извини, но я сказал ему, что ты писатель. Очень милый старикан, — улыбаясь, охарактеризовал доктора Алексей. — Какая волевая душа, удивляться надо. А с тобой вот

* Лагушка, лагун — бочка.

хитрит, побаивается: слабенький, на общие работы снимут — хана человеку, его бандюги в первый же день на тот свет отправят.

— Вот я блат завёл, Дмитрий. До ушей улыбаться будешь, — похвастался Воронин. — Скоро придёт сюда Семён Иванович. Это, брат, «тот» кореш! Каких-нибудь десять дней, и ты будешь письма из дому читать. Хочешь этого? Иди скорее ужинать со своим елеем и возвращайся. Вздох! Выдох! Быстро!

Загул выхватил из сумки остаток хлеба и побежал в столовую. Когда он возвратился, на нарах действительно сидел уже новый человек. Он приподнялся, почтительно и солидно поздоровался с Дмитрием за руку и снова сел. На нём были бушлат и шапка. Лицо монгольского типа, невозмутимо спокойное и добродушное. Он ещё молод: ему лет тридцать, но когда он сдвигает к затылку шапку, на лбу его появляется целая гармошка из маленьких морщин.

— Пиши, Дмитрий, письма, — снова повторил Воронин. — Семён Иванович обещает завтра же сделать с ними всё, что надо.

Гость приветливо, но скупно улыбнулся.

— Да-да, пожалуйста. Мне не трудно, — отзывчиво подтвердил он. — Тут у нас пока ещё свободно: бросают прямо в почтовый вагон. Да кто уследит, и кому надо? Ведь некоторые з/к в вольном ходят. А у меня вот и напарник вольный, здешний житель. Попросить, так не откажет, посылку даже получит, если понадобится. Будет в сохранности, дело надёжное. Кондратьем Савельевичем зовут напарника. Вольный, а глубоко всё нутром понимает.

— Выходит, можно и телеграмму послать?

— Почему же нет? И телеграмму! Пожалуйста! Готовьте к завтраму. К утру. Телеграмму можно карандашом, уж Кондратий сам перепишет чернилами. Вольный человек, что это ему. — Семён Иванович достал из бушлата грязненькую, где-то подобранную бумажку, куцый карандаш, полизал графит языком и написал вольный адрес напарника Кондрата Савельевича Распопина.

— Вот. Пишите, не сомневайтесь, дело надёжное.

По наружности Семён Иванович был суров и холоден, но оказался общительным и словоохотливым, искренне готовым услужить. Родился и вырос в Сибири. Кто-то из его прадедов был бурят, отец — ясашный. Семён Иванович был опытным и тёртым лагерником. На воле крестьянствовал, в лагере стал слесарем. Работает теперь в депо, ходит за зону

по специальному пропуску. Срок у него — десятка, но он накопил уже два года льгот: если дальше так пойдёт, то через три года его уже выпустят.

— Какая у тебя статья, Семён Иванович?

— Кулацкая, — ответил Семён Иванович и помрачнел. — Вы люди грамотные, по-моему, неправильное в моей судьбе есть. Ведь помещиков-то в Сибири не было. Эксплуатации не было. А леса, луга у нас необходимые. Земли тоже на коне не объедешь. Куда ж девались избытки, если не было эксплуатации? Конечно, на себя шли, известно, хорошо в Сибири жили, избыточно. Оборудованное хозяйство, скот. А получилось, что, значит, кулаки. За шкуру, значит, и в лагерь.

Каблуков, Загул промолчали: крестьянское дело — тёмное дело. Только Воронин, болея за земляка, спросил:

— Батраков держали?

— Зачем нам. Семья была огромная: семь братьев и все женатые.

— Тогда, знаешь что, Семён Иванович. Есть басня такая: «Ягнёнок сдуру оделся в волчью шкуру»...

Все засмеялись.

Семён Иванович рассказал про БАМ.

БАМ, это — если развернуть — Байкало-Амурская магистраль. Её ещё нету, только строить будут. Протянется она — так говорят — от Бодайбо до Николаевска-на-Амуре. Пойдёт тайгой — реки, болота, неудобие. Поручили строить Френкелю*. Он опытный, помощником начальника Беломор-строя работал. Тоже бывший лагерник, освобождён за работу. Френкель поглядел тут на леса и болота, и к Сталину с докладом. Удалось ему, уговорил Сталина сначала всю Сибирскую и Дальневосточную дорогу как следует наладить. И в самом деле, какой резон прокладывать какой-то БАМ, когда эта вот, эта Дальневосточная дорога — однопутка. Как по ней материалы подвозить? А вдруг Япония войну начнёт? Чего тогда ждать от однопутки? Сразу пробки: ни тпру, ни ну. Сталин послушал-послушал — он же не дурак — и согласился: так и быть, стройте сначала вторую колею. Загул слушал и чувствовал, как поднималось его настроение.

* Френкель Нафталий Аронович (1883—1960), один из создателей ГУЛАГа, генерал-лейтенант. Образование получил в Германии. Работал на Украине и в Турции. В 1923—27 гг. отбывал заключение в Соловках. С 1934 начальник БАМлага, в 1940—47 гг. — нач. Главного управления железнодорожного строительства НКВД и зам. нач. ГУЛАГа.

— Это тоже не маленькая задача, вторые пути проложить, — вставил он.

— А как же, — обрадованно подхватил Семён Иванович. — Агромадная задача! Возьми ты наше отделение. На сто сорок километров растянулось. И что делаем? Горы отодвигаем? Насыпь лопатами да тачками сооружаем? Пути прокладываем? Взять нашу станцию. Шестнадцать тупиков добавили, мост на шести быках через Урульгу перекидываем, больницу на сто коек строим, школу трёхэтажную на четыреста человек сооружаем, депо новое поставили? Паровозы починяем, в лесу шпалы заготавливаем... Агромадное дело делаем, ребята! А если взять весь БАМлаг? Растянулся от Читы до Биробиджана! На тысячу шестьсот километров! По десять человек на километр поставить, так и то шестнадцать тысяч. А если по сотне? А дальше до Владивостока тоже строительство. Там Севлаг занял больше тысячи километров. А ещё дальше Севвостоклаг. Армия нас! Армия! Большое дело развёртывается. Агромадное дело. Ну и люди для командования большие понаехали. Вернее сказать, больших людей тоже немало привезли. Вот в ПТЧ у нас работает Никитин. Ещё при царе первые пути тут строил. От самого министра задания получал. А Туполев? Брат аэропланы сочиняет*, а этот — з/к. День и ночь над чертежами гнулся, никакой тебе ни славы, ни почести. Посмотришь на таких — и как-то смиряешься. Думаешь, вот какие люди страдают, а мне уж и бог велел.

Семён Иванович закончил рассказ, когда время перевалило полночь. Каблуков и Загул на минуту вышли за ним проводить и подышать свежим воздухом. Светила луна. Она была круглая, как бы жестяная. Прожекторы с вышек подавляли её равнодушный свет. Какие-то синие тени перебегали поперёк её тусклых лучиков. Низиною от невидимого ельника ветерок гнал сырые запахи смолы и гниющей хвои. Было зябко, то ли от волнения, вызванного рассказом, то ли от сырости. И близко, и вдали стучали поезда. Завтра почтовый вагон повезёт в родной далёкий дом неуверенные письма, через неодолимое пространство в безвозвратно отнятую жизнь потянется тоненькая связующая ниточка...

* Авиаконструктор академик Андрей Николаевич Туполев (1888—1972), создатель знаменитых ТУ, тоже не избежал репрессий. В 1939 году его арестовали и освободили лишь во время Великой Отечественной войны.

14. Первые тачки

Загул плохо спал в эту ночь, ворочался, обдумывая, кому он отправит первые письма и о чём напишет в них. В первую очередь он пошлёт телеграмму другу в Харьков, попросит выслать ему сборники стихов Бальмонта и Гейне, переведённых Загулом на украинский язык. Все творческие и переводческие работы Загула теперь, конечно, изъяты, но у друга наверняка ещё сохранилось кое-что, пусть он вышлет всё это посылкой в Урульгу Распопину. Если посылка дойдёт, будет прекрасно... А чем прекрасно? Зачем теперь эти книги Загулу? Он сам ещё не знает, но чувствует, что это теперь главнейшая его забота. Всё это может сгинуть, а ведь в них, в этих книжках, он сам, в них его честь, его право на уважение. Пусть этот непризнанный документ будет всегда где-то рядом, под рукой. «Сохрани мой талисман, в нём таинственная сила», — вспомнил он пушкинскую строку и иронически улыбнулся своим мыслям.

Утром он торопливо, как все, вскочил по сигналу «подъём», но чувствовал себя измятым, измученным. Никому не будет он писать! «Сочиняешь письма, чему-то радуешься, — сказал он себе. — А не подумаешь, с каким чувством будут получать твои письма близкие и друзья. Даже в том случае, если они верят в тебя. Как ты мог забыть об этом? Где-то в этих сибирских местах, в глухой тайге существовали раньше дома для прокажённых. Так они ходили по лесу с колотушками, чтобы издали предупреждать о себе здоровых. Почему ты не вспомнил о них вчера вечером?»

— Я раздумал, — сказал Загул Семёну Ивановичу, встретившись с ним в дверях столовой.

— Ну, правильно! — одобрил сибиряк. — Я и то подумал, где посылку хранить будешь? Оглядишься — выпишешь. Успеется. Я вообще хотел посоветовать: хлеб, остатки и вообще всё путное с собой бери. Дневальный — урка, всё обшарит за день, пока никого в палатке нет.

Новеньких выстроили перед воротами позднее всех. Каблуков, Загул, Воронин огляделись: совсем немного осталось от их этапа на этой отделенческой фаланге: человек пятьдесят, не больше. Не видно Базиля, не видно Омельченко, ушёл куда-то Шатов...

— Отставить разговорчики! — крикнул развязный, нагловатый парень, рисуясь перед шеренгой и похлопывая по ладони тетрадкой.

— Нарядчик! — шепнул Каблуков. — Говорят, дрянцо человечиска.

— Слушай, лебеди! — продолжал нарядчик. — Сегодня кончилась вам лафа, отдохнули, отъелись, рожи нагуляли. Хлеба сколько получали? По шестьсот грамм. А как работали? Никак. Припухали. Так вот, лебеди, так было, но так больше не будет. Это был вам аванс. Кончилось. С сегодняшнего дня что ты заслужишь, то и получишь. Будешь втыкать на все сто, получай и дальше по шестьсот грамм, вкалываешь на сто двадцать — восемьсот получишь, если ещё больше, то самая большая тебе горбушка. Не дашь сто, получай паечку в четырёста, совсем откажешься работать — двести грамм, да ещё и кандей* в придачу... Поняли? Вот, сказано вам, теперь выбирайте, кому что нравится. А ну, вытянись, как полагается. Слушай распределение по бригадам.

Нарядчик начал выкрикивать фамилии зачисленных в бригаду Авдюшкина. Сделали три шага вперёд и снова построились: Каблуков, Воронин, Колька Сбитнев, Прохор Иванович Калинин, Корявый (фамилия его Лапин, зовут Фёдором), Загул... Вышло двадцать пять человек.

— Авдюшкин Павел, он же Сидоров, он же Бронников!

Отделился Кобра.

— Принимай бригаду!

Воронин и Каблуков хмыкнули, а Загул опешил от неожиданности.

— Не тушуйся, — шепнул Каблуков.

За воротами бригаду ожидал начальник внутренней охраны Трусилов, молодой, маленький, самодовольный фертик. Он был явно доволен и властью над заключёнными, может быть, очень большими когда-то людьми, и своим умением длинно и «культурно» выражать по его представлениям значительные мысли, которые за долгую подконвойную жизнь лагерники выучили наизусть и давно дали ему насмешливую кличку «кордебалет». Сейчас глаза их грустно и насмешливо оглядывали надутую фигурку начальничка.

— В походе в строю не разговаривать. Из строя не выходить. Шаг влево, вправо — это уже побег. Таких стрелять. Без предупреждения, как положено. По закону. В забоях зона обозначена колышками. Кто за зону, за колышек — по тому пуля плачет.

Это было уже что-то новое. Новички вытянули шеи.

— И ещё предупреждаю. Есть охотники в походе зубы мыть, стрелков дёргать. Предупреждаю и от этого! Не сове-

* Кандей — на лагерном жаргоне тех лет — карцер.

тую. Проявится в вашей бригаде, я вам всем устрою кордебалет!

Щегольнув культурным словом, маленький начальник величественно потоптался и дал стрелкам знак вести. Одна бригада пошла влево, другая вправо. Бригаду Авдюшкина конвоировали только два вохровца: один шёл спереди, другой сзади. Собак с ними не было, винтовки были без штыков. Грозные предупреждения Кордебалета несколько рассеялись. Зато Загула угнетала мысль, что ужасный Кобра — эта кобра, пакостное исчадие ада — бригадир, он снова вождь, он начальник, этого ещё не доставало!

— Смотрите, какая чудесная природа! — залюбовался Каблуков. — Я люблю дикое: взгляните на утёсы, вверх взгляните! Нетронутая дичь! Бывает кто-нибудь на этих скалах? Кому тут лазать по ним? Как нависли над путями! Три тысячи пудов громада!

У Загула тоже что-то встрепенулось в груди, и вдруг — как всегда это у него бывало, — придвинулось к сердцу что-то мечтательное и грустное. И странно было видеть, что Воронин равнодушен.

— Если б воля, — бросил он. А так... — он пренебрежительно махнул рукой.

На самом деле, было на что посмотреть кругом! Сзади двигались, свистели, фыркали обжигающие паром, помятые, задымленные паровозы, громохочья сцепкой, перекатывался по рельсам товарняк, впереди, на путях, куда только доставали глаза, сустились путеармейцы, а вдоль убегающих рельсов, тесня их, тянулась к обрыву цепь высоких, острых скал. Отвыкшие от широких горизонтов глаза жадно вглядывались в эту картину кипучей жизни.

Через каких-нибудь двадцать минут бригада была уже на месте работ. Сразу же подошёл мастер, объяснил задачу. Рядом с первыми путями прокладывались вторые. Будете возить тачками песок и гальку в насыпь, наше дело — навозить полотно. Катать по деревянным доскам — покатам. Место, где будете кайлить и брать грунт — ваш забой. Под вечер подойдёт к каждому замерщик, запишет выработку. По выработке — пайка. Вот и вся песня. Разбивайтесь парами, тройками, как удобнее, — предложил мастер, — и вкалывайте во славу божию.

Все кинулись к тачкам, к инструментам. Загулу фартануло захватить самую маленькую тачку. Он попробовал, как ходит у неё колесо — ничего, когда тачка пустая, постоял в ожидании, не пригласит ли его кто-нибудь в напарники, был мо-

мент, когда подумал, не пригласить ли самому кого-нибудь. Но все уже распределились, предусмотрительно сговорившись заранее, и уже заняли ближайшие к полотну забои. Загул вздохнул, положил в тачку кайло, лопату, неразлучную котомку и покатил тачку в незанятый забой. Там хозяйски оглядел путь к насыпи, забой и весь участок.

На покаты бригадир поставил Корявого — будет передвигать их ближе к забою, настилать новые, держать в порядке, чтоб хорошо шло колесо. Сейчас покаты ещё новые, не сбиты с места, и ему делать почти нечего. Вон он, ходит по участку и для вида постукивает кое-где топором. Загул не завидует — топор тоже требует умения и сноровки.

Вохровцы забрались повыше, уселись поудобнее порознь друг от друга и закурили. Ленивая это была работёнка и незавидная. Из вольных идут в ВОХР только тупые и неудачливые. Загул уже убедился в этом за несколько дней отдыха.

Для начала Загул нагрузил тачку только наполовину: опасался, что скайлит больше, чем сможет довести. В это время самый дальний забой тоже наполнился работягами. Оказалось, что сгруппировали всех доходяг в отдельное звено и загнули их сюда, в самый дальний, самый паршивый забой.

Печальное это зрелище — живой доходяга на работе! Кайло, которое он держит в руках, бессильно тюкается в мерзлоту, тачка, которую он катит, вихляется на покатах, срывается с них, заваливается набок, а иногда стремительно тащит испуганного «водителя» под уклон и вдруг ошалело кувыркается, пытаясь насмерть прибить хозяина дико взметнувшимися оглоблями.

Загул отвёз уже шесть неполных тачек, когда пристальные взгляды Кобры заставили его насторожиться.

Подозрения Загула оправдались. Кобра подошёл медленно, вразвалку. Оглядел тронутый забой.

— Табак у тебя есть?

— Не курю.

— Сахар?

— Нету.

— А что же у тебя в мешке?

— Какое тебе дело до моего мешка? — ошетинился Загул.

Кобра всё-таки подошёл к мешку, ощупав, наткнулся на книги.

— Ты вот что, — сутулясь и свирепея, сказал он. — Давай-ка, чапай отсюда! Чапай туда, где прочие гуси-лебеди... Ну, что лупаешь очьми? Давай-давай! Уматывайся.

— У меня же тут выработка: я шесть тачек вывез!

— Ты будешь, контра, подчиняться бригадиру? — надвигаясь, зарычал бандит, но в трёх шагах остановился: надо полагать, вспомнил о шахматистах.

Загул побледнел и стиснул зубы: даже на дне, даже в лагере тяжело чувствовать, что тебя отодвигают. Пропало шесть тачек тяжёлого труда. Ничего не попишешь. Загул наскоро собрал имущество в тачку и переехал в звено доходяг.

Каблуков и Воронин даже не заметили, где и как определился в забое их приятель. Здоровых и сильных ребят сразу же увлекла неподатливая земляная работа. Они отмежевали от других свой забой, выбрали две самые большие тачки. Давно сброшены были телогрейки и даже нижние рубахи. Через час они работали буквально играючи. Пока один отвозил тачку, другой наполнял свою. На покатах они встречались, один с порожней тачкой, другой с нагруженной.

— Конём D6 — B7, — сообщал Каблуков очередной шахматный ход и проходил, не останавливаясь.

— Ферзь C8 — D8, — отвечал ему Воронин при следующей встрече.

Игра в шахматы вслепую вызывала к ребятам уважение всей бригады. Высокого полёта молодцы! Кобра обходил их, но и не отрывался, чувствовалось, что он ищет случая оказать им блат. К его досаде, ребята не нуждались в этом: большая горбушка была им обеспечена, а чем ещё могли зависеть от него? К концу работы, выполнив норму на 130—150 процентов, они могли позволить себе сесть в забое и припухнуть на солнышке, ничего не делая. Никто и ничего не мог им сказать. Таких в лагере принято оберегать от неприятностей. Хорошо работают, — не подсыпай песку. Иначе попадёт им вожжа под хвост — заstopорят. Попробуй подними их снова на ударные темпы! Чем их проймёшь: унижить их уже некуда, терять им нечего.

15. Доходяги

Доходяг было пятеро. Все угрюмо и бестолково топтались около двух тачек. Новые телогрейки и штаны их были обляпаны грязью — верный признак слабосилия. Все пятеро были столь безучастны к окружающему, что даже не взглянули на Дмитрия.

Среди них нашлись знакомые Загулу. Здесь был голубоглазый, лысый, с головой моржа, Прохор Иванович. На просторе

и в телогрейке он показался Дмитрию большим, массивным. Таким он и был в действительности; у него только слабые и хилые были ноги. Они как «пустые и дутые кости» — позднее сказал про них Загулу сам Прохор Иванович. Вторым знакомым был Соломон Исаевич Айзман, в прошлом музыкант, медлительный и тихий, с большими меланхолическими глазами страдающего Христа. Третий — татарин из-под Казани — этот тоже знаком Дмитрию. У него звучная фамилия Бахматов. В красноярской тюрьме на нарах он помещался рядом с Дмитрием, и Дмитрий вспомнил, что у этого Бахматова от натуги выпадает прямая кишка. Четвёртый и пятый были незнакомы Загулу. Один из них японец, статья его — ПЭШЭ, что означает пункт шестой всё той же 58-й статьи, шпионаж. Загул уже слышал, что есть такой у них в палатке. Низенький, коренастый, неизменно грустный, с вопрошающими глазами, он не произносил ни одного слова по-русски, и никто не мог сказать, делал ли он это из упрямства или, затаившись, в интересах конспирации. Второй из незнакомых был до лагеря, как позднее узнал Загул, директором кулинарного (пищеварительного, как он в шутку говорил) техникума. Директор был говорливым, щуплым, интеллигентным человеком нежной конституции и с большим лягушачьим ртом. Когда он был на воле и улыбался, он, видимо, закрывал рот рукою, теперь по привычке закрывал его рукавицею.

— Здорово, друзья! — приветствовал их Загул.

Все разом остановили работу и уставились на прибывшее пополнение. Немного оживились, особенно Прохор Иванович.

— Здрасьте, здрасте! — откликнулись все, кроме японца. — К нам?

— К вам.

Летучая беседа началась с жалоб. Что это за работа? Самый плохой забой! Всё смёрзлось — кайло отскакивает. Водить к чёрту на кулички!.. А тачки?! — какой дьявол сробил их, само-го бы, курву, в эти тачки запрягать!..

Загул усмехнулся. Зачем плачутся ему эти люди? Он же не начальник, не мастер. И всё же к чему-то энергичному обязывали эти жалобы. Загул рывком деловито поставил тачку и начал долбить песок.

— Дмитрий Юрьевич! — торопливо предложил Прохор Иванович. — Давай со мной на пару будешь?

— Ну что ж, давай, — согласился Загул.

— Особиться, брат, надо! — зашептал Прохор. — Тут если вместе с такими вот, то зазнамо за неделю сдохнешь. Вот

тот — директор — он на воле стряпать учил. Посмотрю я на него, и мне непонятно становится: зачем такого привезли сюда? Ему ложку или перо в руках держать. Так опять же говорят — статья это не позволяет. Тогда опять спрашиваю, зачем же такую статью человеку давать, что ему деваться некуда? Ведь это трудлагерь, на труд везут, а к труду никакого подхода ему нету...

Наивные суждения! Своеобразно Прохор преломляет в своём сознании все эти события. И всё же Загул почувствовал какую-то неясную правду в его словах. Он и сам уже стал задумываться над какой-то неслаженностью в этой громадной передвижке людей с их старой жизни на лагерную, новую. Как будто бы не одна, мудрая, а две мощные противоречивые и слепые силы ворочали маленькими судьбами обездоленных людей.

Прохор Иванович встал на колени и энергично заработал кайлом. Дело спорилось: Загул не успевал подбирать песок лопатой.

— Неплохо получается, — обрадовался он.

— Дмитрий Юрьевич! Меня только ноги подводят! А плечи, грудь, руки... Бывало, грузим лес на сани. Я сзаду... Мне бы только плечо под бревно подсунуть, и оно там! — Он тоже был доволен.

— Слушай, Сулейман! — обратился татарин к Соломону Исаевичу. — Давай тоже так, вдвоём.

Музыкант посмотрел на Прохора, на Загула, на свои руки, и грустно покачал головой. Отказался.

Загул набросал полтачки и покатил по доскам. Надо попробовать, как пойдёт: уж очень далеко везти. Доски лежали на комковатой поверхности неплотно, подпрыгивали, сдвигались. На стыках были или пороги, или провалы. А Корявый и не думал обслуживать доходяг. Тачка давила оглоблями то на одну руку, то на другую, надо было тратить много сил, чтобы вовремя выправить её ход. Загул скоро сообразил, что когда тачка непрерывно и быстро катится, она поглощает меньше усилий, но зато требует от водителя быстроты и слаженности движений. Проявлять быстроту и живость он был уже неспособен: и годы немолодые, за сорок, и ещё болела нога, не до того ему, чтобы бегать. Но он скоро приспособился к тачке: возил неполную, но уверенно, и потому почти без аварий. Грузёная тачка на ходу имеет три точки опоры: колесом на покаты и ручками на ладони рук. Велосипед не падает потому, что движется, искусство водить тачку в том и заключается, чтобы непрерывно двигать её, вовремя балансируя на «балалайках»-покатах.

...Загул возвращается с пустой тачкой и впервые оглядывает работу всей бригады. Уже наступил яркий день. Далеко отдыхали, присев на тачки у своего забоя, Каблуков и Воронин. Кобра и Корявый оживлённо беседуют, рядом с ними Колька, он чего-то добивается у бригадира, тот отмахивается. В воздухе разнообразный бодрый шум. Вдалеке виден длинный железнодорожный мост. По нему бежит товарный поезд. Реку не видно, но, надо полагать, она широка и многоводна. В другой стороне виднеется недостроенное здание. Каменное. Вокруг него леса, на них чернеют люди, конечно, это тоже лагерники. И опять осознание того, что таких, как он, Загул, много, смиряет его тревогу.

Татарин повёл тачку и тотчас завалил её на стыках. Много насыпал, пожадничал. Неопытный: разровнял грунт по всей тачке, а надо, чтобы больше давило на ось. В этом дальнем забое совсем не связаны покаты.

— Бригадир! — кричит татарин и ругается: он вспыльчив и горяч.

Кобра медленно, вразвалочку, как всегда, шагает к нему. С ним Корявый и Колька — целая комиссия.

— Чего ты тут, шурум-бурум? Завалил и столба дал? Ну и что? Чего же ты ждёшь, цаца? Поднимай и кати. Выше голловку!

Кобра поднимает тачку, ставит колесом на покаты. Песку в ней половина. Татарин, продолжая ругаться, зло плюёт на руки и катит тачку дальше.

— Поправь скат мало-мало! — подмигивает Кобра Корявому и подходит к забою.

— Ну, лебеди, звено «Напрасный труд», — насмешливо говорит он, — плохо работаете, детки. Шевелитесь! А то запишу вам по двести. На цирлах бегать научу. На воздушях будете у меня носиться. Как пух.

Он порывисто вырывает кайло у Соломона Исаевича и несколько раз с силой ударяет им о стенку карьера. Брызнули искры, и после нескольких ударов от забоя отслоилась увесистая мёрзлая глыба. Кобра подтолкнул под неё ногою тачку, по неудачно, глыба рухнула мимо.

— Вот как надо втыкать, орлы! — задыхаясь, говорит Кобра и, победоносный, медлительный, не оглядываясь, уходит обратно на передний край.

Соломон Исаевич долго и с ненавистью смотрит ему в спину.

— Вот он подошёл, — обращается он с полемической речью к директору и к безучастному японцу. — Подошёл, мах-

нул: «Вот так надо работать!». А вот ты целый день помахай так. Показывают! Всё показывают! Показывать и я бы смог... Курвы вы все!.. Сволочи! Язви вас в душу, в мать! — ругаться он ещё не умеет, учится.

— Так их! — смеётся директор, прикрываясь рукавицей. — Крой их с верхней полки, чего смотреть!

Дмитрий Юрьевич отвёз двадцать девять тачек. Он не знал, хорошо это или плохо, но чувствовал, что вымотался. Стоило ему присесть на тачку, чтобы отдохнуть, как начинали ныть руки, ломило спину, усиливалась боль в ноге. Рана никак не хотела заживать, хотя и покрылась коростой. И всё же Загулу было хорошо.

Высоко в небе беззвучно прополз аэроплан. Загул загляделся на него, и, может быть, в первый раз со дня ареста бездумная радостная улыбка оживила его суровые глаза, тронула бледные губы.

— Устал? — спросил напарника Прохор. — Я тоже упахался, парнюга. Знаешь, о чём думаю? Может, неладно делаем? Отдашь много, а получишь мало. Тебе могли бы Лёшка с Ворониным помочь, но — как бывает? — из-за своего страдания чужого не видать.

Дмитрий повёз последнюю тачку, когда увидел, что к ним идёт Колька.

— Прохор Иванов! — задержался с тачкою Загул. — Посмотри за сумкой!

— Сам знаю, — откликнулся тот.

Колька подошёл и сходу бросился на землю против Калинин, подкинув под себя рукавицы. Директор с любопытством оглядел парня. Чистенькое черноглазое лицо, белёсые волосы. Сколько лет ему? Пожалуй, все семнадцать.

— Почему не работаешь? — спросил директор. Колька ответил, как всегда отвечают фрайерам блатяки на такой вопрос.

— У вас, у чертей, на рогах написано, чтобы работать. У меня на лбу не написано.

Загул, возвращаясь с пустой тачкой, задал Кольке тот же вопрос. Ему Колька ответил более серьёзно.

— Я в законе, — заносчиво сказал он. — Я подросток, и мне не положено.

— Сколько ж тебе лет?

— А как ты думаешь? Четырнадцать!

— По документам?

— По каким «документам»? По документам я «Чума» и всё. Годов там нету. Это мне подлюга доктор гадит.

— Какой доктор?

— Здешний. Из КВЧ к нему отправили. А доктор такой тут: шам-шам. Беззубая подлюга! Я вот вставлю ему зубы.

— Ну и что он?

— А ничего. «Ну-ка, спусти, говорит, штаны. Запишите: волосяной покров, шестнадцать лет». Узнал! Написано там для него! Ох, сволочи вы все! Все вы сволочи! И мастер сука, вот этим камнем размозжу ему голову...

Оказалось, что Кобра поставил Кольку плотником, починять тачки во время работы. А мастер разрушил этот блат.

Под конец работы заглянул к доходагам и сам мастер, высокий, стройный парень лет тридцати. Быстро мелькнул лентой рулетки туда-сюда, вверх-вниз. Вписал в наряд общий на всех шестерых замер, передал Кобре.

После замера никто уже нигде не работал: какой смысл? Затих весь участок.

Работяги слышали, как Кобра упрасивал о чём-то уходящего от них мастера.

— Поимей ты, наконец, совесть! Понял? — бесцеремонно настаивал он. — Я не чурка, тоже знаю, что можно, чего нельзя. Учти, что я не из фрайеров. И очень советую, понял? Смотри в корень, тебе тоже с нами жить. Понял?

— Так ведь отломилось тебе, жадюга ты! Сколько можно ещё отламывать? — негодовал мастер. — По-твоему, только ты хочешь жить, а мнедохнуть? Нет, уж лучше ты сдохни, а я ещё подожду как-нибудь.

— Подождёшь и дождёшься, падла, понял? — пригрозил Кобра.

Мастер остановился, отшагнул, распрямился. Брезгливо оглядел Кобру.

— Чем ты мне грозишь? Что ты мне, гнида, сделаешь? Соли мне на штаны насыплешь? Ох, кисло мне будет!

Мастер быстро двинулся дальше, а Кобра уныло поплёлся к вохровцам.

Колька весь ушёл в слух, наблюдая эту сцену.

— Строит из себя, — разочарованно отозвался он о бригадире. — Под большого уркагана работает. «Я Кобра! Я Кобра!» А кто знает, что ты Кобра? Мастер знает? И не слышал о таком. Потому и не боится.

— Становись! — закричали у полотна вохровцы.

16. Кругом свои люди

В зоне была парикмахерская. Вечером работяги изредка заглядывали в неё после ужина и, если видели большую очередь, устало тащились спать: конечно, побриться тоже неплохо, но выспаться куда лучше. Зато блатные там засиживались: работёнка у большинства была типа «не бей лежачего», каждый мог поспать и днём, а в цирюльне можно услышать интересную парашу и потрепаться самому.

Загул мимоходом тоже заглянул в парикмахерскую, и застыл от удивления: там шла репетиция. Кто-то звонко, отчётливо, с пафосом декламировал стихи. Народу в комнатухе набилось много, но было тихо, видимо, слушали с интересом. Загул сделал ещё два шага. И удивился ещё больше: стихи читал Базиль! Не тот, этапный Юрка Базиль, а другой — облагороженный, преобразившийся. На нём был светлый, почти новый костюм, притом не только пиджак и брюки, но и жилет — гордость и мечта каждого жулика, играющего в карты. Чистенький воротничок сорочки был стянут ярким галстуком. Картинка! — как определяют сами жулики.

— О-о, старик! — обрадованно крикнул Загулу Юрий, польщённый его изумлением. — Проходи вперёд, проходи! Дайте ему место! Вы!

Кто-то услужливо вскочил со скамьи, предложил Загулу сесть. Загул прошёл, сел и огляделся: парикмахерская ли? Да, парикмахерская, вон столик с мыльницей, пульверизатором и бритвой. Белый халат, переброшенный на спинку стула...

— Большаков любил нашу бригаду, — продолжал Базиль. — Это я про Беломорстрой им рассказываю, — пояснил он Загулу, — ни в чём нам не отказывал. Одевались мы — во! По несколько костюмчиков и к каждому особый галстук. Короче, прилично жилось! Сами понимаете, — работёночка на сцене не пыльная! Выступали больше на манер синемлузников. Вот так, например:

Вырубим!
Вычистим!
Выроем!
Пустим!
В землю лопату!
По соснам топор!

А интереснее всего были частушки. Сами их сочиняли. Бывали очень острые частушечки, куда острее моей бритвы. А как начальнички фаланг нас обожали — ведь осраим, с

назьмом смешаем, если частушечку состряпаем. Помню, прелюдия к частушкам вот такая была.

Базиль шагнул от стены на середину, сделал несколько ритмичных движений руками, ногами, всем телом, и с лукавым выражением на смеющемся лице спел:

Мы споём частушки вам,
Слушайте внимательно,
Кто-нибудь в частушках сам
Будет обязательно.

— Ну, известное дело, сидят начальнички и трусятя: пронеси ты мимо тучу грозовую! Разве они не понимают, что это не мы смеёмся, а Большаков смеётся! С его это ведома... Хорошо жилось! Я и теперь, как только агитбригада объявится, сразу в неё нырну... Ну, хватит трепаться, чья очередь?

Базиль надел халат и превратился в парикмахера.

— Про Большакова рассказываю, я у него на Беломорстрое работал, — обратившись к Загулу, пояснил Базиль. — Мы, тридцатипятники, батей его звали. Может, и он меня припомнит. Вот брить позовёт, прошупаю это дело. «Мы же свои люди, гражданин начальничек. Взгляните на меня: фатовый паренёк, прошу заметить! Для будущей агитбригады. Не какой-нибудь соцвред, а свой в доску, потомственный тридцатипятник...»

Базиль стриг, брил, острил, подмигивал и рассказывал. Бритва в его руках ходила по щекам и подбородкам быстро, смело, даже изящно, но не без порезов. Никто не досадовал: ну что представляют собой порезы в лагере? Господи, обращать внимание? В порядке очереди на стул сел круглый лысый директор Шатов. Для Загула он тоже обретается где-то за горизонтом.

— А где ты, таскае, околачивался, Базиль? До сих пор нигде не было видно, — поинтересовался намыленный Гурий Павлович.

— В кандее был, — приятельски поведал Юрий. — Всё добивались, чтоб я, дурной, с тачкой подружился. Нет! Пускай, говорю, забайкальский медведь этим балуется. Ну, побились-побились этак около меня и наконец спрашивают: «А парикмахером пойдёшь?». Вот это, говорю, дело! С удовольствием. «Бритва есть?» — спрашивают. — «Сразу пять найду». «Тогда давай, оборудуй это дело». Выпустили. И вот сразу житьишко наладилось: приоделся на досуге, пощупай, костюмчик в ателье шит, не как-нибудь. Уже за зону без дудорги хожу. И всё в законе. Попробуй попка руку к чему протянуть — пустой номерок, скажу ему, я же к начальникам

хожу, начальство брею. Не могу же таким вахлаком, как ты, попка, к начальству заявляться...

— Базиликин! — раздался в дверях озабоченный голос дежурного вохровца. — Свёртывай тут эту лавочку! Быстро! Начальство брить пойдёшь! Давай-давай, завтра этого добреешь...

Юрий подмигнул, удовлетворённо улыбнулся, одним махом снял пену с лица Шатова и начал укладывать приборы в маленький баульчик. Шатов покраснел от обиды, но сделал вид, что это более смешно, чем грустно.

— Здравствуй, — сказал он, подходя к Загулу. — Ты где устроился? — И, увидев запачканные глиной брюки Дмитрия, догадался сам. — Шофёром? Таскае, машину водишь одноколёсную? Это плохо. Пойдём вместе.

Они вышли на свежий воздух. Шатову хотелось высказаться. Он задержал Загула.

— А я, браток, по специальности. Снабженец! Продскадом заведываю. И в лагере жить можно, Дмитрий Юрьевич. Вот только эта несуразная статья мешает. Я пока, таскае, втихаря работаю. Моё начальство, конечно, ухватило за меня, а спецчасть ещё молчит: марку держит. Но — куда денутся: все они около снабжения крутятся. Вот Трусиков, — наклоняясь к уху Загула, зашептал Шатов, — приходит ко мне вечером: «Смотри ты тут, осторожней с пожаром, где керосин держишь, и замки всякие... Чтоб порядок...». Какое тебе дело, думаю, кто ты тут. Но, знаешь, дал ему, всётая же, конскую голову. Сунул он её под шинель и пошёл. Зато за зоной жить, всётая же, буду. Уж это так. Вот утвердят — подыщу комнатуху где-нибудь в посёлке...

Шатов сообщил Загулу и о том, что рассказал Базиль до прихода Дмитрия Юрьевича. Это не только интересно, — сказал он, — но и необходимо знать каждому з/к, таскае, для общей ориентации. Загул узнал теперь, что начальник отделения Большаков года полтора тому назад тоже был заключённым. Сам Френкель тоже недавно отбывал срок и амнистирован только в прошлом году. «Это же интересно, — говорил Шатов, — это поднимает дух. Ведь приятно же сознавать, что ты, таскае, в кругу своих людей! Ну и то хорошо, что Большаков блатом у Френкеля может пользоваться, они, таскае, кореша по лагерю, вместе в Соловках сидели. Голова этот Френкель, ух голова! Ведь это с него да с Большакова и началась исправительная политика в лагерях. Я впервые сегодня от Базилия это услышал. Это же интересно! Ну, оба они, Френкель и Большаков, жили в какой-то землянке, ходили лес валить, а? Лесо-

рубов там много было, но — как они были настроены? Таскае, чем-то пень колотить, лишь бы день проводить? А Френкель Нафталий Аронович на этом деле открытие сделал, как Рамзин. Написал начальнику заявление, что при таких порядках рабочая сила зазря тратится: и заключённым интересу нет, и начальству выгод никаких. А если работать по смете, то будет мёд. Пусть ему, Френкелю, дадут бригаду в 20—30 человек, он ручается, что и план будет схвачен, и работы будут довольнёншеньки. Начальство, конечно, ухватилось, а Френкелю, таскае, книги в руки. Это ещё до Беломорстроя, в 1931 году. А когда Сталин надумал таким же способом канал построить, начальником строительства поставили Когана Лазаря Иосифовича, а помощником — Френкеля. Ну и Большаков высокую должность получил: он там начальником водораздельного участка был. Я всё это услышал сегодня, мне как-то легче стало. Не пропадём. У тебя какой пункт, ты мне скажи.

— Десятый.

— Десятый ещё ничего*. Вот если я устроюсь и окрепну, я тебя сторожем на склад предложу, ночным сторожем. Всётый же мы свои люди, вместе ехали. Что-что, а сыт там будешь. Да вот пример тебе. Вчера бочка освободилась из-под масла, из-под растительного. Ну была бочка, и нет её: тара это теперь. Я опрокинул её над тазом, простояла ночь. Так что же ты думаешь? Сколько масла натекло в этот таз? Побольше стакана! Чьё это масло? Это уже сторожа дивиденды! Законные! Оно же вне баланса, это масло. Хорошо бы тебе, если б удалось так... Сторожем... Ну, пока!

— Пока! — ответил Загул.

17. Невосполнимая утрата

Прошла неделя. Загул с каждым днём ощущал, как восстанавливаются его силы, — в баланде изредка бывало мясо, и рана на ноге затянулась.

* Статья 58-10 УК РСФСР: «Пропаганда или агитация, содержащая призыв к свержению или ослаблению советской власти, или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений, а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания влекут за собой лишение свободы на срок не ниже 6 месяцев». Применялась весьма широко — основанием мог служить анекдот, разговор в трамвае, реплика по поводу статьи в газете и т. п.

На двенадцатый день пребывания в лагере Дмитрий Юрьевич получил посылку и денежный перевод на пятьдесят рублей. Это было здорово: он сможет доставать с воли хлеб! Семён Иванович ещё накануне предупредил, что принесёт всё в зону: вольный получил повестку, и завтра пойдёт на почту.

Дмитрий Юрьевич работал и не мог забыть, что он будет сегодня держать в руках вещи, которые недавно держали тёплые заботливые руки в Киеве. Как всё же хорошо, что, сначала отказавшись писать письмо, он всё же решился послать телеграмму!

Посылка была переупакована, но Загул знал, что никто и ничего из неё не присвоил. Обильная была посылка! Много съестного, и самого ёмкого. Украинские колбасы в оцинкованной банке, сало, чеснок, два лимона. Но главное — книги! Его личные, им выстраданные, им написанные. Переводы... Перевод Гёте... Перевод Бальмонта... Стихи самого Загула. В посылке было письмо. Книги Загула в магазинах и библиотеках изъяты, и то, что послано ему, может быть, единственные экземпляры на свете. Сообщалось, что сохранились каким-то образом переводы, «Выбране твори» самого Загула в рукописях: две тетради, поэма. Но опасались послать: пусть хранятся. Чувствовалась радость домашних.

Загул устроил пирушку. Гужевались и Семён Иванович, и Каблуков, и Воронин, и Омельченко. Никто из них не получал ещё посылок, Загул оказался первым.

— Я не получу! — предупредил Воронин. — Я, как получил десятку, сразу сказал жене, чтоб отказалась от меня. Детей у нас нет. Ради чего ей молодую жизнь губить? Приду через десять лет, да и удастся ли. Разводись со мной, выходи замуж, и живи на счастье. Если вернусь — найду другую бабу, может быть, такую же несчастную.

Каблуков не просил посылку. У него остались мать и невеста Соня. Она ещё училась в педвузе и работала в школе. Наверное, её выбросили и из школы, и из вуза. Мать — старушка. Откуда им брать деньги, чтоб подкармливать арестанта?

Омельченко ждал посылку: ему пришлют, у него окружение сельское. Заколют кабана и сорганизуют «передачу». Но до села когда-то дойдёт его письмо.

Семён Иванович резал сало ножичком, сделанным из обломка пилы. Острый, упругий. Дмитрий Юрьевич с восхищением осмотрел его. Семён Иванович подарил ножик Загулу.

Загул разугощал половину посылки. Всё несъеденное и книги пришлось взять с собой на работу. И почему это дневальным непременно назначают жулика? Потому, что среди жуликов

много отказчиков. Пусть отказчик будет дневальным — на это жулики охотно соглашались. Экономится единица. А то, что от такого дневального не сладко двум сотням работяг, видимо, никого не трогает. Но куда засунуть дармоедов?

В этот день шёл не то дождь, не то снег, но Загул был разговорчив и работоспособен. Он вывез вчера двадцать пять тачек, около двух кубометров — норма, семьсот граммов хлеба! Он даже декламировал свои стихи во время перекуров, хотя сам не курил, а у доходяг не было табаку, курили вату.

З дощем осіннім не плачу,
Не жахаюсь холоду зим,
Бо соняну кров горячу,
Я в серці ношу своїм.

— Одыбел, — сказал ему омский богатырь на глиняных ногах и улыбнулся.

— Одыбел, — согласился Загул и дал ему кусочек сала. Колька вдруг оживился, вскочил, подошёл к Дмитрию Юрьевичу.

— Давай, я тачку отвезу, — предложил он. — Ничего, давай.

Он отвёз тачку и начал набрасывать в неё гальку, схватив чужую свободную лопатку.

— У другого бригадира я бы тоже работал, а у Кобры не хочу. Какой он, к чёрту, жулик! Шакал! Трепло! Это он сам себя Коброй назвал. Вот дядя Костя есть в этом лагере, вот это настоящий старый уркаган, вот тот действительно жулик. Его вся Россия уважает. Он хину перехватывал, когда малярия на Кавказе была. Хину тогда за границей покупали. Вот хину ещё далеко-далеко везут, а дяде Косте уже телеграмма: такой-то поезд и вагон. Написано ему одно, а ему всё ясно другое, везде свои у него. Он сразу одну телеграмму туда, другую сюда. А вагон идёт-идёт, и вдруг отцепили. И не туда уже пошёл этот вагон. Словом, путаница по дорогам. А вагон всё идёт куда-то и стоп: никуда! А к нему уже свои люди у дяди Кости. На машинах к этому вагону. Выгрузили и увезли. Чистенько! И пожалуйста, в аптеках нету, а на толкучке пожалуйста, вот вам от малярии. Хины пакетик? Рублик! А что, за каждый маленький пакетик! Не хочешь — катись! Ведь это на тысячи рублей! Куда на тысячи — на миллионы! Вот это жулик. И он не гордится, дядя Костя. Он свой. Он как все. А Кобра, что это? Тьфу! Дерьмо. Это такое же дерьмо, как я, только что он взрослый, а я ещё пацан. И то Чумой прозвали. Меня больше знают жулики, чем какую-то Кобру.

— А за что же привезли тебя сюда, пацан?

Колька воодушевляется и гладко, видимо, уж не в первый раз, рассказывает длинную историю. Будто отец у него полковник. Вот однажды Колька прокатился «колбаской». Маму вызвали в милицию. Мама нюни распустила. Идут они с Колькой, мама боится, что-то там им будет. А там ничего. Вот пришёл отец, мама рассказала ему про милицию. Выслушал отец, и тоже ничего. Ни-че-го! Пообедали. Встаёт отец и говорит: «Ну, уже один раз так было?» — «Было!» — «Приказ был не кататься?» — «Был приказ не кататься». Вот согнул меня пополам, зажал мне голову между своих колен, и выдрал ремнём.

— Вот драл меня, вот драл, — с восхищением передаёт Колька, и всё лицо его горит восторгом воспоминания. — Ремень толстый, командирский. Вот за это я отца люблю! Это как капитан на корабле! Как на военном! Вот это порядок! А мама что, мама только нюни распускать.

— Понравилось? — недоумевая, спрашивает Дмитрий Юрьевич и смеётся.

— Ну, порядок! Уж засыпался в чём — так никуда не уйдёшь. Уж своё получишь. Обязательно получишь... Теперь ты повози, а я покидаю.

Загул согласился. Замечательно хорошо пошла работа. Намётанным глазом Дмитрий Юрьевич установил, что и сегодня норма будет выполнена, схвачена, как здесь говорят.

Всё ещё голодный, Дмитрий Юрьевич решил съесть кусочек украинской колбаски и угостить нового напарника.

— Перекур? — спросил он Кольку.

— Всегда готов! — ответил тот и шлёпнулся на подброшенные под себя рукавицы.

Загул шагнул к сумке и ошеломился: её не было. Он не верил своим глазам, шагнул ещё и ещё. Сомнений не было: сумка исчезла.

— Где же моя сумка? — спросил Загул, обращаясь и к Кольке, и ко всему звену.

Колхозник, директор, Айзман недоуменно поглядели на Дмитрия. Колхозник явно оробел и виновато оглядывал забой. Один Колька был спокоен.

— Наверно, спёрли, — сказал он и, вскакивая на ноги, пояснил: — Это из бригады, тут только зазевайся. Ждите: сейчас.

И убежал в соседнюю бригаду.

Загул досадовал, но в первый момент не беспокоился. И вдруг вспомнил: книги! Самое дорогое ему, самое близкое — книги! Неужели потеряны и книги?

— Ведь там были мои книги, — пробормотал он и пошёл вслед за Колькой.

— Книги не возьмут, — успокоил Соломон Исаевич.

— Не возьмут? Из них карты сделают! — возразил директор.

Кобра закричал Загулу: «Куда пошёл? Вернись, говорю!». Сидевший на пне ленивый вохровец приподнял сначала голову, потом приподнялся и сам.

— Эй, ты! Куда пошёл? Вернись! — закричал и он.

Загул остановился, не зная, что предпринять. Заинтересовались издали Кузнецов и Воронин. Они крикнули что-то ближним забойщикам.

— Сумку спёрли, — ответили те.

Воронин на лету ухватил, в чём дело, и бросился к Дмитрию.

— Колька был с тобою? — ещё издали спросил он.

— Был.

— Это он и спёр. Где он?

Загул кивнул в сторону бригады, куда убежал Колька. Воронин пошёл туда же.

— Гражданин стрелок! — почтительно крикнул он. — Блатяки пайку стащили. Разрешите, я только дойду.

Вохровец взял винтовку наизготовку и разрешил Воронину пройти.

На глазах у всех Воронин схватил спрятавшегося за других Кольку и потащил его обратно. Колька дико заорал. На помощь ему бросились с кайлами и лопатами другие блатяки. Воронин подхватил Кольку подмышки и перенёс в зону своей бригады.

— Я не брал, — кричал Колька. — Никто не видел, я не брал. Кобра! Скажи, что я не брал!

Воронин ударил Кольку. На жёлтый песок брызнуло из носа красное.

— Я не брал, — продолжал уверять Колька. — Я искать ходил. Это они стащили.

— Врёшь! Ты взял, сволочь! Чтоб всё вернул!

— Не бей его! Не надо! — тихо сказал бледный, растерянный Загул. — Пусть книги вернут. Мне ничего не надо, только книги.

— И книги там же были! — ахнул Воронин. — Иди, паразит, и возвращайся, только с книгами. Душу вытрясу!

Воронин был страшен в бешенстве и, сам того не замечая, всё сильнее накручивал на кулак Колькину рубашу, ворот её врезался в набухшую кровью красную шею Кольки.

— Оставь пацана! — крикнул блатной. — Он не виноват. Я взял.

— Я не брал, — возразил и Колька. — Я пошёл искать. Они книжки уже на курево пустили. При чём тут я?

— Может быть, и в самом деле ни при чём? — усомнился подошедший Кулаков.

Загул молча пожал плечами.

— Ребята, — крикнул сходу торопливо шагавший к блатякам Воронин. — Возьмите всё, но книжки отдайте. Слушайте! Эти книжки написал вот этот человек. Это писатель. Ему дороги эти книжки. Надо уважать поэта, ребята.

Никто не отвечал, все немного опешили.

— Ребята! Все мы арестанты, — крикнул и Кулаков. — Но надо и нам иметь всё-таки совесть. Вы знаете песню «Червона Армия іде»? Эту песню написал вот этот человек. Она тоже есть в этой книжке. Он написал и другие песни. Понимаете, что вы у него взяли? Верните ему его песни. Самое дорогое для него. Часть души, понимаете?

Блатяки ничего не сказали, похоже, сконфузились, и молча пошли к своим.

— Дядя Митя! — сказал вдруг Колька, впервые обращаясь так к Загулу. — Это правда? Да я же знаю «Червона Армия іде»! Это правда, что вы сочинили это, сами сочинили?

Загул был потрясён. Он ничего не ответил. Перед уходом Колька принёс Дмитрию томик его стихов «Мотивы». Это всё, что осталось от книг.

А в воротах из проходной будки вышел начальник караула.

— Где? — спросил он вохровца.

— Вот, — сказал тот, показывая на Загула.

Загула пропустили не в ворота со всей бригадой, а провели через проходную будку. Там обыскали, недоумевающе повертели в руках книжку.

— Как к тебе попала? — спросил начальник караула.

— Моя книжка, я её автор.

Начальник караула задумался.

— С собой, что ли, привёз? — спросил он, и не понять, что было в его глазах: уважение или любопытство.

— Да, с собой.

— В лагере нельзя держать, отбросил начальник караула всякие сомнения. — Не разрешается. Понятно? У тебя её украдут, карты сделают, людей будут проигрывать. Понятно? На кой же это чёрт нужно?

— Я буду всегда держать её при себе. Поймите, это моя книжка.

— Передадим книжку начальнику лагеря. Пусть как хочет.
Иди! Иди!

* * *

Motto:

Es bildet ein Talent sich in der Stille.

Sich ein Charakter in dem Sturm der Well.

(Гёте)

Не в тишине рождается поэт,
Не в одиночестве монашеской кельи.
В толпе людей, в тревогах и весельи
Он создаёт цветистый свой букет.

И жизнь его — просёлок, не паркет,
Его палитра — площади, панели,
Где прозревает он живые цели
И путь людей до неизвестных лет.
Ни триолет, ни стансы, ни сонет
Его сегодня вовсе не волнуют.
Живой поэт — не классик, не эстет, —
Он день сегодняшний живописует!
И жизни переменчивой, бурливой
Душой и сердцем чувствует мотивы.*

18. Степан Романыч

Вечером Дмитрий Юрьевич неожиданно познакомился с Панкратьевым.

Степан Романыч был популярен в зоне. Его имя часто упоминалось, и упоминалось всегда с уважением. Дмитрий Юрьевич уже слышал о нём. И вот теперь этот Степан Романыч подошёл к Загулу. Высокий, сидящий человек с необычайно красивой головой. На него хотелось глядеть, не отрываясь. Редкое явление. Старость обычно безобразит. Старость Степана Романыча была опрятна и выявляла в нём что-то неуловимо благородное, артистическое, подчёркивала в нём и внешне выражала ум, честность и суровость.

— Здравствуйте, — сказал он Дмитрию. — Извините, в лагерях всё по-простому. Услышал случайно, что у вас какие-то книги были и их кто-то стащил сегодня. Так ли?

* 1926 г. Из сборника «Мотивы»

— Да, так.

— Это были вами написанные книги? Вы автор этих книг?

— Да.

— Я слышал, что стихи?

— Да, стихи.

— На украинском языке?

— Да, на украинском.

— Ваша фамилия Загул?

— Да.

— Я не знаю украинского. И, конечно, потому не знаю вас. Здесь пока что я работаю в конторе. В конторе, знаете ли, своя тумба, стол. Я замыкаю его, и никто не прикасается к тому, что есть у меня в этом столе. Если у вас есть ещё что-либо из этих книг, доверьте мне. Они сохраняются. В зоне вы не сможете их сохранить. Здесь вохровцы, начальник лагеря, часто устраивают шмон. Если книжки обнаружат, их отберут. Жулики делают из книг карты. Клей делают из хлеба: жуют, и жвачку продавливают сквозь тряпку. Взамен краски идёт сажа для чёрной масти и кровь для красной.

Загул поблагодарил, и сказал, что книг у него уже нет, и, возможно, их нет уже нигде.

Подошёл Кулаков, позднее Воронин. Разговорились. Выяснилось, что Степан Романыч отбывает второй срок. Здесь он проектирует объекты строительства. По мнению Степана Романыча, это был самый лёгкий лагерь для отбытия срока. Он лично доволен, что попал сюда.

— Нам ещё хорошо. Пока. Дальше гайки будут всё туже и туже завинчиваться.

Никто не знал, надо ли с этим соглашаться. Выслушали с уважением: человек говорит то, что хорошо знает. Позднее не раз в этом пришлось убеждаться.

— Порядки в лагере зависят от многого, — говорил Степан Романыч. — Если лагерь расположен в городе или вблизи большого города — порядки в таком лагере всегда строгие: ведь там отбежал на пятьдесят шагов, и уже потерялся. Тебе не разрешат там иметь причёску, ходить в вольном... В диком месте или, скажем, на каком-нибудь острове или в тайге, оттуда — никуда. Тогда зачем строгие порядки? Они обременительны для начальства тоже. Строгость лагерных порядков зависит и от характера производства. Одно дело — постройка дома. Огородил тебя проволокой, и работа от этого не страдает. А вот на стройке путей... Тут производство не терпит того, чтобы рабочие были привязаны или ходили всюду

под дудоргой. И люди не бегут, даже блатные. Доверие держит крепче запретов. Жалко, что начальство никак не хочет делать из этого педагогических выводов. Но самое главное, что влияет на режим лагеря, — это люди, которые стоят во главе. Хорошо, если начальник строительства вроде нашего Френкеля. С ним и Сталин считается.

Загул уже слышал об этом от Базиля и Шатова, да и на воле читал похвалы Френкелю в горьковском «Беломорско-Балтийском канале»*. Теперь и Степан Романович подтвердил, что идея привлечения арестантов к ответственным стройкам принадлежит Френкелю. Это Френкель и Большаков, сидя на Соловках, подали заявление с просьбой поставить их на какую-либо работу. Вот тогда Френкель для пробы возглавил небольшой рабочий отряд, а потом был назначен прорабом строительства Беломорско-Балтийского канала.

— На канале у Френкеля были агитбригады. Здесь тоже намечается нечто подобное. Вот вам и книги в руки. Вы сходите-ка к Зайцеву в КВЧ. Он будет вас знать и иметь в виду. С вашего разрешения и я скажу о вас. Мы с Зайцевым часто встречаемся.

— Ничего! Ты с нами работай, — предложил Загулу Каблуков.

Дмитрий Юрьевич раздумывал, принять ли это предложение, но Воронин сказал:

— Конечно. Мы обработаем тебя на большую горбушку. Мы даём по сто шестьдесят процентов. Дадим ещё по тридцать в твою пользу и — порядок! Будешь и ты получать, — у тебя полторы нормы схвачено.

Но и после таких пояснений Воронина Загул всё же отказался.

— Нет уж, я один как-нибудь. Мне это удобнее. Для самочувствия лучше.

Каблуков всё понял, но не стал настаивать.

— А вам надо в санчасть, — сказал Романыч Кулакову.

— Нет, не хочу. Я физкультурник, — ответил он, — мои мускулы физической работы требуют. И для здоровья лучше. Потому что я сыт, а стану придурком — буду голодать, шестьсот граммов мне мало.

— Степан Романыч! Вас начальник требует!

Романыч заторопился и ушёл.

* Н. А. Френкелю посвящена часть написанной известным советским публицистом и киносценаристом Борисом Николаевичем Агаповым (1899—1973) и др. главы 8 названной выше книги.

— Что он говорил вам? — спросил Загула директор. — Я слышал, что это умнеющий мужик. Очень хорошо разбирается во всём и много знает. Вес большой имеет. Я уже говорил с ним, обещал мне помочь в финчасть устроиться. Я не бухгалтер, не счетовод, но — господи! — не боги горшки обжигают.

Ночью кто-то дёрнул Загула за одеяло, покачал толчками его ноги. Загул открыл глаза. В бараке было шумно, какая-то непонятная суета.

— Шмон! — шепнул ему Воронин.

— Поднимайсь! Живо! — кричали вохровцы. — Переходи сюда, на эту сторону барака. Быстро!

Ещё не привыкшие к шмону, не вполне проснувшиеся арестанты неуклюже, бестолково, тычась куда попало, получая от вохровцев толчки и затрещины, перебрались на ту сторону палатки, что была ближе к выходу.

С самых дальних нар начался обыск. Четыре вохровца, по два с каждой стороны, ощупывали матрацы с соломой, бушлаты, брюки. Сбрасывали ощупанное на пол, и так продвигались к выходу. Иногда кто-нибудь из них выкрикивал:

— Чьи вещи?

— Мои.

— Подойди сюда. Твои деньги?

— Мои.

— Сколько их у тебя? Считай! — говорил один вохровец другому. Тот неумело пересчитывал и называл сумму. — Фамилия? Твои тридцать два рубля будут сданы в бухгалтерию на твой лицевой счёт. Понял?

При обыске изымались деньги, бумага, карандаш, железка, похожая на нож, старая газета...

У Дмитрия взяли ножичек, подаренный ему Семёном Ивановичем.

— Твой нож? — спросил стрелок.

— Мой, — ответил Загул. — На него зашикали: вот дурак!

— Где взял?

— Нашёл.

— За такие находки кандей тебе надо дать. Слышал?

— Слышал.

— Запиши его фамилию: найден нож.

Взяли и остаток денег — тридцать рублей.

Привыкшие к шмону старенькие быстро поднимали с полу свои вещи, матрацы, расстилали и торопливо укладывались спать. Новенькие удивлялись глупости: берут ножи, а кайла, топоры? Завтра заключённые всё это снова будут проносить через ворота зоны и класть себе под нары. Какое-то животное

недомыслие. Говорят, если у гагары вынуть из гнезда яйца и положить их рядом, она будет терпеливо сидеть в гнезде. Здесь тоже гагары?

Загул не мог уснуть. Волновал шмон, но больше всего — потеря книг. Последние, единственные экземпляры, им созданные, им выстраданные. Пока они были с ним, ему казалось, что они ещё живут, ещё будут жить. Теперь труд его жизни погиб навсегда и безвозвратно. Зря жил на свете. Отторгнутый, обездоленный, не принятый, не понятый, ограбленный.

19. Батя

Уже ярко и пристально вглядывалось в людей солнце. Уже Каблуков, Воронин и другие молодые лагерники ходили в середине дня без рубашек, и уже бронзовели их тела на ветру и солнце. В солнечные, но ещё не жаркие дни работали горячо, с увлечением. Лязгали лопаты, стучали кайла о камень, отбрасывая огненные брызги.

— Батя едет!

Блатные симпатизировали начальнику: он баловал их, не выказывая к ним презрения, был снисходителен к их слабостям.

— Батя едет!

Действительно, по путям двигалась двухколёсная дрезина. В ней — издали было видно — сзади сидел грузный начальник, рядом, видимо, инженер, и впереди — водитель. Дрезина остановилась, не доезжая бригады.

— Вкалывай! Дурьё! Начальник идёт! Эй! — крикнул бригадир в сторону доходяг и угрожающе потряс кулаком. — Лебеди!

Начальник шёл спокойно, степенно. Он был в лёгких фетровых сапогах без каблуков, в серой длиннополой шинели. Высокий, представительный, грузный. Блатяки говорили, что у него расширено сердце. На целый сантиметр. Результат работы в горах на большой высоте, где разрежен воздух.

Кобра выскочил вперёд.

— Здравствуйте, гражданин начальник! — приветствовал он.

— Здравствуй, — остро оглядел его начальник. У него была отличная память на лица, и сейчас он уже, несомненно, знал, что этот бригадир — новое лицо в его отделении.

— Чья бригада?

— Авдюшкина, гражданин начальник!

— Ты Авдюшкин?

— Я Авдюшкин, гражданин начальник!

— Статья? 116-я?

— 116-я.

— Я слышал — плохие результаты в твоей бригаде. Как это так? Ты ведь не первый срок отбываешь?

— Третий, гражданин начальник.

Большаков оценочно оглядел Авдюшкина. Неряшливо прибиты покаты. Лишние и очень крутые подъёмы. Плохо, беспорядочно разрабатываются забой.

— Почему же бригада у тебя плохо работает? Почему не справляешься?

— Слабосильных много. Доходяг целое звено, забой — мерзлота. Тачки кособокие...

— Ну, ладно, не ной. Пошёл-ка ты в... со своим нытьём, — начальник сразу нахмурился и, отстранив Кобру, резко подался вперёд.

Перед забоем Воронина и Каблукова он задержался. Ясно было, что Большаков любовался Каблуковым, его статным видом, гибкостью движений крепкого тела.

— Какая статья? .

— 58-я.

— Пункт?

— Второй.

— Какой пункт? — переспросил Большаков и пристально посмотрел на Алексея.

— 58-я статья, второй пункт.

Большаков крикнул, ничего не сказал и пошёл дальше.

— Вот этот тип, гражданин начальник, — сказал Кобра, когда подошли к забою Загула, — не хочет работать и дисциплины не признаёт. Филонит всю дорогу, двадцать процентов выработки.

Большаков оглядел Дмитрия Юрьевича.

— Кем на воле работал? — спросил он, пытаясь, видимо, определить профессию Загула.

Загул был в затруднении: говорить ли?

— Писатель, — наконец сказал он. — Журналист.

— Фамилия?

— Загул.

— Где арестован?

— В Киеве.

На минуту Большаков задумался.

— Придёшь вечером к Зайцеву. В КВЧ, — и пошёл дальше.

20. У Зайцева

Загул едва дождался вечера. И обедал он, не замечая аппетита. Кажется, наметился неожиданный поворот в его жизни? Видимо, он в самом деле пойдёт в агитбригаду. Удержится ли? Писать надо на русском. Его стихи лирико-эпичны. Здесь не подойдут. Вообще не подойдёт здесь его манера письма. Надо полагать, нужен конкретный зов на строительные победы сегодня, завтра. Надо тронуть лагерника, задеть в нём лучшие струны его души... Возможно это? Забыли ли мы обиды, своё личное?.. Хорошо, если бы приняли. Открылись бы какие-то перспективы для него как поэта. Но примут ли? Врага народа на идеологический фронт?

После ужина, робея, подошёл он к проходной будке.

— Чего тебе? — дёрнулся стрелок к окошку, глядя на Загула злыми глазами. Загул объяснил.

— Не знаю. Ничего не знаю.

Загул постоял немного перед окном, не зная, что ещё сказать. Стрелок нетерпеливо махнул рукой, показывая, чтоб отошёл глубже в зону.

Загул рассказал обо всём Воронину и Каблукову. Воронин выругался, попало и охраннику, и самому Загулу.

— Какой ты лагерник? Тряпка! Послал бы его к матери: тебе же сам начальник сказал!

Воронин воинственно пошёл сам к проходнушке. Взбешённый вохровец выскочил из неё и, хватаясь за кобуру, потребовал, чтобы Воронин ушёл. Выручил Семён Иванович: он выходил на вечерние работы. Вообще-то иногда никаких вечерних работ не было, но Семёну Ивановичу всегда приятнее что-то делать в депо около своего станка, чем ощущать себя за проволокой. Он и его товарищи, как и все придурки, приходили в зону только на семь часов, чтобы выспаться. Семён Иванович сказал, что зайдёт в контору и попросит, чтобы позвонили Зайцеву.

Через полчаса Загула вызвали к проходной. Оказывается, охранник потребовал, чтоб начальник КВЧ прислал кого-нибудь за ним. Пришёл какой-то придурок, Загул никогда не видел его в зоне.

Было уже темно. Ночь дохнула из дальнего леса густыми запахами смолистой сосны, пронесла их через всю степь, разбросала по приволью посёлка. Загула охватило непривычное ощущение физической свободы. Он шёл по посёлку не под конвоем, и никто не следил за ним, никто не дрожал, не опасался, что он сбежит. Улица была бесформенная, пустырь.

Разбросанные избушки толпились беспорядочно, далеко друг от друга, согнувшись, притихли, занятая каждая сама собою. Справа, вдали, чернел лес, слева громыхала, лязгала железом дорога. Гудели маневровые паровозы, стучали молотки, играли всполохи в окнах депо.

Спутник Дмитрия Юрьевича оказался инспектором КВЧ по фамилии Касперович. Он был очень ласков с Дмитрием, предупредителен, стремился подчеркнуть своё расположение к нему. Он расспросил Загула положительно обо всём, о чём только мог.

— Вы извините, что так расспрашиваю, — извиняющимся тоном сказал он. — Это и вам надо знать, ведь вы же в КВЧ будете работать. Наш начальник — его зовут Леонид Фёдорович — любит, чтоб его работники были расторопными. Знаете, у нас ходит побасёнка. Едут крестьяне на базар. Купец послал приказчика: узнай, что везут. Сбегал, говорит, везут мясо. Какое мясо? Куда везут? Почём будут продавать? Приказчик тык-мык. Таких наш Леонид Фёдорович презирает. В грош не ставит. А вы с Украины?

КВЧ помещалась за болотом, на отшибе, около хлебопекарни. В ней было две комнаты. В первой сидела инспектура. Художник писал здесь плакаты. Во второй, в кабинете, было два стола: стол начальника и старшего инспектора.

Зайцев оказался маленьким, насторожённым, даже каким-то испуганным человеком. Он растерянно оглядел Загула и не сразу успокоился. Скромная внешность Загула и его вежливое выжидательное молчание успокоили начальника КВЧ. Позднее Загул узнал, чем объяснялось беспокойство Зайцева. Он был очень подозрителен и, вглядываясь в гостя, спрашивал себя, не является ли этот писатель претендентом на его место. Дело в том, что Большаков не любил Зайцева. Правда, у него, у Зайцева, бытовая статья, а у этого человека 58-я, но Большаков, опираясь на Френкеля, очень многое позволял себе. Второе, что настораживало Зайцева, это то, что Большаков не подчинил ему новенького...

Зайцев тоже задал Загулу несколько вопросов, почти тех же, что и Касперович.

— В нашем отделении скоро будет выходить многотиражка «Строитель БАМа». Начальник предлагает назначить вас техредактором. Справитесь?

Для Загула это было неожиданностью. Он не ответил, пожав плечами: ведь он же многого не знает, чтобы ответить сразу.

Зайцев сообщил подробности. Редактором будет сам начальник. Он будет подписывать газету. Оборудуют вагон. Уже

есть печатная машинка «Бостонка». Наборщика и шрифт пришлют из Свободного*. Печатника, второго наборщика, придётся подготовить на месте. Штатом редакции предусмотрено ещё два литработника, один из них — фотокорреспондент.

— Ну как? — спросил Зайцев.

— Я готов, если смогу. Я никогда не был работником газеты, — по-честному ответил Загул. Зайцев покрутил ручку телефона.

— Гражданин начальник! — противно-ласково произнёс он. — Гражданин начальник! Это вы, гражданин начальник? Говорит Зайцев. З/к Загул у меня. Я прошупал. Говорю, я проверил его. Что прикажете теперь? Так... Так... Слушаю... Есть... Есть... Хорошо, гражданин начальник. Хорошо!

— «Гражданин начальник»? — удивился Загул. Значит, ты тоже заключённый, начальник КВЧ? Зайцев положил трубку.

— Иди к начальнику. Знаешь, где контора? Хотя... вместе пойдём, мне тоже туда надо.

В контору пошли той же дорогой, по которой уже проходил Загул. Она находилась недалеко от зоны. Двухэтажный пятистенный дом. В нём клетушки-комнаты. На дверях названия отделов: ПТЧ, планово-нормировочный отдел, отдел снабжения, финчасть, учётно-распределительная часть в зоне. Санчасть и КВЧ в отдельных избушках: им не нашлось места в конторе.

Через открытую дверь видно было, что кабинет начальника — большая комната, рассчитанная на проведение в ней собраний. Начальник распекал кого-то по телефону: жёстко, хлёстко, не церемонясь.

— Что ты мне темнишь? Чьи глаза пытаешься запорошить? Поменьше слюнтяйства. Хлюпиком не надо быть, у нас лагерь. Лагерный контингент. А ты святой и равноапостольный.... Да что ты свою же сводку передёргиваешь! Откуда столько блатяков у тебя? «Не с кем план перевыполнять»? Да у тебя контингент лучше, чем в любой фаланге. У тебя же на девяносто процентов 58-я! Вот попробуй сорви мне план. Я с тебя не слезу, мерзавец!! Если к двадцатому не выправишь — слышишь? — если к двадцатому не выправишь, двадцать первого сдашь фалангу и приедешь отсиживать. Я из тебя душонку вытрясу!

По коридорам сновали придурки. Но эти выглядели солиднее, потому что ходили в вольной одежде, некоторые — в

* Свободный — город в Амурской области, бывший Алексеевск.

приличных костюмах, даже с галстуками! Это из тех, что жили за зоной. Вдруг вышел с бумажной трубкой, с какими-то чертежами Степан Романович. Он радостно кивнул Загулу:

— Свершилось?

— Меня назначают на газету, — тихо ответил Загул.

— Ну, это ещё лучше, пожалуй?

Загул застенчиво пожал плечами.

Степан Романович, не задерживаясь перед дверью, распахнул её, как свой и близкий. Загул услышал его уверенный спокойный голос. Вот он вышел и направился по коридору. Зайцев почтительно с ним поздоровался.

— Пойдёмте, — сказал Зайцев Загулу. — Можно, гражданин начальник? — спросил он, боязливо приоткрывая дверь.

Большаков, грузный, широкий, монолитный, сидел за столом. Он даже не взглянул на Зайцева. Кроме него в кабинете сидела женщина лет сорока с необычайно чёрными коротко подстриженными волосами. Они были так черны, что казались даже слегка синими.

— Фамилия? — спросил Загула Большаков. Загул ответил.

— Зайцев сказал тебе, в чём дело? Ты техредактор. Делаешь газету. Подписываю, отвечаю я, редактор, — начальник откинулся на спинку стула, помолчал.

Снова зазвонил телефон. Большаков снял трубку, говорил, тяжело вздыхая, и глядел на Загула. Он изучал его, явно давая внутреннюю оценку человеку, что-то прикидывал мыслью и чутьём руководителя, мимо которого много прошло судебных и жизней. И теперь, оглядев этого тихого, среднего роста человека с небольшими стриженными усами, поймав на себе внимательный и спокойный взгляд то ли серых, то ли зеленоватых глаз, запечатлев плоскую седловину нерусского носа и разлитое по лицу с уклоном в юмор добродушие, удовлетворился внешним видом техредактора.

— Тебе понятно, что требуется? — положив трубку, спросил Большаков. — Организуй. Я позвоню в УРЧ, чтоб тебе выдали пропуск. Пока наблюдай, как оборудуется вагон. Завтра он должен быть готов. К вечеру поставить там печатный станок. Общежития в вагоне не намечаю, увижу, как будете вести себя и работать. Потом получим пульмановский вагон, в середине будет вагонка на шесть человек. Скажу главное: ты отвечаешь за поведение штата. Дело серьёзное: будешь ездить по всему отделению. Я в твоё дело вмешиваться не предполагаю, мне не до этого. Смотри, чтоб газета работала как надо. Чтоб со штатом был порядок. Понятно?

— Да.

— Всё. А кого рекомендуешь в фалангу помощником по быту? — обратился он к Зайцеву.

— Есть такой в ихней же бригаде, — ответил Зайцев, — Гурий Шатов. Он был директором курортного ресторана на Кавказе.

— Не годится, — досадливо отмахнулся Большаков. — Такие директора под носом у себя не видят ни грязи, ни вшей. Баб надо ставить на эти должности... Дина Гедальевна, — обратился он к черноволосой женщине. — Подберите-ка такую солидную, чистоплотную, заботливую. Словом, хозяйшку. Будет помощником по быту в пятой фаланге. У Сараева. Можно рассчитывать?

— Я подберу такую, — спокойно ответила женщина, продолжая сидеть. У неё было смуглое лицо и голубые глаза, казавшиеся на нём излишне светлыми, хотелось их подкрасить. Загул внимательно посмотрел на неё, она ответила тем же.

...Загул вернулся в палатку. Он был почти счастлив. В томительно-однообразную лагерную жизнь вошло какое-то оживление, какой-то взлёт. Много ли ещё будет у него таких минут подъёма и падения?

— Чёрт возьми, — заметил Каблуков. — Не пойти ли мне в санчасть? Всё же есть большие плюсы. Дудоргу не будешь чувствовать.

Воронов насупился.

— Не дури! — сказал он, отвлекая от этой мысли товарища, с которым не хотел расставаться.

21. За душой — только работа

Через два дня всё было оборудовано и подготовлено. Теплушку перегородили поперёк заборкой, сделали обычную дверь, четыре окна, поставили печь. Одна половина — наборный цех, другая — редакция.

Из общелагерной газеты прибыл наборщик Александр Александрович Кашин. Привёз с собой два шрифта, петит и корпус. Кашин никак не походил на наборщика, его широкое, округлое, несколько бледное и одутловатое лицо сорокапятилетнего мужчины напоминало лицо колхозного портного или сапожника, особенно когда он надевал очки в оловянной оправе с грязной, пропитанной потом верёвочкой-гайташком, который он закидывал на затылок, чтобы они не сваливались. Суровый и неразговорчивый, он был непонятен Загулу.

На должность печатника Загул с помощью Зайцева и Касперовича подобрал татарина Бахматова из своей бригады. По его словам, он когда-то работал печатником в типографии. Бостонка была ему экзаменом, который он успешно выдержал. Когда Бахматову показали её, он быстро сориентировался и продемонстрировал её работу.

В качестве литературного работника из дальней фаланги вызван был заключённый Лосев, бывший преподаватель литературы с Анжерских копей. Словеснику было лет двадцать пять, он был смугл, как метис. Речь его была яркой, живой и образной. Это понравилось Загулу, который, хорошо зная украинский, молдавский и немецкий языки, из скромности полагал, что не владеет тонкостями русского, его глубинными народными оттенками.

На должность второго литработника Зайцев пристроил фотографа из штата КВЧ.

Формат газеты установили в пол-листа писчей бумаги. Присланы были клише: заголовок «Строитель БАМа», иллюстрации — трудовые сцены, и даже карикатуры к сатирическим статьям: вот лодырь, вот отказчик, филон, лентяй...

Вечером второго дня Загул и Лосев готовили в редакции первый номер газеты.

Загула перевели в штабную фалангу, расположенную за болотом на косогоре. Эта зона тоже была огорожена проволокой, но проходной будки не было, ходили через дыры в заграждении. В зоне стояли две палатки. Одна для СТР, другая для ИТР. В палатке для инженерно-технических работников жили восемнадцать человек. Нар не было, спали на койках. Койка Загула оказалась рядом с койкой Степана Романовича Панкратьева. Лосев разместился в палатке СТР. Столовые тоже были порознь, для тех и других работников — в посёлке. В столовой ИТР подавали первое, второе и чай. Тарелки были эмалированные, ложки железные. Совсем так, как в столовых маленьких районных городов Украины, где Загулу пришлось немало побывать.

Он ещё не сидел за своим редакционным столом, не познакомился как следует со своим аппаратом, ещё не написал ни строчки для газеты, но уже прислушивался к советам Панкратьева.

— Товарищ Загул, — сказал ему Панкратьев, встретив его в конторе и задержав на секунду. — Вы не обижайтесь, что я вам советы даю. От души желаю вам успехов. Болею за вас. Как вы подготовились?

Выслушав Загула, он сказал ему:

— Сегодня в час ночи Большаков принимает рапорты от начальников фаланг. Приходите послушать, побудьте около селектора. Будет очень полезно, чтобы войти в курс.

...Начальник одобрительно взглянул на Загула. К селектору собрались почти все ведущие работники. Загул даже не мог предполагать, какое ошеломляющее впечатление произведёт на него этот ночной разговор начальника отделения с начальниками ячеек передового фронта. Ошарашила его и манера обращения, реплики Большакова. Тон его разговора был властным, подчёркнуто фронтовым, реплики полны сарказма и даже издевательства по отношению к тем, кто не выполнял план. Удивили Загула обширность территории отделения и разнообразие выполняемых работ. На трассе, кроме разнорабочих, плотников, каменщиков, были и бульдозеристы, и машинисты экскаваторов, и сварщики, и путевые рабочие, и рабочие депо.

Когда уже чувствовался рассвет, Загул и Панкратьев возвращались в палатку.

— Какое прекрасное предутреннее время, — сказал Панкратьев. — Вот в такие часы видишь нашу страну с каких-то больших колоколен, озираешь всю её жизнь, чувствуешь её дыхание. Вот поездите по трассе, и вы напаетесь этим материалом, заставляющим думать, думать. Увидите всяких заключённых на работе, увлечённых ею. В чём та сила, которая захватывает, увлекает их? У них ничего нет за душой — только работа, только она одна, одна-единственная. И вот, оказывается, она способна не только впитывать в себя твою силу, но и давать отдачу, живительные импульсы. Она способна поглощать страсть этих людей, их любовь, их существо, их характер. Люди на этом воодушевляются незаметно для себя, крепко хватаются этим за жизнь, отчаиваются, когда теряют силы. Отчаиваются и поднимаются вновь. Совершают несуразные дикие действия и рядом бросаются на беззаветно-героические поступки.

Загул ничего не ответил: он ещё не делал таких обобщений.

— Непонятное происходит, Дмитрий Юрьевич, — продолжал Панкратьев, старательно обходя болотную грязь и помогая Загулу. — Можно ли сегодняшнего живого, существующего человека сделать только материалом для обеспечения благ будущему человеку, тому, которого ещё нет, который ещё не существует в действительности и поэтому представляет собою фикцию? Это схематизм, это бездушие. Стоило забыть о реальном сегодняшнем человеке, и ленинская политика перешла на этой грани в свою противоположность...

...С первой же статьи Лосев стал в тупик: как он будет писать слово «заключённый»? В быту это слово произносилось как зэк или зэка, а в официальных документах писалось ещё более странно — как дробное число: на месте числителя буква «з», на месте знаменателя буква «к»: з/к, а если не один, то з/к з/к.

— Как, Дмитрий Юрьевич? — улыбаясь, спросил Лосев. Загул подумал, опустил по привычке верхнюю губу, что было признаком замешательства, и вдруг рассмеялся.

— Не будем мы употреблять этого дурацкого слова. Разве не найдутся более правильные?

Так и сделали: на страницы газеты из-под пера Загула и его сотоварищей ни разу не попало это слово. Вместо него появилось, может быть, не самое красивое, но уж никак не оскорбительное: «путеармеец».

22. Всё в жизни относительно

Первый номер открыли вступительной статьёй о задачах газеты. Как это и полагается, уделили внимание производственному плану, — о нём Загул проконсультировался у Панкратьева. Конкретные заметки посвятили упущениям, непорядкам, частным задачам той фаланги, из которой пришёл Дмитрий Юрьевич. Вот всё набрано, и Ахмет хлопнул сыроватый первый номер отделенческой газеты.

Поздно вечером Загул пошёл в контору подписывать номер к печати.

У начальника было заседание. Загул ждал с полчаса, не зная, что предпринять. Большаков случайно увидел его из-за стола и поманил пальцем. Всё приостановилось. Инженеры негромко перешёптывались. Большаков взял газетку, медленно прочитал её с начала и до конца, энергично кивнул головой, схватил перо и подписал.

— Когда будешь носить это для подписи, — кивнув на газету, сурово сказал он Загулу, — не торчи за дверью. Заходи, чем бы я ни был занят. Не дело торчать там, понятно?

— Понятно, — ответил Загул и вышел из кабинета.

Всё в жизни относительно. В «Былом и думах» Герцен привёл яркий тому пример. Осуждённого везут на казнь. Ему не сладко. Но если в сиденье колесницы торчит острый гвоздь, смертник отодвигается и чувствует себя лучше.

Загул чувствовал себя почти счастливым. У него было своё место, свой стол, что-то домашнее, уголок глубоко лич-

ного, сокровенного, чего не было у него в зоне. Там десять-двенадцать часов непривычной физической работы. Здесь он укладывался в восемь. Он мог читать, если было что. А главное — он вольнее дышал, не так близко ощущая проволоку и конвой. Как приятно было в час досуга достать клочок бумаги, перо, и сидеть, высказывая письменно то, чему не было выхода в зоне. Вместе с уютом появились мечты о творчестве, робкие и слабые мечты. Кто будет печатать стихи врага народа? Но он напишет что-то такое значительное, партийное и столь лирическое, что это «что-то» будет хватать за сердце. Он пошлёт это своё творение в журнал без подписи или с подписью «Иванов», и оно само пробьёт себе путь на его страницы.

Панкратьев приходил только поздней ночью и торопливо бросался в постель. Загул поделился с ним этой мыслью. Степан Романович, выслушав, посерьёзnel.

— Все мечтают стать героями. Это та соломинка, за которую хватается утопающий. Но, может быть, не соломинка, а спасательный круг? Дело в одарённости. Но Вишня сидит*, где многие иные? Всё это вы осуществите потом! А теперь могли бы вы в часы досуга заняться переводами. Это проще и не так остро, — осторожно возразил он.

Большаков проявил заботу о техредакторе. Однажды прибежал в вагон дневальный конторы. «Начальник требует! Он сказал, чтоб шёл на станцию».

Загул вышел из вагона и направился на станцию. Ещё издали он увидел грузную фигуру начальника в обычной длинной шинели, в фетровых сапогах. Большаков разговаривал с рабочими депо. Загул почтительно подошёл. Не взглянув на него, Большаков по-деловому бросил: «Поедешь со мной!».

Оказалось, что он совершает поездку по производству на дрезине, и решил взять с собой новичка: пусть смотрит и учится. Ехали по своему пути, по которому не было ещё движения, так как мост ещё только строился. К нему они и подъехали.

Из реки высунулись шесть громадных каменных быков. Сотня людей в бушлатах, телогрейках суеилась на берегу по ту и эту сторону. Там что-то цементируют, тут — сваривают. Начальник медленно обходил объект, останавливался, на ходу давал указания, распоряжения на завтрашний день...

Загул ухватился за такие поездки, — они обеспечивали ему материал для газеты. Он ездил и ходил не только с Боль-

* Вишня Остап (Губенко Павел Михайлович. 1889—1956), известный украинский советский писатель-юморист.

шаковым, но и с Панкратьевым, и с начальником планового отдела, и с главным инженером. И везде схватывал, записывал. И через час после возвращения в контору на столе начальника лежал написанный Загулом проект приказа по отделению, сводка сделанных на трассе замечаний и указаний. Начальство довольно: не надо самому оформлять результаты. А у Загула готов материал для газеты.

С Панкратьевым ездили всякими поездами, и пассажирскими, и товарняком. Кондуктора привыкли к этим безбилетникам и давно махнули на них рукой. Что сделаешь с таким: у него никаких документов, но неприступный вид — я строю эти пути. Я заключённый. Строю не для себя. Ты мне дал денег, чтоб я покупал билет? Для себя я еду, трясусь, мучаюсь? Я для себя строю эти пути? Мне по ним как пассажиру не ездить. Иногда новичок-проводник пассажирского поезда выскакивал на перрон, крикливо жаловался дежурному по станции, встретившему поезд. Тот выслушивал и равнодушно отмахивался: надоело это, неужели ты не понимаешь, что с этим ничего не поделаешь? Некоторые кондуктора входили в положение: конечно, едет не по своей воле и надобности. Опытные узнавали издали и даже не вступали в разговор. Грязный бушлат, телогрейка, неумытое лицо, независимый и озорной вид. Действительно, что сделаешь такому?

23. Пиши, но я буду контролировать

Скоро работа определилась для Загула полностью, он был уже уверен, что справится с нею. Лосев литературно был менее чутким, чем Загул, но он был русским, выросшим в деревне, учительствовавшим на копиях среди рабочих. Загул вносил элемент образности в его статьи, и вся маленькая газета производила впечатление живой, взволнованной, зовущей. Для начала они написали несколько миниатюрных очерков о работе передовой фаланги, которая была создана из одних нацменов. Начальник фаланги Шагиахметов был когда-то членом облисполкома в Алма-Ате. Это и здесь, в лагере, создавало ему административный авторитет у земляков.

В первых же номерах было уделено много внимания фаланге, которой руководила женщина-бытовик. Молодая, бойкая, энергичная, в телогрейке, в шапке-ушанке, в солдатских сапогах, она напоминала тех женщин, которые с винтовками

в руках в гражданскую войну были способны на всё, на что способен солдат-мужчина.

Во втором номере тепло написали об одном из работников КВЧ. При закладке мостового быка оборвался с лодки мотор. В этом месте было глубоко, крутило. Зацепить мотор с лодки долго не удавалось. К мосту приехал обеспокоенный начальник ПТЧ. Приехал на дрезине Большаков, накричал на главного инженера, вовремя не предусмотревшего угрозу аварии. И тут Володя, художник КВЧ из штабной фаланги, парень девятнадцати лет, вызвался нырнуть и зацепить мотор тросом. Большаков одобрил, приказал обеспечить полушубок и сто граммов спирту. Володя разделся, нырнул, зацепил. К тросу привязали крюк с застёжкой, Володю завернули в шубу, влили в него сто граммов и увезли на дрезине в фалангу. Загул красочно описал этот поступок. Получилась яркая, искрящаяся страница. На неё обратили внимание в Свободном.

Загул был удовлетворён собою, своими первыми успехами в новой работе. И вновь воскресли мечты о творчестве.

Однажды Панкратьев сказал:

— Говорят, что в третьей части начальник очень человечный мужик. Я думаю попросить разрешения выписать книжки на французском. Хорошо бы иметь что-нибудь ёмкое и малогабаритное. Мне жена вышлет. И справочник Hütte*.

Загул загорелся. Дома он задумал пятитомное издание избранных произведений Гейне в его, Загула, переводе на украинский язык. Первый, второй и третий тома уже были изданы. Работа над четвёртым и пятым прервалась. Почему бы не продолжить её? Не говорить, что это для переводов. Для чтения.

— Конечно, — поддержал его Панкратьев. — Сходим сегодня, попытаемся. Чего мы теряем?

— Но мне нужен Гейне! Откуда я его возьму?

— Так ведь Гейне не изъят! Выпишите. С согласия третьей части.

Вечером они пошли в третью часть, предварительно обсудив, с чего начать просьбу и как её изложить.

Третья часть занимала небольшой отдельный особняк. Интерьер был полуучрежденческий, полудомашний, со следами

* Hütte. Справочник для инженеров, техников и студентов. Один из лучших в мировой литературе инженерно-технических справочников, изданный в Германии в 1857 г. Переиздавался десятки раз, был весьма популярен в России и СССР. В 1933 г. на русском языке было выпущено пятнадцатое (!) издание.

захламлённости, запущенности — сказывалось отсутствие женской руки. Стол заставлен грязной посудой, койки не заправлены, под одной из них стояла самодельная электроплитка, неуклюже оцетинившаяся спиралью и проводами.

Их встретил крупный человек в очках, в зелёной гимнастёрке. Он удивлённо посмотрел на заключённых, прошёл за стол, плотно приставленный к стене, сел, отставил чайник, кружки, раздвинул бумаги и спросил:

— Заключённые?

— Заключённые.

— Фамилии? Статьи? Что вам надо здесь?

Первым изложил свою просьбу Панкратьев. Он работает в ПТЧ, инженер, выполняет важные задания, желает технически подковаться для пользы дела. Нужны технические руководства. Жена может купить книжки и выслать. Просит разрешения написать жене, чтобы она выслала ему самоучитель французского языка и две книги на немецком.

— Твоя статья?

— 58-я.

— У тебя тоже? — обратился он к Загулу. — Где работаешь?

— Да, 58-я. Работаю в газете.

— Как же тебе разрешают работать в газете? — уполномоченный задумался, и, помедлив, спросил Загула:

— А у тебя что?

Загул изложил свою просьбу. Он хотел было сказать: «Красное и чёрное», но, побоявшись напугать уполномоченного, ограничился малым.

— Хорошо! — неожиданно согласился уполномоченный. — Разрешаю. Похвально, что вы обратились ко мне. Правильный ход! Как ваши фамилии?

Загул и Панкратьев назвали себя.

— Загул? Это у тебя стащили книжки в зоне?

— Да.

— Твои собственные?

— Да.

— Вали! Выписывай. Разрешаю.

У Загула закружилась голова. А можно ли выписать рукопись? Он желает быть полезным...

— Давай! Разрешаю! Пиши, но я буду контролировать.

На другой день Панкратьев и Загул написали домой письма, отправили их необычным образом — через третью часть. Загул, поддавшись приливу доверия, выписал и поэму, ничего не сказав об этом Панкратьеву.

24. Панкратьев

Никто так не привлекал к себе Загула, как Панкратьев. Дмитрия Юрьевича неодолимо тянуло к нему. Но видеться с ним почти не удавалось. Степан Романович засиживался в конторе до часу-двух. Приходилось удивляться — когда он спал.

Неутомимый Панкратьев часто объезжал объекты строительства. З/к говорили, что эти объезды были более полезны стройке, чем объезды Большакова и начальника ПТЧ, ибо у тех не было такой дружеской смычки с рабочими, и они видели только те недостатки, которые лежали на поверхности.

Однажды Панкратьев возвращался из командировки ночью, на товарняке, на открытой платформе, сидя на застывшем железе. Товарняк шёл долго, часто останавливаясь. У Панкратьева заболела поясница. Радикулит? Но он не даёт температуры, а у Степана Романовича она поднялась. Начались головные боли. Жене не пишет, лекарств у неё не просит, доктора не беспокоит. Загул в течение трёх дней болезни Панкратьева по несколько часов просиживал около его постели.

За это время он очень близко узнал этого всеми уважаемого человека, узнал и некоторые подробности его лагерной жизни.

Оказалось, что Панкратьев давний лагерник, он сел ещё в 1931 году. Был в политизоляторе на Кежме*, но какая-то сила вызволила его оттуда.

«Хотели навсегда поселить тебя на Соловках, да нос твой не дорос», — сказал ему следователь. Попал в обычный исправительно-трудовой лагерь. Потом был в ЛУРе — лагере усиленного режима на Воркуте, и снова попал в обычный, видимо, судьба благоприятствовала этому человеку в малом, повернувшись спиной к нему в большом.

Всегда что-то сердечное присоединялось к его словам, излучалось из его высказываний. Целостность мужественного характера, ясность взглядов и уверенность, какая-то убеждённость в конечной правоте жизни, в мудрости истории, обнажающей прошлое и освобождающей истину от мусора, подкупали всех, кто его знал.

Жена в момент краткого свидания в тюрьме накануне отправки в этап спросила осторожно, очень-очень мягко, чтобы

* Кежма — село в Красноярском крае на берегу Ангары, один из крупных и старейших лагерей системы ГУЛАГа.

не обидеть: скажи, Стёпа, было хоть что-нибудь или не было? Он посмотрел ей в глаза и ответил: не было! — Ну и всё! Ну и конечно! — заторопилась Таня. Степан Романович не обиделся на вопрос жены. Если она верила в советскую власть, в партию, она должна была так спросить, чтобы не сомневаться в нём, чтобы не раздваиваться, чтоб мучиться меньше.

В Москве у Панкратьева жил брат, старый большевик, член партии с 1907 года. Он тоже не поверил, получив телеграмму Тани. Спешно выехал в Томск, получив командировку по линии Общества политкаторжан, но Панкратьева уже не застал, того увезли этапом. Он написал уже из Москвы.

«Дорогой Степан! Напиши мне, что произошло. Я всё же верю в тебя. Буду хлопотать, постараюсь добиться приёма у Калинина, у Сталина. Надеюсь, что ты не подведёшь меня: я верю в твою честность, в твою преданность нашим идеалам. Что произошло? Неужели я ошибся в тебе?»

Панкратьев, получив письмо, перепугался за брата. «Они там знают подоплёку всех этих событий менее, чем мы, которые попали на эту сторону», — говорил он товарищам. Недоверие, сквозившее в письме, обижало. Но он подавил его в себе. «Не хлопочи, умоляю. Ничего не предпринимай, — написал он. — Береги свою честь, свой партбилет незапятнанными». Степан знал, что брат ничего не поймёт из этого предупреждения, может быть, сочтёт его признанием вины, будет дурно думать о нём, но именно по этой причине возбуждать дела не станет. Степан этого и добивался. Потом выяснилось, что брат всё-таки написал обо всём Кагановичу, но никаких результатов за этим не последовало...

25. Воровство — статья благородная

Наборщик готовил гранки. Загул и Лосев сидели в ожидании в редакционной комнате, когда Дмитрий Юрьевич увидел в окно ту самую смуглую черноволосую женщину, которую встретил в памятный день в кабинете Большакова. Дина Гедальевна, — вспомнил он.

Женщина шла поперёк путей по направлению к вагону редакции, вглядываясь в этот отдалённый вагон, видимо, не совсем уверенная, что правильно идёт. Она была одета всё так же: тяжёлые, грубоватые для женщины ботинки, лёгкая ватная телогрейка и шапка-ушанка, из-под которой тёмной синевою выглядывали волосы.

К двери вагона приставлялась специальная лестница, которую убирали внутрь, так как вагон во время манёвров часто катали по всем путям в пределах станции.

Загул широко распахнул дверь, выдвинул лестницу, зацепил её крючками за порожек вагона.

— Вы к нам?

— Да, — с улыбкой ответила она.

— Трап подан, — пошутил Загул.

Женщина вошла в вагон. Загул пригласил её в половину, занятую редакцией, предложил сесть на табурет и стал ждать, что скажет эта Дина Гедальевна. Он ещё раз отметил про себя проявление какого-то несоответствия — бледно-голубых глаз под чёрными бровями и ресницами на смуглом лице под иссиня-чёрными волосами.

Загул к тому времени уже знал, что Дина Гедальевна Сабольчи работает в КВЧ. Она вольная, член партии. На должности работницы женотдела, раньше таких называли жен-делегатками. Главное внимание в работе уделяет женским фалангам, но по своей энергии и любознательности не может пройти мимо всего, что волнует впечатлительных людей.

В комнату редакции с гранками вошёл Кашин.

Дина Гедальевна с необычайным, возбуждающих всех любопытством расспросила, кто и в качестве кого работает, осмотрела наборный цех, кассы со шрифтами, потрогала рукой печатный станок, попыталась прочесть свежий набор, связанный жгутом, и вернулась в редакцию. Она приветливо улыбалась, чувствовалось, что она нисколько не стеснена в своих действиях: привыкла быть среди заключённых.

— Кому вы непосредственно подчинены? — спросила она у Загула.

— Не знаю, — простодушно ответил Дмитрий Юрьевич.

— Зайцев даёт вам какие-либо указания?

— Пока нет.

Дина Гедальевна улыбнулась про себя: теперь она знала, чем обижен был ревнивый и самолюбивый начальник КВЧ.

— Знаете, была я сегодня в УРЧ, — заговорила она, взглядывая то на Загула, то на Лосева, то на Кашина. — Какие потрясающие можно увидеть картины! Я говорю про развод. Разделся, догола разделся! Я говорю про одного заключённого. Отказчик он. Это что же, я так поняла, на работу, видимо, не хочет идти. Но какой же он несчастный! Понимаете, плачет, как волк. Прямо-таки воет. По-волчьи воет. Упал на мёрз-

лую землю. Катается по ней. Голый! Страшный! Вы извините: сопли у него из носу! Господи, до чего может опуститься человек. А я вот понимаю его. Он мне несимпатичен, но у меня сердце зашло от жалости. Вы представляете: ведь его все презирают. Нет ни у кого кругом ни капли уважения к нему. Или любви. Да господи, какая уж тут любовь! Гадливость на лице у всех. Или смех, такой оскорбительный и убийственно равнодушный. И я понимаю... Если б я оказалась в таком же положении... Унижена — дальше некуда. Тогда захочется опуститься ещё ниже, стать ещё более страшной. Нате вам, презирайте меня, я буду ещё гаже, ещё противнее, плюйте на меня! Вы смеётесь над человеком, и я смеюсь над ним, и я издеваюсь над ним, мне это больно, но в этом тонет моя боль. Понимаете? Думаю, что у него вот так. Что-то такое, в общем. Я даже там, в УРЧ, заплакала.

Дина Гедальевна торопливо достала платок, вытерла глаза, высморкалась и засмеялась.

— Охранника удивила слезами. Он так и не понял, над чем я. Привык, смеётся, и ни капли сострадания. «Вот психу закатил. Ничего, замёрзнешь — сам оденешься».

— Куда же он? Оделся?

— Так ведь нет, так и не оделся! Так голого и в кандей повели. Я своему Артуру рассказала. Говорит: брось ты эту работу. Только нервы треплешь.

— С ними иначе нельзя, — сказал Кашин. — Блатной. Блатные все не хотят работать. За что же их кормить? Лагерь-лагерь, а что, хлеб колхозник должен для него выращивать? За какие же это прелести? На воле он тебя обворовывает, и тут ты его жалеешь да задарма корми!

— Надо их воспитывать. Я думаю, если б душевно подойти к нему...

— Не понимают душевного. Грубые чувства, — сказал Лосев. — Вот Загул пригреб одного блатного пацана, а он обворовал его. Самое дорогое выкрал — книги, книги у писателя, труд всей его жизни.

Дина Гедальевна смешалась, покраснела.

— Давайте проведём опыт. На пробу. Я за тем и пришла. Возьмите одного мальчишку на перевоспитание. Учеником в наборный цех. Пусть учится. Я с Александром Петровичем переговорила, и с Зайцевым тоже. Дело теперь только за вами, Загул. Как вы?

— Что ж, я согласен. Пусть учится. Он что, тоже будет расконвоирован?

— А как же. Конечно, это риск. Это уж, я думаю, на ответственности всех. Ночевать-то он будет в зону ходить, так Александр Петрович распорядился. На первый случай, так он сказал, а там видно будет.

— Хорошо, Дина Гедальевна, я согласен.

— Тогда завтра утром он выйдет к вам. Его фамилия Сбитнев, Николай Сбитнев.

— Карманник? Колька? Так я же знаю его. Это тот самый малец, который меня обворовал.

— Он ещё подросток, Загул. О таких мы обязаны заботиться. Обязаны. Мы можем сделать так, что такие станут лучше. А что с ним, как это случилось?

Загул рассказал всё, что знал о Кольке. Дина Гедальевна сделала большие глаза и хитренько рассмеялась.

— Знаете, он так вас уважает, так уважает! Ведь это вы сочинили «Червона Армія іде!», до него это дошло и так пронизало, насквозь пронизало. Вы такой душевный человек, а он песни у вас украл. Песню украл на курево! Нет, он это прочувствовал! Не знаю, как вы, а я ему верю. И вы поверьте, прошу вас. Не мстите ему.

— Будьте спокойны, Дина Гедальевна. Я не расположен мстить. За что мстить? К тому же у меня хороший день: мне самому поверили.

И Дмитрий Юрьевич, подчиняясь какому-то хорошему чувству, рассказал ей, что ему самому во многом доверили, рассказал и о радужных планах на будущее.

— Замечательно! — сочувственно воскликнула Дина Гедальевна. — Всё понемногу обойдётся. Всё будет хорошо. Если моя помощь нужна, хоть в чём-нибудь нужна, я — пожалуйста.

На другой день утром пришёл Колька. Он был доволен. Загул искал смущения на его лице, и ему показалось, что такое смущение, чувство неловкости есть. Колька поздоровался за руку, получилось это у него развязно.

— Дядя Митя, — неуклюже и хрипло произнёс он, поддельваясь под воображаемого примерного мальчика, — вы меня за прошлое извините. Это по дурости. А теперь... Я буду стараться. Я очень хочу печатать.

— Вот твой непосредственный учитель и начальник, — ответил Загул, показывая на Кашина. — Будешь примерным учеником и хорошим человеком — всё будет прекрасно.

Колька, осмотревшись, ушёл в «наборный цех». Походка у него развинченная, вихлявая. У него пухлый, отвислый зад, движения развалистые. Кашин недоволен: ему нужен юркий мальчишка.

После обеда Лосев неожиданно достал из-за пазухи толстую тетрадь и положил её на стол под нос Дмитрию Юрьевичу. Загул вопросительно взглянул на товарища.

— Повесть. Один лекпом написал повесть. Просит посмотреть и сказать, хорошо ли и куда послать.

— Вы читали?

— Читал.

У Загула перехватило дыхание. Вот оно! Энергичные люди едят. Работают. Не киснут, не сдаются. Идущий одолеет всякую дорогу, и придёт куда надо. При всяких условиях.

— Пристал ко мне, — продолжал Лосев, — просит высказать мнение. Я постеснялся. Сказать, что дрянь — обидится. Парень старался.

Загул полистал рукопись. На титульном листе тщательно выведено: «Сергей Плаксин. Роковая ошибка. Повесть». Написано чернилами на развёрнутых листах ученических тетрадок. Не совсем грамотно, но старательно. Около трёхсот листов.

— Посоветуйте, Дмитрий Юрьевич, что сказать ему. Не художественная вещь. Это исповедь убийцы, строго автобиографическое повествование. Автор сошёлся с женщиной. Не полюбил, а именно сошёлся. Потом сошёлся с другой. Эта другая решила убрать соперницу, автор присоединился к ней: первая и ему мешала. Вот они пригласили её выпить. Выехали за город. Убили её, спрятали труп под хворост и вернулись в город. Хотели ночью перенести труп и спустить в реку. Подруга струсилась, сдала, не смогла поехать на это «мероприятие». Автор с протокольной точностью рассказывает, как он перетаскивал труп, как привязал за шею камень и спустил в прорубь. Прошла зима, весной труп всплыл. По какой-то бумажке опознали утопленницу. Автор выдержал допрос, а подруга раскололась. Вот и всё. Написано сухо, с подтекстом сожаления, что не сумели спрятать следы. Для следователей рукопись, может быть, пригодилась бы как человеческий документ. А вот для меня, читателя, — чепуха. Никакого интереса не представляет.

Загул уже разочаровался в повести и положил её в стол.

— Я прочитаю всё-таки, — сказал он. — А где работает этот Сергей Плаксин?

— Он лекпом в женской фаланге. Его там зовут Валетом.

Загул вспомнил этого Валета, вспомнил наглое лицо повесы, хулигана. Неужто он и в самом деле фельдшер? Если нет, то как же доктор его не раскусил? Он снова достал рукопись, ещё раз раскрыл её, полистал.

«Мороз был крепкий, руки отчаянно мёрзли. Да и устал я, тащивши Катю».

«Тащивши»... Почему же он медик? Туфта. Кругом туфта!

И вдруг заболело сердце. Казалось бы, ни с того ни с сего пришло в голову, что зря он сегодня поддался на ласковые слова. Доверил свою последнюю рукопись, ещё более милую ему, чем погибшие книги, милую потому, что это незаконченный труд, доверил свою рукопись, которая, конечно, погибнет здесь без следа. Никто не сможет использовать её после его смерти, ибо она не закончена, и никто не сможет сказать, что он хотел выразить в этом творении.

Есть ещё выход: подать через Семёна Ивановича телеграмму домой, сказать, чтобы рукопись не высылали.

Вечером, подписав у Большакова номер, Загул отправился в зону, чтобы встретиться с Семёном Ивановичем.

Каблуков и Воронин встретили Загула восторженными восклицаниями. Особенно обрадовался Алексей. Загорелое лицо его, чуть пухлые малиновые губы блестели, будто смазанные маслом.

— Поправляешься? Я доволен, что тебе на пользу, что ты такой, — сказал ему Загул.

— Мама была бы рада, — ответил, улыбаясь, Каблуков. Про себя он подумал и о Соне, но не сказал о ней вслух. — Поправляюсь и исправляюсь.

— Ругаться перестал, — подтвердил Воронин.

— Твоя проповедь пошла впрок. Ругаюсь, но вполне культурно, только химическими формулами, я вам говорил. Нравится?

— Тоже не нравится, — отверг Загул. — Искусственность, нет искренности, а брань без искренности противна. Пошлость выпирает наружу в твоих «ангидрид твою перекись марганца».

— Ты ему не угодишь! — воскликнул Воронин. — Это богугодный человек.

— Можете поздравить нашего Воронина: в гору пошёл, — сообщил Каблуков.

Загул вопросительно посмотрел на него.

— Бригадир! Теперь «Антон Демьянович»!

— А куда девался Авдюшкин?

— Авдюшкин, он же Сидоров и ещё кто-то, снят. Но так привык к власти, что рядовым работать не желает, и потому отказчик.

— Не он ли это раздевался позавчера на разводе?

— Он самый! Не может примириться с потерей власти. 58-я его не принимает, а для блатных он волк с верёвкой на шее.

Сколько ложного честолюбия в человеке, какие жертвы он приносит этому богу! А вот с Семёном действительно худо.

Оказывается, Семён Иванович со вчерашнего дня лёг после работы и больше уже не вставал.

— Хандрит Семён Иванович, — с грустью заметил Каблуков.

Загул забыл уже о телеграмме. Семёна Ивановича, такого простого, такого отзывчивого, трудолюбивого, он полюбил за это время. Он решил поговорить с ним, если удастся.

Он подошёл к тому месту на нарах, где, накрывшись с головой бушлатом и телогрейкой, лежал, не двигаясь, Семён Иванович.

— Семён Иванович, — тихонько сказал Загул. — Вы извините меня. Я очень хочу, чтобы вы не болели. Что с вами?

Семён Иванович выглянул из-под бушлата, и, узнав, что перед ним Загул, торопливо поднялся и сел. Лицо его было измято, опухшие глаза тоскливо прятались, взгляд был усталым, безразличным. Он молчал.

Загул повторил вопрос.

— Чёрт его знает, — конфузливо объяснил Семён Иванович. — Ничего нигде не болит, а неможется, как будто весь мой агрегат выключили из сети. У меня бывает так. Пройдёт.

— У доктора были?

— А что доктор? — Семён Иванович безнадёжно махнул рукой. — У меня такая болезнь, что медицина лекарств не знает.

Загул из уважения не стал расспрашивать. Поговорили о работе депо. Загул рассказал о себе. Расставаясь, Дмитрий Юрьевич ощущал какую-то неловкость: не то все эти разговоры, вопросы! Совсем не то, что мучает Семёна Ивановича. А что его мучает? В душу не полезешь...

...Когда Загул зашёл в амбулаторию, там шёл приём. Заключённые по очереди наскоро снимали рубашки и жаловались на болезни. Некоторые только просили лекарств, даже не заикаясь об освобождении от работы. Главным лекарством служил рыбий жир. Загул заживление своей ноги тоже приписывал этой панацее, назначаемой ему этим же доктором вот уже три дня подряд.

Доктор беспрерывно произносил: «*Oleum Iecoris*», а его помощник столь же беспрерывно наливал этот «олеум» в маленький стаканчик и либо давал больному выпить, либо ваткой, окунутой в жир, смазывал порезы, царапины и ушибы на руках заключённых.

Когда приём закончился, доктор достал из кармана грязноватый марлевый платок и устало вытер им вспотевший лоб. Он уже знал Загула, встречался с ним в приёмной начальника, а может быть, помнил и как пациента.

Загул спросил, не знает ли доктор, чем болеет з/к Роме-нец, деповский слесарь.

— Семён? Хороший слесарь и отличный человек. Знаю, конечно, знаю. Эта болезнь его — лагерная болезнь. Тоска это, товарищ. Смертельная тоска. Очередной приступ. Ипохондрия. Это у него не первый раз. От безнадёжности.

— Знаете, как мы можем вылечить его? — обратился он вдруг к Загулу каким-то другим, очень домашним тёплым голосом. — Мы подготовим ему витамины бодрости. Согласны сделать маленькую невинную подделку под истину? В бригаде бетонщиков есть земляк Семёна Ивановича. Напишем этому земляку фиктивное письмо. Согласны?

Загул, ничего не понимая, улыбнулся и пожал плечами.

— Васенька! — крикнул доктор своему помощнику. — Позови, пожалуйста, сюда Коркина. Из бригады бетонщиков. Пусть придёт.

Пока Вася ходил за Коркиным, доктор изложил Загулу свой план.

Пришёл Коркин, почтительно снял шапку ещё у дверей, стоял тихий, терпеливо ожидающий.

— Проходи, проходи! — пригласил его доктор. — Ты знаешь, земляк-то твой снова захандрил. Лежит.

— Знаю, виделся с ним.

— Опять тоска у него. Письма получает?

— Не стала что-то писать баба, — оживился Коркин. — Уже с полгода ничего ему не пишет.

— Ну а твоя-то ведь в том же городе живёт?

— В том же. Да ведь далеко. И не водятся они.

— Ну, ты вот что. Вот товарищ Загул напишет тебе маленькое письмо. Понимаешь? Будто это твоя жена тебе пишет. Понятно тебе, в чём штука? Будто видела она её в магазине...

— Лучше — на базаре, — поддержал Коркин.

— Ну и всё, — прервал объяснения доктор. — Пишите! — попросил он Загула.

Загул написал несколько слов, под диктовку Коркина добавил ещё немного конкретных фраз, а дальше вставил: «... во вторник или в среду на этой неделе видела на базаре жену твоего Семёна Ивановича. Разговаривать не пришлось, но, видать, здорова, похудела только, торопилась, да и мне было некогда. Так и не поговорили ни о чём».

— Замечательно! — одобрил доктор. — Вот и покажи Семёну Ивановичу. Так покажи, между прочим.

Коркин засмеялся и понимающе кивнул головой.

Загул почувствовал уважение к старику доктору. Совсем в новом свете предстал перед ним этот шепелявый, глуховатый, трясущийся человек.

— Да! — вспомнил Загул. — Валет работает у вас? Он действительно медик?

— Видите ли, — заметил он. — У него отец то ли врач, то ли фельдшер. Валет краем уха нахватал кое-чего по медицине. Знает французский и немецкий, кое-что из латыни. Пока работает, других-то у меня нет. Нет медиков. Говорят, что они заказаны, но пока нет.

Загул рассказал, что Валет принёс ему повесть.

— Какая у него статья?

— 116-я, он вор по статье.

— Что-то это не вяжется с вашим рассказом.

Доктор взгляделся в Загула.

— Вы давно в лагере? Молодой арестант живуч. Как у Толстого. Представьте, попадает студент по 58-й. Сближается с блатными своего возраста, узнаёт их биографии, их дела. А потом бежит, попадаетсся, и объявляет себя тем, другим, с хорошей, благородной статьёй. Ему теперь в лагере легче, он же не враг народа, а друг.

Загул вдруг вспомнил Воронина. Вот кандидат. Этот делает так же.

— Повесть может быть куском биографии какого-нибудь товарища по лагерю. А мой Валет... Проводилась инвентаризация горючего. Счетоводы и бухгалтер насчитали недостачу. Второй срок кладовщику! И вот мой Валет стал, так сказать, адвокатом, и доказал, что недостачи нет. Одна из цистерн была цилиндрической, но с конусным носом, как ракета. И с выпуклым дном. И стояла не горизонтально. А как считал бухгалтер? Отвесом с гирькой определил уровень бензина. Но ведь цистерна не цилиндр! Довольно сложные вычисления. Бухгалтерия не согласилась с Валетом. Так он сделал макет цистерны. В масштабе. Налил воды и доказал свою правоту. Он Валет, но валет козырной! Я доволен им... И меня слушает. Больше ничего не требуется.

— А больные? Им легче от всего этого?

— Выздоровливают!

...Из конторы вышли двое служащих. Загул остановился, подождал, узнав в одном Панкратьева. Пошли вместе, с трудом выбирая на чёрной грязной тропе площадки, куда можно

поставить ноги. Загул рассказал о витаминах доктора Афонина.

— Он прав. Уверен, что именно такие витамины и помогают. Проверено. По себе знаю их целебное действие. — Панкратьев, вообще сдержанный, с Загулом говорил откровенно и часто высказывался до дна.

Он рассказал, как выгнали его жену из средней школы, где она преподавала литературу. Она полтора года ходила по разным учреждениям в поисках работы. Отказывали не сразу, а только узнав, что она по специальности учительница. Администраторы пугливо понимали всё и отказывали, подыскивая первые попавшиеся причины.

— Полтора года она мыла полы. Сосед по квартире, преподаватель института, шепнул ей однажды, что есть для неё возможность определиться лаборанткой по выпечке пробных булочек в мукомольно-элеваторном институте*. «Только не говорите, что просите эту должность по моему совету, а сошлитесь на объявление в газете, оно завтра появится». Приняли её лаборантом. На её счастье, сформировали в институте группу корейцев. Три преподавателя русского языка по очереди начинали заниматься с этой группой, и все отказались. Предложили моей Татьяне. Она, конечно, с радостью. Душу вложила. И корейцы, тридцать человек, стремились одолеть русский. Занимались с семи утра. Но зато Татьяна договорилась с директором, чтобы корейцам разрешили в субботу заканчивать занятия пораньше. Группа ходила на разгрузку барж, этим зарабатывали себе на прожитие в дополнение к стипендии. Корейская группа — двадцать девять юношей и одна девушка — одолели русскую грамоту. Сколько было радости, торжества, гордости!

Однажды пришла Татьяна слишком рано в институт. Ещё не было ни одного её ученика. На стене увидела свежую стенную газету. Подошли, и вдруг глаз схватил фамилию — Панкратьева. Так сразу и села на диван. Испуг и горькие мысли ударили в голову. Вот оно! Наверное, обсуждается, как это она, жена врага народа, пробралась в чистые ряды советских педагогов высшей школы. Посидела так, собрала все свои силы и осмелилась ещё раз взглянуть на газету.

Оказалось, что писали корейцы. Безудержно расхваливали свою учительницу за самоотверженный труд, за бескорыстную дружескую помощь, за педагогический талант.

* Так в довоенные годы и сразу после войны именовался нынешний строительный университет.

Сначала было радостно, а потом снова стало страшно. Что они наделали! Зачем они коснулись столь щекотливой темы? Теперь все обратят на неё внимание и обнаружат ошибку.

Но этим не кончилось. До Татьяны дошли слухи, что будут премии лучшим педагогам. Настал день торжественного заседания работников института. Вот и конец официальной части. Объявляется, кого и чем премируют. Подарки, премии, грамоты. Моей жены нет в списке награждённых! Снова переживания. В перерыве между официальной частью и концертом самодеятельности Татьяне на ухо сообщают, что дирекция выделила ей тридцать килограммов муки. Роскошь, богатство! Но Таня — в слёзы. Жгучая обида. Она такая, что стыдно допускать её за общий стол торжества.

— Дура ты, Татьяна Михайловна, — сказала одна из коллег, — меня наградили какой-то грамотой, а ведь тебя мукой! Неужели тебе было бы приятнее, чтоб тебя наградили так, как меня? Я бы охотно поменяла свою грамоту на твои два пуда.

Все рассмеялись, но Татьяне смешно не было.

Своё письмо ко мне Таня закончила незабываемыми для меня словами: «Я часто думаю, Стёпа, с тоскою думаю, неужели никто-никто и никогда-никогда не восстановит нашу правду? Неужели так и останемся мы навеки униженными, отвергнутыми, презренными, такими и сгинем в памяти родных и друзей, в памяти нашего народа? Придёт ли когда-нибудь такое счастливое время, когда люди глубоко прочувствуют наши переживания? Доживём ли мы до этого? Если б дожить! Как хочется!».

И снится Панкратьеву родной Томск, его тополя на студенческих улицах, молодой смех в университетской роще...

26. Ловкость рук, а вы мне не верите

Наборщик Александр Акимович Кашин был расстроен. Загул сразу заметил это по его возбуждённому виду и вздрагивавшим рукам.

— Дмитрий Юрьевич! — нетерпеливо встретил он Загула и негодуяще посмотрел на Кольку. — Я обязан доложить вам. Вот этот мой подручный, этот мой ученик Николай Сбитнев, уж я буду по фамилии, сейчас скажет мне, что я... что я стучу. Вы скажите: отвечаю я за него, Дмитрий Юрьевич?

— Отвечаете, он ваш ученик. Но в чём дело?

— Вы замечали, что он бежит на станцию? Когда бежит? Как пассажирский поезд, так он и бежит туда. Он говорил вам, что за калачом бежит, шаньгу купить. А откуда у него деньги, вы спросите. Так вот я вам скажу, что он по карманам шариться бежит.

Загул посмотрел на Кольку. Тот сделал плаксивое лицо.

— Мы отвечаем за тебя, Николай, — сказал Загул. — Поймают тебя на краже — это будет позор для всех нас, а особенно — мне позор и Александру Акимовичу. Для меня это будет, будто не тебя, а меня поймали. Бегай за калачом тогда, когда пассажирского поезда нет.

— Дмитрий Юрьевич! Так ведь тогда пассажиров нет, вот и торговки нет!

— Я не хочу, чтобы ты попался.

— Не поймают, Дмитрий Юрьевич!

— Да какой ты карманник! Растяпа! И не в этом дело. Я не хочу, чтобы в редакции были воры. Нравится тебе у нас — живи, но под позор нас не подводи. Не нравится тебе это — скажи по-честному. Пусть Дина Гедальевна другое место тебе подберёт. Если заслуживаешь...

Колька промолчал, вздохнул, и все разошлись.

...Бабенко был немного постарше Кольки; такое же лукаво-озорное лицо, такое же удивляющее легкомыслие. Первое впечатление — хитренький шалопай, пустобрёх, пустой малый. Недаром Зайцев так стремился отделаться от него. Загул без особого интереса и уважения относился к нему. Но кое-что всё-таки нравилось Дмитрию Юрьевичу в этом парне: независимость, иногда довольно здравые суждения и умение приспособиться к разным условиям. У него была бытовая статья — растрата. С такой статьёй и с полным средним образованием он мог рассчитывать на многое, если бы не был ленив. Теперь он числился фотографом, то есть фактически не имел никакой работы.

Он слышал разговор с Колькой и тоже пожелал высказаться.

— Хочу вам, Дмитрий Юрьевич, напомнить Крылова: «Вору дай хоть миллион, он воровать не перестанет». А вы к тому же не даёте Николаю не только миллиона, а рубля на тот калач, за которым он каждый день бежит.

— Насчёт Крылова, — недовольно заметил Загул, — так он в этом деле для меня не авторитет.

— Да я тоже воров не люблю. У меня, Дмитрий Юрьевич, вот такое событие. Прислали мне в посылке зубную пасту. Щёточку. Всё как в аптеке. Пахучая паста. И вот замечаю: кто-

то пользуется кроме меня. И щёткой, и пастой. Вот сволочь, думаю. Прометил, убедился: пользуется, сволочуга, когда меня нет. Думаю, я тебя, подлюга, проучу. Сходил к доктору, попросил заразы какой-нибудь, чтобы язык разворотило, губы коростой покрылись. Не дал: трус этот эскулап. Тогда я к Валету. И вот он дал мне какой-то состав вроде киселя. Тюбиком я пожертвовал. Наполнил этим киселём тюбик и положил. Пусть попользуется, дружок...

— Дмитрий Юрьевич! — слышался из-за двух заборков голос Кольки. — Можно на минуточку?

— Зачем тебе? — недовольно шикнул на Кольку Кашин. Загул поднялся и пошёл в наборный цех.

— Посмотрите гранку! — взмахнув ею перед лицом Загула, крикнул Колька. — Посмотрите, и я стану править набор.

Загул вернулся к своему столу и начал поправлять гранку. Прошло минут пять.

— Дмитрий Юрьевич! — снова раздался голос Кольки, на этот раз в прихожей. Он вошёл в редакционную и остановился в дверях. В поднятой руке он держал стопочку бумаг, гребёнку и карандаш. — Вот это не ваше имущество?

Бабенко и Лосев недоуменно глядели на Кольку, чувствуя что-то необыкновенно торжественное в его срывающемся голосе. Обернулся и Загул, взгляделся в гребёнку, ощупал наружный карман пиджака и растерянно протянул руку.

— Это моё, но где ты это взял?

— Это я, по-вашему, растяпа, взял из вашего кармана. Ловкость рук, а вы мне не верите.

Бабенко и Лосев расхохотались. Пришёл хмурый Кашин, разобрался, в чём дело, и тоже рассмеялся. Загул улыбнулся, и, придвинув к себе очередные корреспонденции, сказал:

— Ещё раз говорю тебе: забудь об этой ловкости.

— Забуду, Дмитрий Юрьевич, — тихо ответил сникший Колька. И что-то хорошее, успокаивающее слышалось в голосе этого малолетнего человека, живущего оторванно, за чертой, среди чужих и суровых.

— Ты слышал, что твой Кобра докатился до отказчика?

— Что мне Кобра? — огрызнулся Колька. — Его Каблуков под нары загнал. А он скушал. Разве настоящий жулик вытерпел бы это? Вот Каблукова я уважаю. Он сильнее Авдюшкина и не хвастается. И храбрее. Он настоящий, а не как-нибудь. — И, чуть помолчав, спросил:

— А я могу научиться в газету писать?

— Можешь. Надо учиться русскому языку. Хочешь?

— Хочу. Я хочу стихи писать.

— Стихи потом. Пиши сначала корреспонденции. — Загула радовала эта перемена в устремлениях подопечного.

Пришла Дина Гедальевна, позвала Загула проводить её, и, пока они шли через пути до станции, сообщила, что намерена прислать ему на выучку ещё одного человека — Катю, девушку, почти подростка. Она попала в лагерь вместе с сестрой. Сестра осуждена за проституцию и воровство. Похоже, что в кражах участвовала и младшая сестрёнка. Теперь сестёр решили разделить: старшая и в лагере дурно влияет на младшую. Она уже испорченный человек. Добивалась, чтобы определили её в хлебопекарню, думала, видимо, там бражку варить. Но врач обнаружил, что она венерик. Её отправляют во второе отделение. Младшая пока остаётся здесь.

— Надо устроить девушку, — пояснила Дина Гедальевна Загулу. — Посадила её в КВЧ, но там ничего не получилось. Она красивая, и в КВЧ идут под разными предложениями, лишь бы посмотреть на неё. Я на вас надеюсь, Дмитрий Юрьевич, вы не отказывайтесь. Лосев у вас серьёзный педагог, Кашин солидный, никаких ухаживаний не позволит. Про татарина вашего я уж не говорю. А Кольку или Бабенко, если заметим, отчислим. Так приведу завтра, Дмитрий Юрьевич? Жалко девушку.

27. Ещё один ученик?

Утром они пришли вдвоём. Загул увидел их ещё в окно. Девушка была в телогрейке, в ушанке, ростом выше Дины Гедальевны. Да, она и в самом деле была необычайно красивой. Может быть, его глаза отвыкли от женского своеобразия, от того, не всегда уловимого, что составляет внешнюю особенность женской половины человечества. Загул поймал себя на том, что ему приятно было наблюдать особенные краски юного женского лица, особенный его трепет, блеск молодых чистых девичьих глаз. В этом созерцании было что-то поэтическое, радующее его впечатлительную душу.

— Ещё один ученик? — обеспокоился Кашин и вопросительно посмотрел на техредактора. — Если бы хоть парнишка! — Он был недоволен: попадёшь тут в непонятное с этой девкой.

— Не робейте, Александр Акимович! — бросила ему Дина Гедальевна.

Загул примиряюще пожал плечами:

— Что сделаешь, товарищи, радоваться надо, что доверяют.

Старшая из спутниц ушла, а Катя осталась — черноглазая, с длинными ресницами, с каким-то нежным профилем и чарующей улыбкой.

— Давай запишем тебя, Катя, — сказал Загул и пригласил её в комнату редакции.

Катя по-хозяйски сняла и повесила на гвоздь телогрейку, затолкнула в рукав ушанку, встряхнула головой. Все движения её были грациозны, вызывая в Загуле радость.

— Садись, — пригласил он её и показал на ящик из-под консервов.

Катя села, поправила волосы.

— Зовут Екатериной, а фамилия?

— Фамилия? — она явно затруднялась. — Солнцева фамилия.

— Замечательная фамилия! А отчество? Как отца зовут?

— Нету отца.

— Но был! Как его звали?

Катя опять затруднилась.

— Семёном.

Голос у Кати неожиданно оказался грубым, хриплым. В произношении, в звуках голоса сказывалась та самая необработанность, которая исчезает с ростом культуры человека.

— Екатерина Семёновна Солнцева, — отчеканил Загул.

— Но мы просто будем звать тебя Катей. Сколько тебе лет, Катя?

— Не знаю. Шестнадцать.

— Солнцева — это не её фамилия, — сказал вдруг Колька. — Какая Солнцева? Она же по-настоящему Спирина.

— Ой уж! Ты всё знаешь! — рассердилась Катя.

— Знаю. Я же слышал, — спокойно ответил Колька. — Дина Гедальевна в КВЧ говорила.

— Опять с коровами поезд! — прервал спор Кашин.

— Куда это скот везут? — поддержала Катя. — Всю ночь везли, и сегодня уже четвёртый состав. Всё быки да коровы.

— НЗ в армии меняют, — пояснил Кашин.

— А что это — НЗ?

— Дура ты, — вознегодовал Колька. — Неприкосновенный запас, НЗ — первые буквы.

— Ой уж, — отвернулась Катя и презрительно пнула его ногой в валенке, — много ты знаешь!

— Скот везут для армии, — пояснил Лосев. — Запасы меняют. Старые запасы долой, а новые — в подвалы. Их через

три года меняют. Теперь мы с мясом будем. Уж это я знаю. Нам балалайки достанутся. Лёгкие, печень, сердце... Всё это ливер называется, всё это в лагерь. Долго будем гужеваться. А ну, давайте за молоком!

Загул дал Кольке денег, Кашин — ведро. Колька спрыгнул мимо лестницы, побежал на станцию.

— Я с ним пойду? — нерешительно попросилась Катя.

На станции стояли два эшелона. В каждом вагоне — свой проводник. «Эй, народ! Покупай молоко! Дёшево!»

Через десять минут ребята вернулись. Колька нёс ведро молока, Катя — калачи.

— Три рубля за молоко, — отчитался Колька, подавая сдачу.

Загул усадил всех за стол, получилась почти домашняя пирушка. Катя, оживившись, почти не дичилась.

Дмитрий Юрьевич стал расспрашивать её, где они с сестрой жили, когда отделились от родителей, есть ли ещё сёстры, братья? Катя явно не была расположена делиться биографическими сведениями, и наконец вообще отказалась отвечать.

— Не помню, — с напускной грустью говорила она. — Этого я чтой-то не помню.

— Катя! Ты получаешь письма от родителей? — Выяснилось, что ни она, ни сестра её Тася уже несколько лет ничего не получали из того села, где живут их отец и мать.

— А сама ты пишешь им? Тоже не писала? Давай напишем им, Катя, письмецо. Как ты будешь учиться газеты печатать, и всё такое.

Катя наотрез отказалась.

— Не хочу, чтобы отец и мать знали, что мы были в тюрьме, а теперь обе в лагере. Вот выйдем с Тасей из лагеря, заживём богато, тогда напишем. А так писать нечего...

...Пришёл дневальный из КВЧ.

— Товарищ Загул! Вас Дина Гедальевна требует!

— Не требует, а просит, — возмутился Лосев.

— Ну просит, не всё равно?!

— Не придирайтесь, Лосев, — надевая шапку, добродушно заметил Загул. — Дина Гедальевна — душевный человек.

— Я её тоже уважаю, но почему она вас требует? Вы же ей не подчиняетесь.

Загул, успокаивая Лосева, поднял вверх ладонь: чего лезет в бутылку человек.

Пошли по путям. Бесперывно орали маневровые паровозы. На втором пути стоял эшелон со скотом. Коровы дружно мычали, видимо, требуя от сопровождающих воды.

— Простите, Дмитрий Юрьевич, беспокою вас, — смущённо извинилась Дина Гедальевна. — Помогите мне, пожалуйста, разобраться. Вот месячный отчёт — я не всё тут понимаю. Я вам всё-всё расскажу, только написать надо. Хотя бы черновик.

В комнату вошёл Зайцев. За минувшие дни Загул успел присмотреться к нему. Маленький противный подхалим. Бытовая статья. Белёсые брови, чёрненькие хорьковые глаза. Носит пышную причёску, подчёркивает своё особое положение, пусть не равняют себя с ним другие зэки. Причёска — это побряжка начальника.

— Что-то вы сюда глаз не показываете?

— Вас интересуют мои глаза? — не удержался Загул.

— А как же. У вас наши ребята на воспитании. А ведь мы КВЧ, культурно-воспитательная часть. По газете, я понимаю, вам удалось обособиться, ну а уж по культурно-воспитательной линии не удастся. Это я вам твёрдо говорю.

— Не понимаю, что вам надо, Леонид Фёдорович.

— Да ничего не надо, — осёкся Зайцев, заметив недоуменный вид Дины Гедальевны, не знавшей, как ей вступить за техредактора, который пришёл помочь ей и ничем не провинился перед КВЧ.

Дина Гедальевна и Загул устроились в углу за отдельным столом, разложив на нём отчётный материал. Часа через три отчёт был составлен, заново переписан. Дина Гедальевна ушла, а в комнату откуда-то вынырнул Бабенко.

— Ты у нас или в КВЧ работаешь? — полушутливо спросил Загул. — Сегодня даже не заглянул в редакцию.

— Я к вам причислен, но Зайцев говорит, что я работник КВЧ. Я видеть вашего Лосева не могу. Я с ним поссорился. Оказывается, ведь это он моей пастой пользовался.

— Как это понимать «оказывается»?

— Дмитрий Юрьевич! Ведь только один Лосев знал, что я начинил тюбик какой-то дрянью. Только он один! Я же при нём рассказал вам об этом! Если бы это был кто-то другой, а не Лосев, он бы обязательно притронулся к тюбику. А я тогда на Лосева даже и не подумал.

— Или Лосев, или я? Скажи, Бабенко, ты по какой статье сидишь в лагере?

— У меня бытовая! — удивился вопросу Бабенко.

— А именно?

— Злоупотребление по должности. Я в клубе работал. А что?

— Ничего. Не мешай мне работать. Сплетник ты.

Бабенко фыркнул и отошёл.

А Дина Гедальевна пришла всё-таки к концу работы Загула. Она явно чувствовала какую-то неловкость оттого, что её отчёт делает посторонний, а она даже не помогает ему.

Пошли вместе. Было очень темно, дорога грязная, чёрная. Загул держался на почтительном расстоянии от спутницы.

— Вы не обижайтесь на Зайцева, — сказала она. — У него отчаянное положение, и он не знает, как держать себя. Статья у него самая благородная — это он так выражается — превышение власти, но Большаков его не любит. Не по характеру он Александру Петровичу! Тот прямой, а этот с заглядом вперёд.

И она рассказала, что Зайцев уверенно держался, пока не обзавёлся семьёй. Теперь потерял спокойствие. Всё ему «кажется». Трусит. Как бы чего не вышло! Женился он здесь же, в посёлке, в прошлом году. Была тогда особенно сердитая зима. В один морозный день шёл он, задумавшись, по безлюдной улице. Вдруг видит: навстречу серединою дороги бежит мелконькой рысцей девочка лет четырёх, бежит и всхлипывает, плачет про себя. Жалкий вид — щупленькая, лицо синенькое, шея и ручонки тоненькие. Рукавички с рук приспущены, видеть, что пальцы в кулачки там сжаты, мороза уже не чувствуют, едва удерживают буханку хлеба. Слёзы льдинками застыли под испуганными глазами, и, что особенно поразило Зайцева, в этих больших глазах мелькает что-то совсем не детское.

Многие эски именно здесь особенно остро переживают страдания детей, и даже чёрствый Зайцев, почувствовав жалость и, может быть, вспомнив о своём ребёнке, оставленном где-то там, на свободе, бросился к чужой девочке.

— Что ты, человечек маленький? — опутившись на корточки, торопливо говорил он. — Ручки заморозила? Пойдём домой, пойдём скорей! Давай мне хлеб! Спрячь ручонки за пазуху! Прячь скорей, согреешь!

Девочка в замешательстве, — похоже, дяденька добрый, но в жизни всякое бывает. А вдруг он это к хлебу примазывается?

Распахнул тогда эск свой подбитый овчиною бушлат, схватил девчонку на руки, прижал к груди, прикрыл лапами бушлата.

— Пойдём скорее к маме! Показывай, куда!

Ожила, уже не плачет, синим носиком водит, показывает, куда идти. Так и дошли они до дому. Оказалось, что мама уже пришла с работы, чай вскипятила, в тревоге уже два раза выскакивала за ворота. Только что намеревалась навстречу к

магазину бежать, и вдруг в дом вошёл с её ребенком незнакомый человек. Ещё более перепугалась, выхватила ребёнка, ощупала ручки и ножки, обхватила тёплыми руками, согрела своим горячим дыханием, то плача, то смеясь.

По беспорядочным восклицаниям мамы смущённый Зайцев разобрался, что принёс он вовсе не девочку, а мальчика, и зовут его Олегом. Разумеется, без крепкого домашнего чая мама нежданного гостя-спасителя не отпустила.

— Вот так и проторил Зайцев дорогу к Олежке и Надежде Гурьевне, — закончила рассказ Дина Гедальевна. — Описать бы всё это, получился бы настоящий роман. А что? Сюжет — прямо счастливая находка для писателя. Только зэк не может быть героем романа. И всё же, может быть, используете когда-нибудь?

— Где уж! — грустно ответил Загул.

Они разошлись.

28. Иллюзии гибнут, факты остаются

Это верно, что бывают дни счастливые и несчастные. Сегодняшний был несчастным. Даже тягостно-тяжёлым. Загул почувствовал это, как только пришёл в свой редакционный вагон. Там уже были Дина Гедальевна, Кашин и Катя.

— А я не пойду! — угрюмо отказывалась от чего-то Катя, когда Загул поднимался по лестнице.

— Капризничает наша воспитанница, — пожаловалась Загулу Дина Гедальевна. — Сегодня медосмотр. Так вот, не хочет идти. Мне за нею приходится приходить. Куда это годится? Я не люблю конвоировать, да и стыдно мне.

— Надо, Катя, — ласково сказал Загул, притронувшись к плечу девушки. Нам много приходится делать такого, что нам не очень нравится. А что нравится — того часто нельзя.

— Не пойду, Дмитрий Юрьевич.

— Почему?

— Не могу я, — Катя натянула на глаза платок, уткнулась в угол и заплакала.

— Но почему? В чём причина? — настаивал Загул.

— Я ненавижу это! Что я? Будут опять в задницу заглядывать! Не хочу!

Загул вопросительно посмотрел на Дину Гедальевну. Он был и недоволен отказом Катки, и доволен ею. Ведь это девичий стыд говорит в ней! Можно ли настаивать?

Он прошёл в редакционную, глазами пригласив туда же Дину Гедальевну.

— Кто там осмотр этот проводит, не Валет ли, Дина Гедальевна?

— Ну что вы! Осматривает сама Раиса Наумовна, начальник санчасти. А врач наш лишь записи ведёт. Но он же старик. И я сама в это время бываю. Нет, надо настоять, чтобы Катя пошла. Только начальница санчасти, действительно, плохой человек. Брезгливая к арестанткам. Напускает на себя учёный вид и всегда любит себя собою. Как перед зеркалом. Как будто лучше её человека нет. А только какое нам дело до этого? Придём и уйдём. Нет, вы помогите всё-таки отправить её.

Загул вышел в соседнюю комнату, подошёл к Кате, положил ей руку на голову.

— Я во всём разобрался, Катюша. Надо идти! Придётся. Пойди, милая. С Диной Гедальевной.

Катя отняла от головы руку Загула, вытерла слёзы, поправила платок.

— Дина Гедальевна! Идите, Катя ждёт вас!

Они ушли, но настроение почему-то было испорчено... И всё же... Катька, поездки, стройка, редакция... Ведь это жизнь и люди великой стройки. Если правдиво зарисовать этих людей, какими интересными будут они для будущих читателей, когда всё непредвиденное и непонятное уйдёт. Надо писать. Надо писать дневник. Он явится основой будущего произведения, пока ещё неясного по форме, но, несомненно, нужного истории. Надо заканчивать поэму и работать, работать.

Загул прошёл к письменному столу и стал писать. Это были страницы о Катьке, о Кольке, о Кулакове, о вторых железнодорожных и жизненных путях...

— Пишете? — с явным удовлетворением спросил заглянувший в редакцию Панкратьев.

— Пишу. Только не то, о чём мы говорили, — ничего пока не прислали, нет ни книжек, ни рукописи.

— Леднева, прежнего уполномоченного третьей части, куда-то перевели. Прибыл новый, Баранов. Боюсь, что дело наше плохо. Непрочно всё в мире! Нет в лагере единой руководящей идеи по отношению к нам. Только производственные задания диктуют им отношение к рабочей силе. План. Но третьей части план не касается. Обескуражит нас Баранов! И надо же было Ледневу уехать на неделю раньше!

Поздно вечером (третья часть обычно работала по вечерам и ночью) они осторожно постучали в квартиру уполномоченного. Послышалось что-то недружелюбное, но дверь

всё же открылась. Панкратьев, более решительный, вошёл первым.

Им бросился в глаза порядок, которого не было в квартире, когда хозяином её был Леднев. Над кроватью висел гобелен, письменный стол отодвинут от стены, как в кабинетах руководителей, за ним сидел лейтенант Баранов. На стене — портрет Сталина. Он на трибуне с поднятой в приветствии правой рукой, на лице — едва заметная улыбка.

На столе — бумаги, и среди них Загул увидел до боли знакомую книжку Бальмонта в его переводе на украинский. А вот и Гейне, первый том. Загул не отводил глаз от этих книжек, чувствуя себя беспомощным...

Баранов молча ждал. Панкратьев и Загул вдруг вновь почувствовали себя заключёнными, хотя в последнее время начали от этого отвыкать. Они уже поняли, что их наивная затея закончится полным провалом.

— Гражданин уполномоченный, — Панкратьев сделал два шага к столу, но Баранов остановил его чуть уловимым протестующим движением руки. — Гражданин уполномоченный! Мы пришли...

— Не «мы» пришли, а «я» пришёл! — резко оборвал Баранов. — Говори, зачем пришёл?

— Мне мои родственники с разрешения третьей части должны были прислать книжки для чтения.

— Где это разрешение?

— Оно устное, гражданин уполномоченный.

— Не знаю такого незаконного разрешения.

— Его дал ваш предшественник лейтенант госбезопасности гражданин Леднев.

— Не знаю. А теперь скажи мне, кто ты есть?

— Заключённый Панкратьев.

— Всё! За-клю-чён-ный! Чего же ты пришёл сюда какие-то права качать? Где работаешь? — Баранов медленно поднялся, он оказался ниже Панкратьева.

— В ПТЧ, гражданин уполномоченный.

— Контрреволюционная статья, а работаешь в ПТЧ? Ты же враг народа. Не забыл об этом? Тебе разрешили честно работать в конторе. Так ты волком смотришь, выписываешь себе самоучитель иностранного языка, чтобы лучше шпионить в советской стране, чтоб легче пробраться через границу! Вон отсюда, мерзавец! Ишь, до чего обнаглела контра ползучая!

Панкратьев надел шапку, задумчиво повернулся к выходу, но у дверей круто остановился и снова снял шапку.

— У тебя что? — рывкнул Баранов Загулу.

— То же самое.

— Ведь тебя, подлого, за писанину твою посадили. И тебе тоже неймётся, своё ведёшь! Стихи выписал! Ещё напишешь что-нибудь вроде «Моя сердечна Украина», националист хохлацкий! А я за тебя отвечать буду? Обнаглели тут, сволочи! Я присмотрюсь тут к вам. И забудьте дорогу сюда. Ишь, слабину надыбали! Поняли? Придёте только тогда, когда я вас вызову.

Загул повернулся и вышел вместе с Панкратьевым. Сначала шли молча, вдруг Панкратьев расхохотался. Загул был угнетён и мрачен. Смех товарища казался ему неуместным — разве тут до смеха!

— Иллюзии гибнут, факты остаются, — сказал Панкратьев. — Удивляюсь, как я пошёл на это. Ну, ты — понятно, ты новичок в лагере, тебе простительно. А я-то, старый волк... Что ж, поделом нам, в лагере доверчивость — опасный порок.

— А я знал, что нам откажут, — отозвался Загул. — Догадывался. Ведь сократился приток писем в лагерь. Резко сократился. Он и задерживает наши письма. Леднев, тот даже не читал их. Выходит, славный был мужик. А теперь у меня поэма пропадёт. Я выписал рукопись. Случайно сохранилась... — Панкратьев понял, почему Загул так угнетён — ведь пропадёт кусок жизни!

— Вы извините меня, Дмитрий Юрьевич! Я в ваших глазах выгляжу легкомысленным. Я ведь не знал, что вы выписали рукопись. Это удар, да и просто ошибка большая. И как это вы проявили такую доверчивость!

Загул ничего не ответил. Ему было тягостно, да и сказать нечего — всё ясно, опростоволосился. Душно! Вообще душно без книг, а как жить без любимого дела?

* * *

Моя родная Украина!
Мечта моя, любовь и боль!
Не раз я падал на колени
И говорил: «Я твой, я твой».

Мечтал про тебя наяву я,
Ты ко мне приходила во сне.
Про тебя свои песни пишу я,
Про прекрасных твоих сыновей.

За тебя они умирали
В вековой кровавой борьбе.

И в душе моей струны звучали,
Говоря о твоей судьбе.
И сколько б они ни страдали,
Ты с ними в горе была.
И кем бы они ни стали,
Ты к ним любовь берегла.

Ты гордилась теми, кто в поле
Шёл за тебя на бой.
Я же пел лишь о собственной боли,
Я сын недостойный твой.

Но всё ж от предателей мерзких
Я был всегда вдалеке.
И сребреники не звенели
В моей некрепкой руке.

Моя Украина святая!
Верю, ты расцветёшь.
И нас, бесконечно прощая,
В семью свою вновь возьмёшь.

Прими же и нас, кто ошибся,
Блуждая то тут, то там.
К груди твоей дай прижаться
Обманутым сынам.

И вместе с тобой мы будем,
Счастливы, как и ты.
Безгрешен лишь тот, кто не ищет,
Пойми нас, пойми и прости.

А я, пусть из них последний,
Преданно послужу,
Из горькой моей печали
Песни тебе сложу*.

* Из цикла «Вогні». 1927 год.

29. Солнцева, она же Спирина, она же Собакина, она же Кошкина...

На другой день по пути в редакцию Загул — это у него стало почти привычкой — зашёл на строительство школы и больницы. Школу успевают закончить к началу учебного года, рабочие с неё уже сняты, на дворе стоят ученические парты. На больнице, тоже двухэтажной, крытой железом, ещё работают несколько электромонтажников, с ними один только вохровец. В пустых комнатах здания гулко отдаётся эхо.

В вагоне редакции было шумно и весело. Наборщики ещё не получили статей для набора. Новый печатник, Арчил Тигранович Макарян, тридцатилетний смуглый кавказец, работавший ночью, ещё не ушёл, видимо, ему явное удовольствие было полюбоваться Катькой. Не было только Лосева.

В редакционной половине было слышно, как сотрудники обмениваются новостями, в общем-то, не очень смешными или радостными, но всё же воспринимаемыми далеко не драматически. Катя сообщила, что одна из заключённых женской фаланги ночью пошла по нужде не туда, куда следует, и зацепила конец оборванного электрического провода. И вот, её убило электричеством.

— В посёлке тоже, две лошади коснулись провода, — убило, — сообщил Кашин, теперь считавшийся бригадиром, — Большаков увеличил штаты редакции.

— Лошади хлипки на электроразряд, — вставил Арчил.

— Наш Зайчик перепугался, — рассказывал Бабенко. — В восьмой проводили слёт строителей школы и больницы. На воротах КВЧ повесили: «Добро пожаловать!». А снять забыли. Слёт прошёл, лозунг висит. А тут Баранов. «Что такое? Кого это вы в лагерь приглашаете?» Зайцев весь белый стал, но всё же что-то пролепетал про слёт. Баранов ухмыльнулся, пронесло.

— Он силён, Баранов. В секретариате ПТЧ мне рассказали, — это уже Кашин, — пишут на ученических тетрадках. И вдруг все эти тетради из конторы тихонечко изъяли. Баранов запретил, чёрт знает почему. А потом узнали. Там на обложке Пушкин, и слова такие: «И милость к падшим призывал». Какая ещё милость к зэкам? И тетради изъял.

Господи, подумал Загул. Какой же он, этот Баранов. Мы же Пушкина в душе носим! Нашёлся критик от НКВД!

Бабенко рассказал, что он носил утром передачу в кандей своему корешу Касперовичу, который попал туда за пьянку.

Передачу, конечно, не приняли, а возвращаясь оттуда, Геннадий поскользнулся, упал навзничь, ударился головой и набил здоровенную шишку.

— Пощупайте, — радостно говорил он и, видимо, все щупали его голову.

— Арчил Тигранович! — не выдержал Загул. — Опоздаешь в столовую. И в КВЧ газету ждут.

Слышно было, как бригадир шикнул на всех. Всё стихло. Арчил пропел что-то вполголоса, взвалил на себя весь ночной выпуск и пошёл в КВЧ.

В редакционную вошёл Геннадий.

— Вас приглашал к себе начальник КВЧ. Поговорить об одном снимке. Я сфотографировал Шебалина. Помните, Большаков вам говорил? — Действительно, зэк Матвей Шебалин, штукатур, изобрёл и применил при отделке школы какие-то длинные линейки, выполнил норму на 180 процентов, и Большаков велел отметить его в газете. — Так можно ставить в номер?

— Хорошо, приду, — ответил Загул. Конечно, у начальника КВЧ бытовая статья, поэтому негоже ему идти к врагу народа. В другое время Загул и не подумал бы так, но ещё свежо ныла обида за отобранную поэму. Конечно, он сам доверчиво сунул им в пасть свою рукопись, но всё равно нехорошо...

Вошла Катя.

— Ты сказал про портрет Матвея. А где он, этот портрет? В газете будет? Покажи мне фотокарточку! Ну покажи!

— В КВЧ она, — лениво ответил Бабенко.

— Я его знаю, Шебалина. Он сильный. Ко мне тут один приставал. А Матвей сказал: «Тронешь — голову оторву!». Теперь тот стал меня за версту обходить.

— Хороший парень! — подтвердил Загул. — А ты как его знаешь?

— Да вот так и знаю.

— Слушай, Катя! Ты маме письма так и не написала?

— Да я не знаю, что писать.

— Вот я напишу письмишко, — сказал Бабенко и уселся за стол. Он написал уже полстраницы, когда прибежал Колька.

— Письмо? — наклонился он к Бабенко. — Милые родители, напали на меня грабители! Разули, раздели, в уши мне набзд...

— Как-как? — засмеялась Катька и схватила Кольку за рукав. — Вот это я и напишу своим. Для начала, чтоб посмеялись.

— Ну ладно, пиши! — улыбнулся Загул. — Пиши, сегодня же пойдёт, я с собой возьму.

Катка долго возилась, пыхтела и наконец подала запечатанное письмо Загулу.

— Спириной? Так всё-таки Спириной?

— Я же говорил! Солнцева, она же Спирина, она же Собакина, она же Кошкина! — засмеялся Колька. — Она же, она же, она же. Есть такие зэки, как начнут перечислять — конца не дождёшься.

— Ой уж! Это маме письмо. Солнцева — это Тася придумала, это мы в лагере Солнцевы. А мама у нас Спирина, и настоящему мы тоже Спирины.

— Написала ей, что учишься? Что газеты печатаешь?

— Написала.

— Пиши и ты, Колька! Давай, давай, садись и пиши. Отец и мать будут рады, что ты наборщик.

Колька встряхнул головой, и через полчаса коротенькое письмо было готово. В адресе указал город, номер школы и фамилию матери.

— Твоя мама учительствует в этой школе? — осторожно спросил Загул.

— Нет. Она была в ней сторожихой. Два года назад.

Загул не стал уличать Кольку во вранье.

— Катя, — сказал он. — Теперь твоя очередь молоко покупать. Вот тебе три рубля. Сходи посмотри, не подошли ли эшелоны со скотом.

— Ну что ж, схожу, — с явным удовольствием откликнулась Катя.

Дмитрий Юрьевич пошёл в КВЧ. Может быть, чем-то поможет Дина Гедальевна? Хотя чем? Не поможет даже муж её, парторг отделения. И всё же он поделится несчастьем, ему наверняка станет легче, когда он услышит слово сочувствия.

— Я написал статью о Шебалине, — сказал Зайцев. — Можете поместить в газете к этой статье портрет нашего стахановца?

— Нам нужно клише, — ответил Загул. — Может ваш художник сделать клише?

— Узнайте сами у него, я в этом ничего не понимаю. Когда поместите?

— Когда будет готово клише.

— Вот я и спрашиваю, когда оно будет готово.

— Так это же зависит от вашего художника!

— Вот-вот. Позаботьтесь, чтобы было быстро!

Ну чего ещё и этот вяжется? Чего пыжится? Почему начальник не может быть ещё и просто человеком?

Дины Гедальевны в КВЧ не было. Она встретила Загулу на обратном пути. Дмитрий Юрьевич рассказал о своей обиде, речь его прерывалась, он и сам не подозревал, как глубоко взволнован.

Лицо Дины Гедальевны было напряжённо, чувствовалось, что она занята какой-то мучительной мыслью, а может быть, только лишь тяжёлым сознанием того, что жалуется ей хороший человек, она внимательно слушает, а помочь-то ничем не сможет. И останется в ней чувство виноватости не только за себя — ведь она член партии.

— Напишите Горькому! Напишите! Я отправлю ваше письмо! Это же безобразие, обман какой-то, издевательство. Вам разрешила третья часть, и она же, третья часть в лице Баранова, тут же запрещает. Может быть, я схожу к нему?

— Что вы, Дина Гедальевна! — встревожился Загул. — Вы забыли, что я з/к. Да и всё равно ничего не получится. Будет только хуже для меня. Завтра же на разводе крикнут: «Загул! Выходи с вещами!». Уж я знаю эту историю.

— Ну так пишите Горькому.

— И это не поможет. Кто я, чтобы писать Горькому? Если б я был известный ему писатель. А самое главное — я враг. «Если враг не сдаётся, его уничтожают»*. Ведь эта фраза принадлежит ему, Алексею Максимовичу!

— Пишите Пешковой**! В комитет защиты политических осуждённых! Пишите!

Загул не стал возражать, хотя твёрдо знал, что никуда он писать не будет..

Возвращаясь в редакцию, увидел два состава со скотом, один уже отправлялся, второй пока стоял.

— Ну как, Катюша? Пьём сегодня молоко?

— Пьём! Я купила! — радостно шагнула к Загулу Катя. — И вот вам три рубля. Никакого мошенства! — глаза Кати блестели гордостью и самодовольством.

— Как три рубля? Почему три рубля? — не понимал Загул.

— Такой олух попался, этот проводник, — затараторила Катя. — Нацедил мне молока и ищет-ищет у себя трёшницу. А я ему её и не давала ещё. Смекнула, раз он ищет, и говорю

* Название статьи М. Горького, опубликованной 15 ноября 1930 года в «Правде».

** Пешкова Екатерина Павловна (1878—1965), жена Максима Горького. В послереволюционные годы возглавляла Московский комитет помощи политзаключённым.

ему с понтом: «Ты ж её с собой унёс. Там где-нибудь, где ты молоко наливал. Пошёл, дурак, туда, в вагон, и там шарится. А я скорей оторвалась — и тут. Смотрю, и эшелон пошёл.

Катя сияла.

Загул и без того был расстроен, а тут... Этого ещё не доставало!

— Катенька! — с грустью сказал Дмитрий Юрьевич, охватив её плечо рукой. Это молоко всё равно что украденное. Не знаю, как ты, а ведь мы не сможем пить ворованное. Как вы, Александр Акимович?

Бригадир усмехнулся, ухватив мысль Загула.

— Не знаю, как вы, Дмитрий Юрьевич, а я не буду пить такое молоко. Что, у нас трёх рублей не найдётся? Мы можем и по-честному есть и пить.

Катка вдруг побледнела. Лицо её исказилось то ли от злобы, то ли от обиды. Она сунулась в тот угол, где ещё недавно плакала, вдруг схватила со стола ведро, толкнула ногой дверь и выплеснула молоко под вагон. Потом сунула пустое ведро на стол и снова уткнулась в угол.

Загул молча протянул три рубля Кашину, показав глазами на ведро. Тот понял и через десять минут вернулся с молоком.

Вечером, после работы, все, кроме Кати, дружно пили молоко...

30. Сын приедет!

Какова сибирская зима, Загул ещё не знал. Но уже осень того года показалась ему жестокой. Он даже изменил себе и временами надевал бушлат.

Дмитрий Юрьевич шёл по путям к реке, чтобы взглянуть на строительство моста. Снегу на земле ещё не было. Дул, иногда со злобным воем, резкий ветер, поднятые им листья нагоняли тоску. Из реки стройно поднимались шесть больших быков. На берегах вдоль подведённых к мосту путей лежали громадные свежавыкрашенные красной краской фермы. Среди рабочих, низко над насыпью, он увидел Панкратьева. Тот был чем-то недоволен и что-то кричал. Мастер не оставался в долгу, тоже злился и кричал, хотя и не терял почтительного отношения к Панкратьеву.

Загул, осыпая песок, спустился по крутому откосу.

— Мне как раз тебя надо, — издали крикнул озабоченный Панкратьев, впервые почему-то обращаясь к Загулу на «ты».

В руках у него был тальниковый прут, местами оголённый от коры. Панкратьев взял Загула за руку, и они прошли некоторое расстояние вдоль насыпи.

Сначала говорили о стройке.

— Вчера погиб зэк. Сам нарвался на гибель. Стал мочиться с насыпи. А в стороне под фермой велась сварка, внизу провода тянулись. Надо же такому случиться — замкнул струей провода, его и цапнуло. Теперь меня тянут — почему не усмотрел. Обидно будет, если отстранят от этой работы. Я, разумеется, не виновен, но огрызаться как следует уже не могу, возраст не тот. Вот Вадим мой — тот умеет за себя постоять. Он у меня — молодчина парень. Боевой, современный. Вы знаете, он скоро приедет сюда!

Старик любовно рассказывает о сыне, показывает присланные им подарки — портсигар, пенсне, вечное перо...

— Пишу ему: зачем ты шлешь такие вещи, тратишься. Мне можно будет пользоваться только пока я на этой должности или до первого этапа. Полетел, или на этап — всё отнимут... Ничего они там не понимают... Ему было восемнадцать лет, когда меня взяли. Конечно, сразу исключили из комсомола. Нечего было и мечтать о вузе. И вот он сумел постоять за себя. Поехал в ЦК ВЛКСМ! Права качать! Хе-хе! Я, говорит, за себя отвечаю. Ну и ещё что-то такое. И, представьте, прислушались к парню и восстановили. Самостоятельность понравилась, характер. Я бы тоже к такому пригляделся. Мы, советские, любим таких... Да, вот ещё. Вы знаете Кайгородова?

Загул не знал.

— Ну, есть такой. Коренастый, рыжеватый плотник. Работник всех качеств. Вот вам второй герой труда. Настоящий, но тоже из незаметных. Безропотный и тихий. Вчера вызвали его в УРЧ: подходит срок освобождения. Вызвали и объявили: срок продлён впредь до особого распоряжения. Как это тяжело! Как душно жить!

Панкратьев помолчал, похлопал себя прутиком по голенищам кирзовых сапог.

— Есть у меня, Дмитрий Юрьевич, какой-то необъяснимый мне самому нюх. Нюх загнанного зверя. — Он оглянулся. — Бьюсь об заклад, что готовится тут против меня какая-то каверза, — он кивнул назад, на мост. — Только вам об этом говорю, Дмитрий Юрьевич. Въётся тут этот новый, Баранов. Ничего такого, но дня три тому назад мне доложили рабочие, что подобрал он куски застывшего бетона, камни гранитные, и приказал рабочим унести к нему. Убеждён, что это неспро-

ста. Не знаю, как другие, а я так устроен: не люблю чувствовать за спиной врага.

Загул попытался успокоить товарища: если нет оснований предполагать что-то, то нет оснований и тревожиться. Подсознательное часто обманывает.

— Я не умаляю роли подсознательного, но с того момента, как стал в положении преследуемого, загоняемого, что-то обострилось в моих чувствах. Я тоньше слышу, острее вижу, и, видимо, правдивее чувствую. Впрочем, я и логикой угадываю какие-то основания для тревоги, о которых вы говорите... Вместе с Барановым камни подбирал какой-то капитан, таинственное лицо. Органы госбезопасности то там, то здесь раскрывают очаги диверсий, вредительства, контрреволюции. Почему бы не отличиться и не получить награду какому-нибудь капитану из Свободного? Избрали, предположим, наш участок. Наметили и объект — мост. Леднев не годился для подготовительной работы, прислали Баранова. Вот он уж тетради с Пушкиным изъял, ваши книги, фотографии — всё войдёт в обвинилровку. Если это так — одним мною не обойдётся. Многих захватит. Может быть, и вас, Дмитрий Юрьевич. Вы поместили много хвалебных заметок, относящихся к мосту... Кстати, в вашей газете как-то была заметка об одном незаметном герое, фамилия его Матюшкин. Помните его, такого нельзя не запомнить. В коротких лаковых сапогах, чёрная борода. Крупнозубый такой. Работает и день и ночь. Его закрепил сам начальник отделения. С год тому назад убрали из конторы всю 58-ю статью. Должны были убрать и Матюшкина. Как раз приезжал со своим вагоном начальник управления. Был в конторе. Большаков пожаловался ему: с кем он остаётся? А оставался один Матюшкин. Начальник сказал: «Беру на себя. Оставляю вашего Матюшкина, пусть работает». Ему нечего, казалось бы, бояться, но он усердствует. Интересна биография этого Матюшкина. Был до Октября гвардейским офицером. Вспомните, вид-то у него какой! После Октября стал архиереем. А вы о нём хвалебную заметку поместили, об офицере, архиерее! А? Конечно, теперь слетело с него всё божественное, но, говорят, от него всё же что-то особое исходит, светлое... Так вот, подходит он ко мне сегодня и заговорщицки так, тихонько сообщает: знаете что, Степан Романыч, я уже несколько дней переживаю драму. Я слепну. Сегодня я уже ничего не вижу левым глазом. Я плохо вижу чертежи. Что меня ожидает? Слепого в лагере! Прошу вас, никому пока ничего об этом не говорите. Я похолодел, Дмитрий Юрьевич. Это же трагедия

вообще, а в лагере? Но как же, говорю, никому не говорить? Зачем же тогда вы мне сказали об этом? Вырвется же такая жестокая фраза! Он смешался, покраснел. Опешил. «Хотелось поделиться с кем-нибудь». Грустно так сказал мне, умолк и пошёл на своё место. Но какая же я сволочь! Я не был эмоционально близок ему — офицер, священник... всё это чуждо мне, ведь я коммунист. Но перед таким фактом разве можно остаться в стороне? Жаль человека! До глубины души жаль! Может быть, вы посоветуете что-нибудь? Я не знаю, что предпринять. Пойдёмте вместе к врачу, а с ним — к начальнику санчасти. Пойдёмте?

— Непременно. Только мне здесь сначала надо побыть. Недолго. А потом непременно пойдём.

Сходить — сходили, и даже узнали, что доктор Афонин пытается лечить Матюшкина, но дело безнадежно. Без специалистов-офтальмологов здесь, в лагере, ничего сделать не удастся, а этапировать врага народа в Иркутск или Томск никто не станет...

...Дмитрию Юрьевичу не хотелось придавать большого значения опасениям Панкратьева. Но всё же ему показалось, что недаром ему доверяет этот бывалый, тёртый лагерной жизнью арестант. Он знает больше, чем сказал. Сказанное — только осторожное дружеское предупреждение, психологическая подготовка к предстоящим неприятностям.

И, как бы отвечая на эти мысли Загула, Панкратьев в свободный вечер рассказал, через какие этапы осознания новой действительности, новой обстановки он шёл. Самое мучительное желание проникнуть в происходящее он испытывал в первый месяц после ареста. Панкратьев считал, что ему повезло...

31. Первый допрос

Его арестовали ночью. Следователь госбезопасности Смирнов*, потом часами с ним разговаривавший, добиваясь признания, долго, вместе с майором, фамилию которого Панкратьев не запомнил, копался в его бумагах. В комнате вместе с одевшимся Панкратьевым сидели накинущая на себя халатик его жена, и в качестве понятых — соседи по квар-

* Именно эту фамилию имел томский следователь, допрашивавший Ф. И. Тихменёва в 1933 г.

тире, старушка учительница и рабочий с завода. Они знали Степана Романовича в течение десяти лет, верили в него, но знали также, что его арестуют, уведут, и он, конечно, не вернётся. Арестованные не возвращаются. Они жалобно смотрели на Степана Романовича, как на обречённого. Студентка Женя, племянница, лежавшая в кровати в соседней комнате, проснулась, видела всё через открытую дверь, окаменев от страха, от того непонятного, что дошло и до её дяди. Таня была спокойна. Она, конечно же, ближе знала своего Степана, ближе, чем могли знать его учительница и рабочий завода имени Рухимовича*, и потому не допускала той мысли, которую уже допустили понятия.

— Если вы так скрупулёзно будете рыться в моих книгах и бумагах, вам недели не хватит, — иронично сказал Панкратьев. Он тоже был спокоен, и только подсознательное уже тогда подавало ему какой-то предупреждающий сигнал.

— Почему? — не согласился следователь. — Уже кончаем.

— У меня же целая библиотека. Я, конечно, предпочёл бы там держать компрометирующие меня документы, если бы они у меня имелись.

— Где библиотека? — забеспокоился Смирнов.

Библиотекою служила маленькая комнатка-кладовка с входом из коридора.

Следователи оставили на время бумаги, фотографии, письма, всё, что так усердно рассматривали, и попросили Таню показать библиотеку.

Через минуту они вернулись в комнату.

— Да, — согласился Смирнов. — Мы опечатаем ту комнату, в которой книги. И передадим на вашу ответственность, — обратился он к Татьяне Михайловне. А теперь... Нет ли чего-нибудь завернуть вот все эти фото, бумаги и прочее.

Таня достала новый портфель мужа. Следователь взглянул на него и отказался.

— Зачем такой хороший, — ласково сказал он Тане, протестуя отклоняя её руку. — Что-нибудь попроще. Знаете, у нас негде хранить такие вещи. Он, — Смирнов кивнул Тане на мужа, — будет требовать от нас новый портфель, а у нас он может затеряться. Вот этот — более подходящий, вот и хорошо. Одевайтесь! — сказал он Панкратьеву.

* Ныне завод имени В. В. Вахрушева. Моисей Львович Рухимович — член «Бунда», с 1913 года большевик, участник Гражданской войны, управляющий трестом «Кузбассуголь», с 1936 г. нарком оборонной промышленности. Член ЦК ВКП(б) с 1925 года. Расстрелян в 1938 г.

Только теперь Таня что-то поняла. По лицу её пробежали искры испуга, заботы, отчаяния и растерянности.

— Тогда я соберу ему в дорогу что-нибудь поесть! — спохватилась она. И снова ласковый жест следователя остановил её.

— Зачем? Уж вы поверьте, что мы накормим его. Не надо, не надо!

Спутник Смирнова опечатал кладовку. Вышли втроём во двор. Панкратьев посмотрел на небо. Кичиги* предсказывали близкий рассвет. Степан Романович подумал о том, что как-то уж очень просто уходит он от жены, от племянницы, он даже не простился с ними, не простился, может быть, потому, что коммунисту, ни в чём не провинившемуся перед партией, перед страной, было бы странно прощаться, уходя из дома в учреждение, ведущее борьбу за чистую землю.

Вышли за ворота. На тихой улице стояла грузовая машина, видимо, немало перевёзшая всяких грузов, с исцарапанными бортами, с новой, ещё не покрашенной доской-заплаткой. Смирнов спокойным жестом показал Панкратьеву: забирайтесь. Степан Романович, молодо поставив ногу на колесо, вскочил в кузов. Скамеек не было, сел на пол. Он был бугристым, в заплатках. Холодило от троса, свёрнутого в круг. Пахло бензином. Следователи вскочили в кабину, машина тронулась.

И вдруг через минуту она остановилась. От дома Панкратьева отъехали всего метров на двести. Следователи вышли из кабины и скользнули как тени в ворота другой усадьбы. Панкратьев догадался, что здесь они произведут другой обыск. Прошла ещё минута, и высоко в двух окнах третьего этажа зажёгся свет.

Степан Романович сидел час, сидел два. Ноги затекли, он поднялся и сел на борт кузова спиной к окнам дома, где шёл обыск. Уже рассвело. На улице появились люди. И вдруг среди них он увидел Женю, свою племянницу. Она шла по тротуару в двух шагах от него. Её опухшие глаза были красны от слёз. Она торопливо шла, ничего не видя, погружённая в непонятное. Степан Романович впился глазами в родное лицо и затаил дыхание. Он не хотел, чтобы Женя снова увидела его. Зачем? Зачем недоуменные вопросы, страхи, обидные предположения об опасности, которыми стыдно, кощунственно стыдно обмениваться?

* Кичига — народное название созвездия Большой Медведицы вместе с Полярной звездой, иногда так же называют созвездие Орион.

Было уже, наверное, часов восемь, когда из ворот вышли трое: два следователя и незнакомый Панкратьеву худенький интеллигентного вида человек в очках в золотой оправе. Он беспомощно топтался, не зная, как забраться в кузов. Панкратьев подал ему руку и втащил в машину. За всю дорогу они не произнесли ни слова. Говорить было не о чем: ведь ни один из них ничего не знал, ничего не мог предполагать.

В красном кирпичном здании их провели вниз, в подвальное помещение караулки, где сидело трое солдат. Здесь наскоро обыскали, сняли брючные ремни, обрезали металлические пуговицы с одежды, сняли ботинки и дали шлёпанцы.

— Пошли! — равнодушно кивнул Степану Романовичу один из солдат, показывая, что он должен идти первым. Мягко, неслышно пошли по коридору, застланному ковровой дорожкой, мимо окованных железом дверей с громадными навешанными на засовы замками.

Конвоир остановился у одной из дверей и посмотрел в камеру через глазок. Потом быстрым движением всунул ключ в большой замок и повернул его. Железо загремело, нарушая гробовую тишину. Охранник приоткрыл дверь и протолкнул Панкратьева через образовавшуюся щель в полутёмную комнату. Ничего не видя, Степан Романович перешагнул порог.

Понемногу глаза его освоились в темноте. В камере было ещё трое. Все они испытующе впились напряжёнными сторожкими глазами в Панкратьева, словно чего-то от него ожидая. Послышался громкий шёпот.

— Местный? Городской?

— Городской.

— Когда арестован?

— Ночью, в три часа.

— Где работал?

— Инженер. На заводе.

— Пятьдесят восьмая! — уверенно определил спрашивающий.

— Диверсия! — так же уверенно подтвердил второй. Теперь все отвернулись, уже никого не интересовал этот вопрос.

— Что нового в городе? — снова спросил первый, и снова все напряжённо ждали ответа. Панкратьев не понимал вопроса.

— Я вторую неделю тут, интересно услышать что-нибудь.

Панкратьев отвечал нехотя — эти вопросы оскорбляли его. Почему они с ним запанибрата и делают какие-то глупые предсказания? Он, Панкратьев, член партии. А эти люди, ко-

нечно, в чём-то провинились перед советской властью, и нагло полагают, что и он такой же, как и они.

Он ходил и ходил по камере, и иногда какая-то смутная тревога заползала ему в душу, какое-то ощущение того, что, может быть, есть какая-то правда в наглых предположениях этих людей. Он испытующе вглядывался в них. Нет, они были несимпатичны. Они нетерпеливо ждали завтрака, пайки хлеба. Когда в коридоре брякнуло ведро, все трое насторожились, бросились к двери, стали жадно прислушиваться, как приближается звяканье ведра, как поочерёдно гремят замки и засовы, как говорит что-то тихий голос.

Вот прогремел замок соседней двери, минута — открылась и дверь их камеры. Соседи встали во фронт, указали четвёртое место новенькому. Панкратьев молчаливо покорился.

Женщина налила в четыре миски что-то жидкое и передала арестантам. Охранник достал из мешка четыре пайки по триста граммов. Дверь захлопнулась. Слышно было, что раздатчики передвинулись к следующей двери.

Степан Романович отказался есть. Не успел он сказать об этом, как шесть цепких рук ухватились за его хлеб, за его чашку с хлебовом. Одному достался суп, двое других поделили хлеб.

Несколько раз с шумом, с лязгом открывалась дверь, но только в конце третьего дня переступивший через порог охранник произнёс:

— Панкратьев! На допрос!

Степан Романович шёл впереди, охранник, с револьвером в расстёгнутой кобуре, сзади. Вошли в длинейший коридор с комнатами слева и справа. Охранник вполголоса говорил, куда идти, и Панкратьев с часто бьющимся сердцем шагал и шагал, заложив руки назад, как требовалось. Наконец остановились. Охранник, шепнув Панкратьеву: «Подожди», обошёл его, открыл дверь и что-то сказал. «Проходи!» — удовлетворённо скомандовал он, выждал, когда войдёт арестант, и закрыл за ним дверь.

По молчаливому приглашению сидевшего за столом майора Степан Романович сел. Так сидели они по разные стороны стола лицом к лицу пять, десять минут. Майор перебирал какие-то бумаги, затем положил на стол толстую папку. Заглянул в неё, достал листок бумаги и сказал:

— Вы, конечно, знаете, по какому делу арестованы?

— Не знаю.

— Не знаете? А предполагаете?

— Не догадываюсь.

— Даже не догадываетесь?.. Предъявляю вам обвинение. Пятьдесят восьмая статья, пункт два. Знаете, что это такое?

— Не представляю, — спокойно ответил Панкратьев. Теперь он был совершенно уверен в себе, в следователе, в справедливости.

— Вы обвиняетесь в том, что вели подготовку вооружённого восстания в городе.

Панкратьев ничего не понял.

— Вы, возглавляя контрреволюционную группу, подготовили вооружённое восстание против советской власти! — крикнул следователь.

Панкратьев молчал, он не знал, что говорить.

— Запираться бесполезно, — уже негромко продолжил следователь и приподнял со стола толстую папку. — Вот ваше дело. Ваши сообщники сознались и дали чистосердечные показания. Ваше признание нам, в сущности, не нужно. Но для вас оно необходимо — чистосердечное признание облегчит вашу участь.

— Чушь! — ответил Панкратьев. Он чувствовал, что побледнел, не хватало воздуха, не хватало разума, чтобы охватить происходящее.

— Это чушь! — ещё раз повторил он, облизывая пересохшие губы.

Майор протянул руку к стене, нажал кнопку.

— Обдумайте всё и разоружайтесь, как это сделали известные вам ваши подельники. Чем меньше будете сидеть здесь, тем лучше для вас.

Послышался стук в дверь.

— Да-да! — крикнул майор.

Вошёл охранник.

— В камеру!

Панкратьева увели, но уже в другую камеру. В ней было два человека. Тихие, подчёркнуто вежливые, с образной интеллигентной речью.

Степан Романович огляделся, сел на привинченную к полу железную ничем не прикрытую койку.

— Извините, товарищ, удовлетворите наше любопытство. Когда вы арестованы?

— Четыре дня назад.

— Похоже, что вам только что предъявили обвинение?

Панкратьев недовольно оглядел сокамерников.

— Предъявили.

— Пятьдесят восьмая, а пункт?

— Забыл. Не помню. Вооружённое восстание.

— Ну конечно. Но вы не тушуйтесь. Ко всему привыкает человек. И вы привыкнете. Может быть, не сразу, но привыкнете. Можем угостить вас папироской.

— Не курю.

— Надо курить! Здесь, в этом подвале, надо! Не побрезгуйте, если я сам вам прикурю? Спичек нам, констрикам, не полагается, прикуриваем тайком от лампочки.

Он достал откуда-то папироску и кивнул товарищу. Тот подошёл к двери, встал к ней затылком, загородив глазок. Первый оторвал от патрона лампочки припрятанный там клочок ватки и приложил его к пузырю лампочки. Подержал, помахал ваткой, подул, приложил к папиросе, стал усиленно затягиваться. Наконец папироса задымилась.

— Курите! — протянул он папиросу Панкратьеву. — Курите! Это сейчас необходимо. Курите.

Панкратьев и в самом деле почувствовал, что ему нужно или напиться до бессознания, или курить до одурения, но что-то надо...

Он благодарно взял папиросу и начал втягивать в себя дым, закашлялся, и снова втянул в себя дымную муть.

— А вы... давно здесь?

— Вот я, — сказал бледный, большеглазый, с расстёгнутой рубашкой, обросший рыжей бородкой человек, — я здесь третий месяц. Что-то не стали уже вызывать. А вот он, — бледный указал на обрюзглого толстяка, — он сидит уже шесть месяцев. Вчера «раскололся»: до каких же пор сидеть?

— Я был агрономом, — сказал толстяк, — мой вес был сто два килограмма. Бывало, едем в поле, сажусь в пролётку, никто рядом сесть не может, места нет! А теперь? Смотрите, что теперь.

Агроном спустил штаны, приподнял рубашку. Панкратьев увидел, что от живота чуть ли не до колен свешивался, как тряпка, как фартук, широкий лоскут кожи. Когда-то это был туго набитый живот.

— Ну и что ж, — сказал Панкратьев, — по-моему, так даже много лучше.

— Конечно, лучше, но я испугался того, что могло быть дальше. Так можно в чахотку себя загнать. А чего достигнешь? Так что наш совет вам — раскалывайтесь, пока здоровы. Всё равно этим кончите. Сила солому ломит.

Панкратьев насупился. Он был недоверчив, и всюду теперь видел врагов. Вот и эти двое — явно «уговаривающие». Стараются. Какие убогие доводы! Чтобы сохранить здоро-

вье — клеветчи на себя. Всё, что кому-нибудь взбредёт в голову, приписывай себе!

Лишь через двое суток его вызвали снова. Вызвали ночью, часов в одиннадцать. Охранник долго вёл его, и привёл наконец, но не в ту комнату, где ему предъявили обвинение, а в другую, маленькую, несколько ближе по коридору.

За столом сидел чем-то знакомый Панкратьеву молодой человек. Он прощупал глазами входившего в комнату арестанта и, видимо, сам напряжённо старался припомнить, где он видел его раньше.

— Садитесь! — он указал на стул.

Панкратьев сел. Он слышал биение своего сердца и думал о том, что вдруг отлетит, отпадёт всё то кошмарное, что началось с ним в этом здании, и произойдёт что-то другое, простое, понятное.

— Вам зачитали обвинение, по которому вы привлечены?

— Да.

— У вас было время обдумать своё положение. Что вы скажете после такого обдумывания?

— Я воспринимаю обвинение как чушь.

Молодой человек придвинул к себе «Дело», достал листок бумаги.

— Что это такое, по-вашему? — быстро спросил он, показывая листок и в то же время напрягаясь, защищая этот листок от возможных попыток арестанта вырвать его.

Панкратьев взгляделся. На листке столбиком значилось: а-23, б-15, в-13...

— Шифр, — ответил он, — шифр какой-то.

— Ага! Шифр? А чьим почерком он написан? Только теперь Панкратьев обратил внимание на почерк. Это был его, Панкратьева, почерк.

— Мой почерк, — удивляясь и недоумевая, сказал он.

— Вот и скажите мне для начала, что и кому вы зашифровывали этим шифром? — спросил следователь, пытаясь что-то уловить на лице Панкратьева.

Панкратьев пожал плечами. Знакомый листок! Но где и когда он пользовался этим шифром? Непонятно. Память отказывалась что-то подсказать.

— Не помню.

Часа через три его увели, на этот раз — в одиночку. Все три часа следователь требовал вспомнить, иронизировал по поводу памяти Панкратьева, доказывал, что заператься бесполезно, и все три часа Панкратьев говорил одно и то же. Он был доволен, что теперь оказался один. Ни спать, ни есть он

по-прежнему не мог. Откуда появился в его бумагах написанный им неведомый шифр? Он не мог вспомнить, где и когда применял его. Разве, шутя, показывал какой-нибудь фокус Жене, удивляя её искусством разгадывать зашифрованное. Нет. Ничего такого не было!

Зато он вспомнил, где встречался с молодым человеком, допрашивавшим его. Это был сын его дальнего сослуживца. Похоже, что он ещё студент-дипломник. Однажды его отец попросил для сына большую готовальню, и тот приходил к Панкратьеву домой. Это было летом, год назад. Да, это тот самый студент. В этом не было ничего удивительного, но и ничего нового и утешительного для Степана Романовича.

Было ещё два ночных вызова, два томительных допроса по два-три часа: что за шифр, для какой переписки употреблял его подследственный...

После третьего допроса Панкратьев ненадолго забылся в своей одиночке. И вдруг вскочил, неожиданно вспомнив, что злосчастный листок бумаги, именуемый теперь шифром, он давным-давно вложил в словарь иностранных слов, вспомнил и его происхождение.

Панкратьев лет пять назад заметил, что, читая техническую литературу, он с приблизительной точностью воспринимал некоторые иностранные термины. Он любил мыслить не словами, а понятиями, и поэтому решил плохо освоенные им иностранные термины специально заучить. Купил себе толстую общую тетрадь. Предстояло решить, как пропорционально распределить страницы тетради по буквам алфавита. Конечно, на букву «А» нужно отвести больше страниц, чем, скажем, на «Е», но на сколько?

Он взял энциклопедический справочник и выписал, сколько там приходится страниц на каждую букву алфавита. Пропорционально этому он и распределил страницы в своей тетради. Всё это можно доказать, ибо тетрадь его, несомненно, где-то в портфеле, взятом в момент его ареста. В «шифре» по этой причине нет таких букв, с которых не начинаются слова русского языка: ы, й, ь...

Успокоившись, Панкратьев снова уснул, на этот раз — глубоко.

Вызвав на допрос своего подследственного, молодой человек с каким-то испугом выслушал его объяснения. Он, конечно, не сомневался в их правильности. Он сразу же прекратил допрос, более Панкратьев его не видел. Для Степана Романовича так и осталось загадкой: или он мужественно отказался вести дальнейшее следствие, убедившись в невино-

вности обвиняемого, или попросил отвода, сославшись на то, что знаком с Панкратьевым.

Следствие вновь повёл Смирнов, — тот самый, что арестовывал Панкратьева и предъявил ему страшное обвинение. Смирнову было лет тридцать, он был высок, строен, во всех его движениях сказывалась военная выправка. Белокурое добродушное лицо его часто делалось простым и симпатичным от бесхитростной улыбки, набегавшей на глаза и губы.

Как и в первый раз, он движением головы молча показал Панкратьеву на свободный стул у стола. В руках Смирнова был длинный, изящно инкрустированный тяжёлый кинжал, столь острый, что Смирнов без усилия лёгким движением срезал свесившийся угол бумаги. «Изъят у кого-нибудь?» — подумал Панкратьев.

— Ну так как? Будем сознаваться? — дружеским тоном спросил Смирнов и внимательно оглядел похудевшее лицо Панкратьева. — Как спали? На что жалуетесь в камере?

Панкратьев поблагодарил, сказал, что всем доволен.

— Надо сознаваться, Панкратьев! Соппротивление ничего вам не даст, только вымотает. Берегите силы. Ничего страшного, будете работать по специальности. Я ничего не приукрашиваю: поедете в лагерь. Что это такое? Учите современную обстановку. У нас из тюрьмы ездят в отпуск. Вдумайтесь в это. Заключённый пишет: «Принимая во внимание моё отличное поведение и хорошую работу, прошу предоставить мне месячный отпуск в деревню. Хочу помочь родителям накосить сена». И едет! Едет! Из лагеря выходят лучшие люди. Очищенные, уважаемые, облечённые доверием! У нас десятки тысяч досрочно освобождённых, удостоенных почётных наград! Вот в каком свете надо глядеть на всё, что с вами происходит.

— Я уверяю вас, гражданин следовательно, — волнуясь, заговорил Панкратьев, чуть приподнимаясь над стулом, чтобы получилось торжественнее, — я уверяю вас, что, не колеблясь, пошёл бы по зову партии, по зову страны на всё то, о чём вы говорите. В порядке приказа, в порядке мобилизации. Но зачем я должен брать на себя позорную вину?

— Никто не предлагает вам брать на себя какую-то несуществующую вину! — вдруг меняет добродушное выражение лица на холодное и жестокое Смирнов. — Вы контра. Вы замыслили контрреволюционное деяние, вы подняли руку на советскую власть. Вам предлагают расколоться. Только. Потому что это в ваших интересах. Если вы всё обдумаете, вы сами к этому придёте.

Панкратьев сидел уже долго, он не мог понять, сосчитать, сколько именно суток, похоже, десять-двенадцать. Чем дольше текло время, тем напряжённее проходили допросы. Вызывали уже двое-трое по очереди. Только что один следователь отпустит, как снова гремят железные засовы, приоткрывается дверь, и шёпот: на допрос! Допрашивает другой. Снова в камеру, и снова вызов, допрашивает третий. Уговоры сменяются угрозами. Иногда следователь задаст два-три вопроса, разгневается, психанёт, выгонит в коридор. В коридоре голые стены, сесть негде, стоишь на ногах. Разламывается спина, засыпает обессиленное тело. Но стоит опуститься на пол, как появляется охранник, уводит в карцер. Карцер тёмный, без лампочки, по полу протекает холодная вода. В темноте удаётся нашарить привинченный к полу табурет, это вся мебель. Можно сесть, но разве усидишь, когда всё тело спит!

Позднее он стал сознавать, что теряет силы не только от недосыпания, но и от того, что в новой общей камере, куда его перевели, не получает пайку. Её часто выдают тогда, когда он на допросе. Камерные сотоварищи удивляются: «Нет, его пайку не давали в камеру! Нет!». Обеденный суп — вода с манкой — так жидок, что когда Панкратьев возвращался с допроса, этот суп, стоявший в жестянке на полу, нисколько не застывал, так мало в нём было крупы.

Однажды с допроса Панкратьева привели в камеру, где шесть арестантов встретили его выкриками:

— А, вот и он! Ты что, курва, не раскалываешься? Из-за тебя и мы сидим, сволочура! Бей его, ребята!..

Избитый Панкратьев спал на этот раз на полу у порога, где стояла параша.

— Всякое будет ещё с вами, — сказал Смирнов. — Мы не можем создавать для всех тепличных условий. Надо кончать заперательство и жить, как все.

Начинались длительные пререкания, оба уставали от них, и Смирнов снова переходил на мирный тон.

— Я просматривал ваши конспекты. Отдаю должное: вы много потрудились, чтобы овладеть марксизмом-ленинизмом. Горы бумаги исписано...

— Убедились, что я предан марксизму-ленинизму? — вставляет Панкратьев.

— Современные враги тщательно изучают марксизм, — парирует Смирнов, — тщательно изучают, чтобы иметь личину, чтобы дальше пролезть, чтобы больше вредить.

— Куда же я «лез»?

— Следствию не важно, куда именно, — вновь берёт решительный тон Смирнов. — Раскалывайтесь, Панкратьев. Самому выгоднее отдать себя в руки правосудия. Есть выбор. Вот тут создалась у нас в городе организация из бывших офицеров. Может быть, вы к ней примкнули. Мы не будем расследовать, если вы сообщите нам, что примкнули. Нам важно скорее закончить ваше дело. Вы получите только пять лет лагеря. Принимая во внимание зачёты, года через два будете на свободе. Что вы выматываете себя? Нам важно провести вас через котёл, чтобы вы полностью стали нашим.

— Какой котёл? — заинтересовался Панкратьев: он уже кое-что слышал о котле от агронома из пятой камеры.

— Вы это поймёте, — сказал Смирнов, — вы знаете учение о классах. Почему марксизм — учение пролетариата? Оно вытекает из его бытия. Рабочий — коллективист по жизни, по пользованию орудиями труда, по духу. Заводы и фабрики — это и есть тот котёл, в котором вырабатывается пролетарское мировосприятие, мировоззрение. Вы служащий. Вы инженер. Вы как бы кустарь. Воспринять идеологию пролетариата вы способны только отвлечённо, умозрительно, ибо не переварились в котле коллективизма. Вот вы и пройдёте через этот котёл. Через общность средств производства, быта. Перестроится весь ваш уклад, вся ваша психика...

— Неужели вы и сами всерьёз верите в эту чушь?

— Почему «чушь»? Отрицать то, что я высказал, — значит отрицать главное в марксизме, отрицать, что общественное бытие определяет общественное сознание.

— Меня удивляет одно. Вы тоже служащий. Почему вы не рядом со мной? Почему вы меня допрашиваете и засовываете в котёл?

— Вы забыли разницу между нами. Ведь я ничего не вынашивал против советской власти! Наоборот, я охраняю её от вас.

— Если бы Ленин видел нас, слышал нас, не знаю, что сказал бы он обо мне, но вам бы сказал, что вы мерзавец!

Смирнов вспыхнул, схватил мраморное пресс-папье и крепко сжал его в руке. Пальцы побелели на коричневом мраморе.

Панкратьеву вдруг захотелось, чтобы следователь ударил его. Тогда он дал бы волю себе, своей безысходной тоске, утопил бы себя в диком буйстве. Но ничего не произошло.

— Я о тебе более лестно думал, чем ты заслуживаешь, — остывая, сдержанно произнёс Смирнов. — Ты слеп и мыслишь, как Коробочка.

— Кого может убедить эта отсебятина? Безграмотно изложенная чушь! Как вы можете уважать себя, высказывая это?

— Хорошо, — совсем успокоенно сказал Смирнов. — Если б вы убедились, что это не отсебятина, перестали бы вы сопротивляться?

Панкратьев задумался. Если на том, чтобы он добровольно взял на себя несуществующую вину, настаивает партия, советская власть, да, он слепо взял бы эту вину из доверия, из привычки к партии, из уважения к партии, которая больше знает, мудрее мыслит, дальше видит. И он ответил:

— Да. Я перестал бы сопротивляться!

— К нам прибыла комиссия, — сказал Смирнов. — Она будет инструктировать нас, как работать с вами. Я сведу вас с председателем этой комиссии. Согласны?

— Прошу об этом! — ответил Панкратьев.

32. «Ложь! Ложь! Ложь!»

Погодаев был крупным мужчиной, плечистым и мускулистым, было видно, что он с детства знаком с физическим трудом, а теперь, надо полагать, занимается спортом. Панкратьев догадался, что перед ним краевой работник: уж больно самоуверенны и развязны были его манеры. Панкратьева он встретил недружелюбным взглядом серых, жёстких глаз.

— Фамилия? — спросил он.

— Панкратьев.

— Вы и есть тот самый Панкратьев, с которым валандаются тут двадцать дней? До каких пор вы будете тормозить работу государственных учреждений? Вы что, полагаете без конца в бирюльки с нами играть?

Панкратьев угрюмо молчал.

— Почему не разоружаетесь?

— Скажите, должен ли я лгать, или давать только правдивые ответы? — спросил Панкратьев.

— Что за вопрос? Нам не нужна ложь! Только правда!

— Всё! Если нужна только правда, я буду говорить только то, что уже говорил.

— Вы знаете, где вы находитесь?

— Знаю.

— Вы верите, что не выйдете отсюда в те же условия, в ту же обстановку, в которых вы жили?

Панкратьев подумал.

— Да, я не верю в то, что вы меня выпустите.

— Правильное рассуждение, — одобрил Погодаев. — Следовательно, надо обдумать и дальнейшее. Надо сделать так, как лучше, как легче. Нам не хочется осложнять ваше дело. Советская власть считает вас ненадёжным гражданином. Вы должны быть изолированы на какой-то срок. Это неизбежно. Уклониться от этого вы не сможете. Лучше для вас, если вы пойдёте навстречу нам. Мы не будем копать в ваших намерениях. Для нас достаточно, если вы признаете, что состояли в контрреволюционной организации. Даже меньше — что вы были завербованы в неё. Не понимайте этого слова буквально. Поясню примером. Вы идёте на почту. Присоединяется к вам ваш знакомый N. Вы идёте некоторое время вместе. И за это время он рассказывает вам антисоветский анекдот. Вы выслушали и не донесли нам об этом. Знакомый испытал вас. Вы не выдали его. Он рассматривает вас как единомышленника. Он завербовал вас, надеется на вас. Вот только это от вас и требуется. Напишите, что такой-то рассказал вам анекдот и этим завербовал вас в свою организацию. Вот вас завербовал Z. Он сам пишет об этом. Вот его показания. Убедитесь.

— Это будет ложь. Он пишет, что мы плыли вместе на пароходе в июле прошлого года. Не было этого. И не могло быть, я был в это время в Москве на сельскохозяйственной выставке.

— Э! Какой дурак будет в этом разбираться! — нетерпеливо воскликнул Погодаев. — Напишите: показания Z подтверждаю. Плыли на пароходе. Был такой разговор. И всё. Хотите — устроим очную ставку с ним. Это будет хуже для вас: не будет элемента добровольного признания.

— Хорошо! — совершенно неожиданно для себя безучастно сказал Панкратьев. — Я подпишу.

— Вот и прекрасно, — оживился Погодаев. — Пишите. Давно пора. И всё кончится. И нас мучить не будете. Пишите!

Панкратьев угрюмо, с каким-то убитым выражением лица, начал писать. Написав три строчки, он расписался. Погодаев торопливо подобрал листок и позвонил. Вошёл Смирнов.

— Вот как надо работать! — победно выкрикнул Погодаев и хвастливо щёлкнул пальцами.

Кровь бросилась Панкратьеву в голову. Ухарский жест и хвастовство Погодаева доказали ему, что он стал объектом махинаций, что Погодаев смеётся над его простотой и своей ловкостью базарного жулика.

Погодаев вновь нажал кнопку, вошёл охранник. Панкратьева увели в камеру.

— Что я наделал! Что я наделал! — кричал внутри себя Панкратьев, съедаемый сознанием позора и непоправимостью допущенной ошибки.

Под утро в камеру привели другого арестанта. Он был измучен до последнего предела. Ещё не закрылась за ним дверь, как он бросился на нары.

— Ничего! — едва слышно простонал он. — Мучайте! Зато я сам себя уважать буду!

Это было ножом по сердцу Панкратьева...

Теперь он мечтал лишь об одном. Пусть вызовут, он уничтожит написанное. Притворится, скажет, что хочет дополнить запись более подробными и правдивыми показаниями, и уничтожит то, что написал.

Но прошёл день, второй, третий — его не вызывали.

— Чего ты мучаешься? — спросил сосед. — Крепись. Ну их! Шли их подальше. Ни черта не сделают.

— Я уже подписал, — признался Панкратьев. — Подписал, что меня завербовала одна сволочь, которая уже дала письменные показания.

— Зря. Я вот тоже боюсь этого малодушья. Сознаешься, что тебя завербовали. Это первая, самая лёгкая ступенька. А потом начнут тебя долбить: а кого ты завербовал? Малодушные пишут, десятки людей попадают сюда же...

Панкратьев молчал. Наконец, на третью ночь, часа в два послышалось долгожданное: «Панкратьев! На допрос!».

Он шёл с ожиданием и страхом: к кому вызывают?

Оказалось, ждал его Погодаев.

«Не выдать себя! Не выдать себя!» — внушал себе Панкратьев. Он стремился держаться спокойно, даже весело. А Погодаев был приветлив и любезен.

— Ну, отдохнули? Я дал вам отдохнуть, трое суток никто вас не беспокоил.

— Благодарю. Я хорошо отдохнул, — криво усмехнулся Степан Романович и осторожно оглядел стол. Того показания не было.

— Я вспомнил на досуге, что можно было быть изобретательней, — сдержанно сообщил Панкратьев. — Я дал мне книжку Троцкого «Уроки Октября». — Это не выдумка, так и было. Только в другое время.

— Он дал вам такую книжку?

— Раньше! Много раньше!

— Это имеет значение. Как же вы забыли об этом? — Погодаев, похоже, и верил, и не верил.

— Забыл, — ответил Панкратьев. — Могу добавить, если хотите.

Погодаев молчал. Не клюнуло?

— Кого среди ваших друзей вы могли считать вашими общниками? Так же, как Z считал вас? Они, ваши друзья, не знали об этом, а вы считали их единомышленниками?

— Человек шесть было у меня таких друзей, — отчаянно произнёс Панкратьев, чувствуя, что вызывает доверие.

Погодаев раскрыл папку, достал чистый лист бумаги, положил перед Степаном Романовичем. Потом поколебался секунду, вдруг достал прежний лист, приблизил его к Панкратьеву и сказал:

— Давайте дополним прежнее показание. Вот тут можно дописать. Как допишете?

— Z за два месяца до этого вручил мне изъятую к тому времени книгу Троцкого «Уроки Октября».

— Хорошо. Вот так и напишите.

Панкратьев, не торопясь, с хриплым дыханием, которое вдруг почувствовал у себя, обмакнул перо в чернила и торопливо написал на своём показании поперёк строчек: «Ложь! Ложь! Ложь!».

Он три раза успел написать это протестующее слово. Безумное удовлетворение, дикая радость охватили Степана Романовича. Вот и всё! Свершилось! Ничто не гнетёт его. Ничто! Режьте! Мучайте! Ничего не добьётесь!

И в тот же момент дикая злоба, негодование, даже испуг появились на лице Погодаева. Он с бешенством толкнул на Панкратьева стол. Обессилевший от голода и нервного напряжения Степан Романович не удержался и опрокинулся вместе со стулом. Он попытался ухватиться за стол, но не удержался. Со стола с грохотом покатались чернильница, пресс-папье, ещё что-то.

В комнату вбежал явно испуганный Смирнов.

— Что? Что случилось? — спросил он.

— Вот эта проститутка, — в ярости крикнул Погодаев, — вот эта контра и сволочь документ мне испортила.

Чувство удовлетворения мелькнуло в глазах Смирнова. Он даже улыбнулся, но тотчас спрятал довольную улыбку, явно опасаясь Погодаева.

Панкратьев тяжело поднялся. На душе его была радость. Теперь он ни о чём не жалел, ничего не боялся.

— Сволочь ты! Дур-р-рак! Не хотел получить пять лет — получишь десять! Расстрел получишь! Я знаю, кто ты. Ты сам возглавляешь организацию! Шайку!.. Отправьте его, — обратился он к Смирнову, — в такую камеру, где он сдохнет, чтоб его вошь заела, чтоб он знал, что такое наш подвал.

Вошедший охранник долго вёл довольного, даже счастливого Степана Романовича по коридорам, и наконец втолкнул его в громадную камеру, в которой невозможно было сразу что-нибудь увидеть. Он вошёл и сел у порога. Оглядевшись, увидел, что в камере человек сорок-пятьдесят. Все были голые. Некоторые сидели на полу и обмахивались чем попало, пытаясь справиться с духотой. Нар в камере было человек на восемь, остальные спали на полу. Степан Романович сразу же почувствовал, что ему дурно, недостаёт воздуха. Он с трудом стянул с себя липкую рубашку, и, открыв рот, стал размахивать ею перед собой. Душно! Душно! Ах, как душно!

33. Обвинилровка готова

В этой камере он просидел двадцать суток. Когда его привели, пришлось устроиться у порога, около параши, таков был порядок, неизвестно кем и когда установленный. С уходом кого-либо все обитатели камеры передвигались, а новенькие занимали место у порога. За двадцать дней Степан Романович продвинулся в дальний угол, уже его очередь была двигаться вдоль стены поближе к нарам. Ещё пять-шесть дней, и он будет лежать не на полу, а на нарах.

Было так же душно и жарко. Всё так же обитатели камеры обмахивали себя полотенцами и рубахами. Теперь Степан Романович каждый день получал свою пайку и съедал её над мешочком, чтобы не терялись крошки.

Население камеры было самым разноликим. Один из заключённых знал Панкратьева. Это был студент политехнического института. Здесь же сидел его отец, фанатик-доктор, применявший для лечения своих пациентов камушки, черепки, листья растений, кусочки дерева, стекло, которое он навешивал больными на верёвочках через шею в виде каких-то амулетов. Говорили, что у этого старика были учёные труды, напечатанные тотчас после Октября в типографии провинциального города. Этому старику запретили лечебную прак-

тику, но больные, верившие в его методы лечения, заставляли его принимать их.

— Меня врачи посадили: я знахарь в их глазах. А вообще полоса теперь идёт такая, — объяснял он Степану Романовичу. — Берут и садят тех, у кого предполагают золото. Ну идут и всякие осколки капиталистического мира, дети и внуки фабрикантов, купцов, заводчиков. Кулаки сюда же. Бывшие нэпманы, выходцы из разных нехороших партий. Коммунисты, которых вычистили, или выбывшие механически. Красные партизаны, которые в нетях... Бывшие офицеры...

Панкратьев прикинул на себя: не получалось, ни к одной из этих категорий он не подходил.

— Ну, тогда зубок на вас был у кого-нибудь. Это тоже в ходу. Вот я у врачей был бельмом на глазу, по их убеждениям я мракобес-шантажист. Конечно, надо упрятать такого, раз есть к тому возможность...

Подвальные окна были крохотными и находились очень высоко под потолком. Неожиданно однажды утром через них в подвал ворвались весёлые выкрики, музыка, весёлый многоголосый шум. Кто-то сообразил — сегодня Первое мая, сегодня народ празднует. Демонстрация проходила недалеко на площади, куда выходило окнами здание, в подвалах которого они сидели*. Конечно, люди шли серединой дороги, а по тротуарам, как всегда, стояли зрители-зеваки.

И вдруг все в камере услышали молодой звонкий женский голос: «Васенька! Васенька! Васенька! Я здесь! Вот я! Я здесь стою! Смотри сюда!»...

Конечно, это молодая мама кричала своему малышу, затравшемуся на минуту в толпе идущих по тротуару пешеходов. Но в камере все были потрясены — один из молодых заключённых был Василием. Верил ли он сам в это, но он метался по камере, уверяя, что голос женщины — голос его жены. Это она подала ему свой голос, зная, что он томится где-то тут.

Ночью на второе мая Панкратьева вызвали на допрос. Он шёл, хватаясь за стены коридора и чувствуя, что шатается от обилия воздуха, от слабости, от одурения и пустоты в голове, от безразличия ко всему.

Первое, что бросилось в глаза в кабинете Смирнова, — кастрюля, знакомая, домашняя кастрюля, беленькая с красными цветочками, потёртая, лет шесть служившая Панкратьевым. Теперь она стояла на виду, Панкратьев не мог её не видеть с того стула, на котором он обычно сидел в этом кабинете.

* Это здание (проспект им. В. И. Ленина, 44) существует и поныне.

«Передача?» — подумал Степан Романович.

Смирнов взгляделся в его худое, измученное, бледно-жёлтое, опухшее лицо, и, как показалось Панкратьеву, дружелюбно ему улыбнулся.

— Ну вот, — сказал он, — всё свершилось. Дня через два выпишем вас.

— Как? Куда выпишете? — ничего не понял Панкратьев.

— Переведём в тюрьму. Там уже легче, — пояснил Смирнов. — Тут, пока вы сидели в общей камере, всё оформилось. Вам можно уже ни в чём не сомневаться: вы полностью изобличены.

Смирнов достал толстую папку, раскрыл её на одной из страниц и дал прочесть Степану Романовичу.

Сослуживец Панкратьева, начальник планового отдела завода Гусев утверждал, что он, Панкратьев, возглавлял контрреволюционную организацию, в которую входил и Гусев. На окраине города были закопаны три пулемёта. На квартире Панкратьева проходили собрания повстанческой группы — перечислялись знакомые Панкратьеву рабочие, всего семь человек. Жена Панкратьева выносила из подполья и показывала группе два громадных чугуна с патронами и гранатами.

Панкратьев читал и холодел от безразличности ко всему: и к Гусеву, и к этому страшному делу, и к этим лживым словам.

Дальше, на других страницах дела, другие рабочие собственноручно подтверждали показания Гусева, добавляя подробности. Максимов сообщил, что по имевшемуся плану восстания он, Максимов, должен был захватить почтамт, Гусев — госбанк, а сам Панкратьев — горком партии.

Панкратьев отодвинул дело, не желая читать дальше.

— Предлагаю вам такую формулировку, — сказал Смирнов: — «Будучи достаточно изобличён показаниями моих сослуживцев, признаю себя виновным». Напишите такое показание, и на этом всё закончится.

— Не могу я! — воскликнул Панкратьев.

Смирнов пристально осмотрел подследственного.

— По нашим сведениям, вы были работником ЧК. Подтверждаете?

— Да. Был. Подтверждаю.

— И уклонились, оставили работу в этой организации. Подтверждаете?

— Оставил эту работу.

— Уклонились от неё?

Панкратьев молчал.

— Да, уклонился, — наконец ответил он. А в голове стремительно пронеслась мысль: «Вот оно, вот моя вина перед партией, перед советской властью. Мы ушли, уступив наше место этим мерзавцам».

— Почему?

— Оказался мягкотелым для этой работы. Хлюпиком.

— Только теперь додумались?

— Нет, я и тогда сознавал это, когда уходил учиться, зная, что не вернусь на эту работу.

Оба помолчали. Смирнов говорил уже не как следователь, а как человек, пытающийся что-то понять в происходящем.

— Расскажите, в чём проявилась ваша непригодность.

— В мелочах. Во многих мелочах. Вот один из примеров. Закончилась Гражданская война. Борьба с разрухой. Получаем письмо из дальнего района от бывшего красного партизана. Сообщает, что учитель в их школе пользуется большим влиянием у населения. Часто выступает. А в прошлом — эсер. Надо перевести его в другую школу, подальше от местных кулаков. ЧК выносит решение — переселить. Сообщаю в окроно: перевести учителя Ровенского по мотивам школьного порядка в другое село. Окроно издаёт приказ о переводе. А время — декабрь, трескучие морозы. У Ровенского — годовалый ребёнок. Ехать сорок вёрст, на лошадях. Да ещё есть ли в той, другой школе тёплая квартира? Ровенский отказывается. Окроно настаивает. Приезжает сам Ровенский, чуть не в ногах у заведующего валяется, просит отменить распоряжение, удивляется, зачем это нужно, почему вдруг зав. окроно стал каменным. Прихожу я как-то с работы домой, а дома — незнакомая мне женщина, оказывается — Ровенская. Глаза красные, губы искусаны, вспухли, у Татьяны, моей жены, — тоже. Обе два часа тут дома ревут, оказалось, что они — школьные подруги. Ровенская просит: Степан Романович, сжальтесь над моим Петькой, всего полтора года ему, заморожу я его в такие холода, разрешите дожить до лета! Ведь клочка никакой тёплой одежды нет! Моя Татьяна вторит: почему надо в окроно быть столь жестокими, нужно ли для дела такое бездушие?

Я поддаюсь этому настроению, чувствую, что не нахожу в себе оправдания. Ничего им не сказал, кроме того, что, видимо, есть причина, чтобы быть жёсткими, даже жестокими. Ушёл, оставив их без утешения.

В ячейке я протестовал, но что я мог сказать! Вот такие случаи меня и размагничивали. А тут предложили поехать в вуз. С радостью ухватился за это. Вот так и ушёл с этой работы.

Смирнов помолчал и неожиданно спросил:

— Хотели бы вы по уголовной статье пойти, Панкратьев?

— Что вы? Ни за что! — брезгливо ответил Панкратьев. Смирнов снова промолчал, а про себя, наверное, подумал: «Ну и дурак!». Он встал и постучал в стенку.

— Товарищ Карпова! Готова обвинилровка на Панкратьева?

Панкратьев невольно улыбнулся: замечательное словечко «обвинилровка».

— Чему вы?

— Слову «обвинилровка».

— Удачное слово, — ответил Смирнов. — Была здесь у меня ваша жена, — неожиданно продолжил он, — сидела вот на этом же стуле. По материалам, с которыми вы только что ознакомились, вы видите, что она может разделить вашу участь. Это было бы нежелательно. Послушайте меня. Не ломайтесь, подпишите ваши показания. Она будет работать. А вам теперь уже всё равно.

В это время за стеной вдруг что-то упало, и там надрывно и очень громко заплакала женщина. Панкратьев с испугом услышал этот плач, но это была не Таня, совсем не её голос... Он потом часто задавал себе вопрос: было это мистификацией или случайностью?

— Я жду ответа, — напомнил о себе следователь. — Есть гарантии того, что жена будет в безопасности. Обещаю сделать так.

— Я согласен, — вяло махнул рукой Панкратьев.

— Ну вот, давно бы так. Завтра я вас вызову.

Через десять минут Панкратьев оказался в той камере, в которую его привели когда-то с воли. Это было, наверное, с месяц тому назад. На этот раз в камере был только один человек, как выяснилось, только что арестованный.

Панкратьева отвели к надзирателю. Там стояла та самая кастрюля, которую он видел в кабинете Смирнова, и знакомая корзинка. Из неё всё было вывалено на стол, раздёргано, разрезано на куски.

— Передача, — буркнул надзиратель. — Берите всё, кроме корзины и посуды.

Панкратьев снял пиджак, сгрёб в него всё и унёс в камеру. В передаче он обнаружил папиросы, три пачки. Кому это? Ведь Таня знает, что он не курит. Неужели догадалась?

На другой день вечером его снова вызвали на допрос. Не глядя, он подписал всё, что ему, страницу за страницей, подавал Смирнов.

Следователь был весел и как-то легкомысленно настроен. В руках он вертел всё тот же кинжал. Он ловко срезал им свешивавшиеся с его левой руки листки бумаги, красивые ленточки чуть взлетали вверх и мягко падали на пол. Смирнов развлекался.

— Вчера была демонстрация. Вам слышно было, как мимо проходили колонны?

— Да.

— Войска показывали новые танкетки. Маленькие, юркие, со скорострельными пушками! А вы, десять человек с тремя пулемётами, намеревались захватить город.

Панкратьев криво усмехнулся. Ему был противен этот шутовской тон.

— Вы не горюйте, — заметив усмешку подследственного, сказал Смирнов. — Усольцева из вашего коллектива помните?

— Помню. Это чертёжник.

— Вот-вот! Обратите внимание — ведь он был вычищен по третьей категории. Без права поступления на работу. Он ведь и теперь церковный староста в Петропавловской церкви. И что же? Он на свободе! Он, такой вот, нам не нужен. Почему? Потому что за ним никто не пойдёт. Нам нужны солидные люди. Вы окажетесь в хорошей компании, Панкратьев!

Зазвонил телефон. Смирнов положил на стол кинжал, поднял трубку.

— Кто? Ты, Ниночка? Так ты где? От горсада говоришь? Когда сеанс? Покупай билеты, приду, приду. Успею, — он взглянул на часы. — У меня тут не очень покладистый собеседник, но я минут через пятнадцать закончу, да ещё пять минут ходу. Ладно-ладно!

Он положил трубку, тяжело вздохнул.

— Никто ничего не понимает, Панкратьев. Вот зав. музеем Кашкин. Стоит сейчас отупело посреди музейного двора и недоумевает. Что это такое? Он, Кашкин, сознался, что его завербовали в контрреволюционную организацию. Он, Кашкин, дал список лиц, которых он сам завербовал в организацию. И что произошло? Товарищи его сидят, а он, их вождь, на свободе... Никто ничего не понимает, Панкратьев. Итак, мы закончили. Не тушуйтесь, Панкратьев, будете работать по специальности! Вам повезло. Получите большой срок в лагере, но он лучше маленького на Соловках.

На этот раз Панкратьева снова привели в ту камеру, где сидели агроном и рыжеватый молодой человек.

— Вы всё ещё здесь? — удивился Панкратьев. — Почему? Ведь вы давно раскололись?

— Групповое дело. Ждём, когда оформят всех. А вы тоже раскололись?

— Всё! Кончено!.. До чего хорош был следователь сегодня!

— Ещё бы! За каждый час допроса он получает двадцать пять рублей. Бывало, задаст мне вопрос и два часа к семинару готовится. Он сидит, и я сижу. Подготовится и говорит: «Ну, так не хотите признаваться? Ну идите!». Хорошо! Я посидел наверху два часа, а ему пятьдесят рублей в карман.

Через пять дней Степана Романовича и всех его однодельцев перевели в тюрьму, где сформировали этап. В тюрьме их ждала приятная новость: он и его группа обвинены не по пункту два, а по пункту десять — контрреволюционная агитация. Это много легче для лагеря, сказали бывалые люди, можно работать прикурком. Они же разъяснили: видимо, по второму пункту была совсем уж липа, и край не утвердил. Панкратьев вспомнил о показаниях Старченкова, имевшихся в его деле. Он в своих показаниях врал особенно бессовестно, назвав в числе участников организации не только таких, как Степан Романович, но ещё и самого секретаря обкома ВКП(б), члена «тройки».

34. Лагеря-то «исправительные»!

Из КВЧ пришёл дневальный и вызвал Загула к Зайцеву. Видно было, что тот очень доволен, доволен тем, что именно ему, Зайцеву, секретарь начальника Управления написал служебную записку о Загуле. Значит, Зайцев, хоть и небольшой, но начальник, может командовать этим эзком Загулом! Мелким душам подобные чувства приносят вовсе не мелкое удовлетворение!

В записке сообщалось, что начальник Управления Кузнецов намерен вызвать Загула к себе. Предполагалось, что Загул станет личным секретарём Кузнецова, будет сопровождать его в персональном вагоне и вести приблизительно такую же работу, какую Загул вёл при поездках с Большаковым.

«Сообщите, — говорилось в записке, — нельзя ли на должность техредактора подыскать взамен Загула человека у вас на месте. Это необходимо, ибо, если Загул не подойдёт на должность секретаря, то мы возьмём его в Свободный, пусть ведёт третью полосу в газете Управления. Рассчитывать на пополнение лагеря литературными работниками

пока не приходится. Заявку мы дали, но она плохо выполняется».

— Это о вас Большаков там назвонил, — дружелюбно сообщил Зайцев. — В гору полезете. Ну, не забудьте о нас, маленьких людях.

— Я и без того вас не забуду, — улыбнулся Загул, вкладывая щепотку соли в эти слова.

В редакции среди прочей почты оказалось и письмо Кузнецова, адресованное непосредственно техредактору Загулу.

«Я положительно отмечаю ваши редакционные статьи по вопросам производства, — писал начальник Управления. — Но ваша газета, конечно, не может не касаться бытовых и личных вопросов, и событий, находящих какие-то отклики в массе заключённых. Очень жаль, что эти вопросы ускользают от нашего внимания: мы — исправительный лагерь, и нам многое надо знать, чтобы исправлять людей. Прошу давать отклики по таким вопросам лично мне».

Прочитав, Загул испытал удовлетворение. Конечно, это не литературная работа, но всё же вопросы общественной значимости, и он, Загул, конечно, с удовольствием будет по ним высказываться.

Среди писем было и письмо Екатерине Спириной. Обрадовавшись, Катя закричала, закружилась по вагону, сначала боялась распечатывать. Но в письме не было ничего печального.

«Дорогая моя доченька, Катюшенька моя! — писала под диктовку Катиной мамы Надя, школьная подруга Кати. — Как хорошо, что ты жива, что ты здорова, а то ведь я уже старенькая, всякое про тебя думала, всякого боялась...»

Катька оживлённо рассказывала Дмитрию Юрьевичу, какая у неё мама, высокая, сухая, но такая добрая-добрая. Катя любила сидеть вечером около неё, прижавшись к её ногам, когда мама сидела на завалинке с другими женщинами и они о чём-нибудь рассказывали друг другу. Катя заслушается, ей задремлет, ей тепло-тепло в ногах у мамы, никак не хочется идти в дом, ложиться спать. Она встаёт, держась за маму, и уже не помнит, как уснёт на полу, где мама постелет ей курпушку*.

Мама спрашивала Катю о сестре, почему Катя ничего о ней не написала. Пусть Катя приезжает, наверное, выросла. Её подруги — уже невесты, уже школу окончили. А где училась

* Курпушка — от «курпя»: овца, ягнёнок, так в деревнях Оренбуржья называют овчину.

Катя, почему об этом ничего не прописано? Пусть приезжает скорее. Картошки много посадили нынче, всем хватит, пусть не беспокоится.

Под конец своих рассказов Катя всплакнула.

«Вот можно было бы и о Кате написать Кузнецову, — подумал Загул. Сколько человеческого в её переживаниях! Если хорошо написать, дойдёт это и до начальника Управления лагерями, тем более, что статья у неё бытовая. Ничего нет зазорного для начальника проявить интерес к биографии такой девушки, тем более, что он и сам пишет — лагеря-то исправительные!»

Как-то получилось, что в это же время Колька рассказал об Авдюшкине. Дмитрий Юрьевич уже стал забывать, кто это такой, но когда Колька упомянул Кобру, Загул вспомнил и Авдюшкина, и всех спутников по вагонзаку.

— Вот, Дмитрий Юрьевич, вы говорили, что Кобра — Кобра! Я ещё говорил, что он сам себя выпячивает, этот Кобра. Зазнавался тогда: я жулик большой! Какой же ты большой жулик, если тебе нет никакого уважения! Ни от кого! Даже от повара. Ведь от повара обязательно блат хорошему жулику, ну, настоящему жулику. А вот Кобре — шиш. Ведь он дошёл, Кобра-то, шакалом стал. И что он сделал со зла? Чтобы доказать! Повар не дал ему лишней баланды. Ну не дал — что он будет благовать всякому. Тогда он, Кобра-то, схватил у него, у повара, нож, задрал вот так рубаху, оттянул у себя кожи кусок вот тут. И отрезал себе кусок. Отрезал и шмяк на стол повару: «Подавься ты, курва!». И вот так ещё сказал: «Жри моё мясо, если тебе жалко казённого!». И ушёл. Ничего себе, выкинул номер? Но только вхолостую выкинул. Пустышка это, пустой номер у него получился. Повар — я-то знаю его, этого повара, Тошка Свистун, — он же сам из жуликов, да и есть у него свои ребята. Его очень-то не запугаешь. И что же получилось? Вот тебе и Кобра. Подумаешь! А задавался, когда бригадиром был! Вот он тут и напакостил сам себе. Не сварила тогда дурья голова. Надо было уметь блатом у мастера пользоваться, в нарядах соображать, и своих ребят подкармливать. Вот его бы и поддержали теперь. А так — кому он нужен такой? «Я — Кобра!» Подумаешь, велика птица...

— Кобра не птица, Колька! — задумчиво сказал Загул.

...Бывают же такие светлые дни! Начавшись так интересно с утра, он ещё эффектнее закончился вечером.

Когда Загул пришёл к Большакову подписать гранки, он застал в кабинете много штабных — Зайцева, Панкратьева, Дину Гедальевну, начальника финчасти. Подписав, как всег-

да, не глядя, номер, Большаков сделал Загулу знак задержаться.

— Может быть, ты тоже будешь полезен. Присядь. Продолжай, Рихтер.

— Так вот, я докладываю, что, к нашему стыду, накопились у нас бесхозные деньги. Как они образовались? Из денежных переводов, которые мы не сумели вручить адресатам. Где теперь эти адресаты — кто разберётся? Моё мнение: раздать эти деньги заключённым, руководствуясь имеющимися у них письмами с воли.

— Сколько их, не розданных денег?

— Шесть тысяч шестьсот рублей, — ответил начфин.

— Шесть шестьсот? Я поддерживаю. Надо раздать эти шесть шестьсот тем зэкам, которым высланы деньги, но они их не получили. Вот и разрубим узел, разрубим справедливо. Кому поручить? У тебя есть на примете, Рихтер?

— Я не могу из своего аппарата: отчёт сорвём.

— Правильно. Зайцев! Назови, кого послать.

Зайцев вдруг побледнел, смутился.

— Из заключённых?

— А то из каких ещё?

— Затрудняюсь, гражданин начальник.

— «Затрудняюсь!» — иронически передразнил Большаков робкого начальника КВЧ. — Загул! Есть честные ребята? Кого можно послать?

— Можно Каблукова из бригады Воронина.

— Молодой?

— Двадцать четыре года.

— Считать умеет?

— Студент пятого курса!

— Прекрасно.

Оказалось, что Каблукова знали многие. Бригадир, один из лучших. Сам работает, увлекается и увлекает других. «Комсомолец».

— Запишите, Рихтер. Ещё?

— Панкратьев бы съездил, — осторожно сказал наконец Зайцев.

— Панкратьев здесь до зарезу нужен. Дина Гедальевна, из женщин можно?

— Неудобно женщине по вагонам прыгать.

— Тогда я назову мужчину. Шебалин. Он как раз здесь сегодня.

— Тоже правильно, — поддержал Большаков. Ну, а третий — Загул. Как смотришь, Загул? На одни сутки?

— Я согласен, — ответил Дмитрий Юрьевич.

— Прошу сохранить всё это в тайне. Чтобы никто не мог злоупотребить. Выдача денег должна быть внезапной, иначе обманных писем не оберёшься.

Рихтер уточнил у Загула, как вызвать Каблукова, и пригласил самого Загула в финчасть к восьми часам утра. Когда вышли, к Загулу присоединилась Дина Гедальевна.

— Знаете что, Дмитрий Юрьевич, — взволнованно сказала она. — Я так беспокоюсь, не знаю, как к этому отнестись. Но, в общем, радуюсь. Был сегодня у меня Шебалин. И знаете, что он заявил? Что он намерен жениться на вашей Кате. Говорит, что она знает об этом, что он уже с ней разговаривал. Присит меня как-то закрепить их брак советом, помощью. Катя освобождается через месяц, а Шебалин ещё через пять. Вот в этом и беда. Как их закрепить? Всё это надо обдумать. Вы завтра уезжаете. Я послезавтра специально приду к вам в редакцию.

Загул был и удивлён, и доволен. Конечно, Катька не пара этому парню, но любовь есть любовь...

Он, в свою очередь, хотел было рассказать, что Катька получила письмо от матери, но оказалось, что Катька сама рассказала об этом Дине Гедальевне, она нарочно прибегала с этим в КВЧ, радостная и возбуждённая.

Загул разбудил Лосева, чтобы вместе заранее наметить план очередного номера газеты. К трём утра газета была смонтирована, можно было готовиться в дорогу.

35. «Дебит в кредит, сальдо-бульдо»

— Говорят, что это ты тут мне какой-то блат устроил? — встретил утром Загула улыбающийся Каблуков. Он выглядел прекрасно: загорел, возмужал, раздался в плечах, красивое, энергичное лицо стало ещё более мужественным. Фигура стала подобранной, как у спортсмена.

— Ты засиделся, пора размяться, — ответил Загул.

Они встретились, как родные. Оказалось, что Каблуков установил связь с мамой, получает письма от неё. Более того, получил письмо и от Сони. Она писала, что не верит в его вину, считает его чистым перед родиной и честным комсомольцем, и что бы с ним ни случилось, она будет ждать его, иначе своей судьбы не мыслит. Спрашивает, может ли она приехать к нему хотя бы только затем, чтобы взглянуть на

него и поговорить о главном, о том, что связывает людей на всю жизнь. Каблуков и хотел рассказать об этом поэту, и сдерживался, боясь словами опошлить чистое чувство к своей особенной, ни с кем не сравнимой Сонечкой. Он лишь охватил рукой спину Загула и молча подержал так, не сказав ничего.

Подошёл Шебалин. Он был во всём вольном, в новом полупальто и в новой шапке. Что ж, ему ли не покупать на себя обновы! Он зарабатывал не хуже, чем иной на воле. Правда, на руки получал поменьше, зато был на готовых лагерных харчах.

Начальник финчасти проводил их в свой кабинет. Дело было секретное, и никто из его сотрудников, кроме заместителя и кассира, не знал, что предпринимается для ликвидации бесхозных сумм.

— Дело простое, — сказал Рихтер. — Вот вы, Загул, приходите на фалангу и объявляете, что принимаете жалобы от зэков, не получивших денег. Если жалобщик предъявляет письмо от родных, в котором сообщается, что ему были высланы деньги, а воспитатель подтвердит: в последние месяцы этот зэк действительно никаких денежных переводов не получал, вы записываете его фамилию, имя, отчество вот в эту ведомость, берёте от него письмо, проставляете сумму, им не полученную, и он расписывается.

— Хорошо, — спросил Шебалин, — а если он скажет, что утерял письмо?

— Посоветуйтесь с воспитателем или начальником, смотря кто из них будет присутствовать. Если работяга, честный парень, — надо выдавать. Вот и всё.

— Всё? Но как передвигаться? Я под дудоргой не пойду и не поеду. Зачем мне это надо! — обиженно и непримиримо возразил Каблуков.

— Я тоже, — присоединился Шебалин. Рихтер засмеялся.

— Я тоже бывший зэк, и вас понимаю. Благоразумный предпочёл бы охрану. Гордый — отвергает. Что лучше, не берусь судить. Под охраной было бы удобно в другом отношении. Пришли на фалангу, сдали чемодан вохру — и спите себе спокойно. Но — как хотите. Я это предвидел, говорил Большакову. Пожалуйста, дело ваше. Я тоже заинтересован. Что случится — скажут «не обеспечил». Но я в хорошей компании, Большаков согласен.

После этого и Загул тоже отказался от охраны.

— Я дам вам поближе участки, — сказал Рихтер Загулу, — остальные ребята помоложе, могут и подальше добратсья.

Вы — в седьмую и к Шагиахметову. Для вас хватит. Зато в седьмой я попрошу вас выдать и премвознаграждение.

Загул согласился. Не всё ли равно, назвался груздем — полезай в кузов.

Ехать ему было близко, и он поехал вечером попутным товарняком. Ребята выехали утром пассажирским, им надо было совсем в другую сторону. Загулу дали фанерный чемоданчик, куда он уложил деньги, ведомости, кусок хлеба, сахар и большой кусок сала из посылки.

Вот ещё материал для лагерного очерка! Один из ярких примеров лагерных противоречий. Дали денег, усадили на поезд. Беги! Разве дождёшься более благоприятного случая? Ну верят Шебалину, у него бытовая статья, да срок вот-вот кончится. А Каблуков? А сам Загул?

Он продрог на тормозной площадке, пока доехал до первой остановки. Подумал: пальтишко в лагере тоже поизносилось, как поизносились и многие воспоминания...

Тут ему сходить, теперь надо пройти километра четыре вдоль линии. Загул пошёл быстро, чтобы согреться. Шпалы сровняло притоптавшимся снегом, они едва высывались. Идти было легко, но скучно. По обе стороны дороги тянулся жиденький хилый лесок, какой бывает на болотах. Дмитрию Юрьевичу невольно пришло в голову, что он рискует. Он отошёл от разъезда километра на полтора. Разъезд чуть курится вдаль, серенький, убогий, безлюдный, никого не видно на путях ни сзади, ни впереди. «Карр! Карр!» — кричат вороны, и в их криках слышится тревога...

— Кому я нужен, — думает Загул. — Никто не знает, что сегодня я не просто зэк, но ещё и кассир, что в маленьком чемоданчике, которым я размахиваю, несколько тысяч. Мало ли бродит по линии хмурых, деловитых заключённых! Что у нас возьмёшь? Ни документов, ни денег, ни вещей, ни табаку, ни съестного.

Потом он стал думать о Катьке, о славном парне Шебалине, который станет крепкой ей опорой в здоровой вольной жизни. Выправится девчонка, стряхнёт с себя всю грязь прошлого, станет Екатериной Шебалиной. Ему было приятно думать об этом. Ничего он не сделал для Кати Спириной, не был ей ни отцом, ни ласковым братом. И всё же протянулась между ними какая-то родственная ниточка. Катя, несомненно, чувствовала в их грубоватых взаимоотношениях его заботу о ней, искреннее его желание добра запутавшейся девчонке.

Нагнал товарняк. Загул сошёл с колеи, но задержался на насыпи. Поезд обдал снежной пылью, дунул морозным ве-

тром, разостлал низом металлический холодок. Загул снова поднялся на рельсы. Впереди виднелся мостик. Паровоз визгливо крикнул на нём о себе и окутался паром.

За мостиком сразу же показалась фаланга. Бараки, вышки, широкие привычные ворота с проходной будкой рядом. Вот и пришёл.

В прошлый свой приход сюда Загул обидел начальника фаланги, написав статью «Загородились лозунгами». Статья получилась злой, но правдивой. Расположенная на болоте фаланга производила грустное впечатление. Грязная зона, за нею общипанный, реденький, рыжий болотный лес. Колья, на которые натянута проволока, похилились. Плохо держались на болоте и покосившиеся вышки. Зато обилием щитов и досок кричали обещания, призывы: «Выполним!..», «Дадим!..», «Позор лодырям!». С этими плакатами-выкриками соревновались другие: «Запретная зона», «Переход на пять шагов считается побегом!». А выполнение плана было убогим — шестьдесят-семьдесят процентов. На фаланге было много отказников, много доходят.

Большаков был доволен статьёй, а начальник фаланги Моисеев кровно обиделся: надо учитывать, с кем он работает. Одна шпана! Пусть попробует кто-нибудь даст столько же с этими людьми. Загул хорошо знал, что он действительно не дал бы и такой выработки, если б его назначили сюда, и чувствовал себя неловко. Но сегодня он шёл сюда не в качестве критика-газетчика, а в качестве гостя-порученца.

У проходной его встретил Моисеев, встретил беззлобно, даже ласково. Он возвращался с обхода своего участка, измазанный глиной, уставший, но чем-то довольный.

— Что-то поздновато? Видать, с ночёвкой?

— Придётся заночевать. Найдётся место?

— В храме яблоку негде было упасть, а городничий вошёл — пожалуйста.

Вохровец в проходной хмуро оглядел газетчика, вспомнив статью, но вспомнил и другое — Загул тогда сопровождал начальника всего лагеря, а сегодня шёл с начальником фаланги. Он улыбнулся и даже поздоровался за руку.

Загул тихонько сообщил Моисееву о цели прихода.

— Что премвознаграждение принёс — прекрасно. Часа через два люди придут, а мы пока посидим, отдохнём. Обедать будешь?

Загул отказался — он успел пообедать. Вот чаем бы побаловаться он не прочь. Он осибирячился за два года, полюбил чай.

— Я тебя, брат, угощу, ты и не ожидаешь! Айва, брат! Прислала мне жена варенье. Никогда не едал такого — айва.

Загул тоже никогда не пробовал варенья из айвы.

Вошёл грязненький дневальный, никогда, видимо, не снимавший ни телогрейки, ни шапки, ни валенок.

— Чай! — скомандовал ему Моисеев. — Кто на селекторе?

— Тишаков.

— Поставь чай, позови Тишакова, а сам посиди за него! Понял?

— Понял, — угрюмо ответил дневальный и ушёл.

Минут через пять пришёл Тишаков, могутный, рослый, рыжий парень. «Почему такой здоровяк на селекторе?» — хозяйски осудил Загул.

— Ну, что там, на линии? Большаков про меня не спрашивал?

— Нет, не спрашивал.

— А был на линии?

— Был. Кричал на Птицына.

— Что ему?

— Да тот под разгрузкой платформы долго держал.

— Ругался?

— Здорово! Я, говорит, тебе твою дурацкую голову оторву и к ж... приставлю.

— Ну а тот?

— Тот в бутылку, тоже заорал, а Большаков говорит, не хайли! Не забывай, что я — начальник отделения!

— Начальник всегда прав, на то он и начальник, — буркнул Моисеев.

Тишаков ушёл, снова появился дневальный. Загул видел в окно, как он топором «работал» у крылечка. Там стоял бочонок из-под чего-то. Дневальный свалил его, вытряс из обручей и начал поперёк рубить клёпки. Значит, не было дров, и, чтобы вскипятить чай, разбили бочонок. Хозяева!

— Теперь Большаков на меня не накричит. Сегодня верных сто двадцать будет на фаланге. Ребята получают премвознаграждение, это тоже скажется, завтра обеспечен подъём.

— Владимир Семёнович! Это на то, чтобы вскипятить чай, твой дневальный изрубил тару?

— Вот сволочь! Ну скажи на милость! И как это я недоглядел? А ты всё видишь. Не пиши об этом, ну тебя. Вот ты написал тогда: плохая фаланга. А посмотри, где мы живём? Болото! Хмарь! Какое настроение у людей! Ведь они же заключённые! Так пусть же нас хоть берёзка, трава, солнце радуют. Хоть это! Чтобы писать о зэках, надо лучше психологию знать. Если вас

к плохому тянет ваше начальство, так хоть бы вы подсказали Большакову, Грачёву и прочим бюрократам.

Моисеев в прошлом был военным, мечтал им оставаться до конца жизни. Но однажды попал в непонятное.

— Приходит ко мне красноармеец моей роты, спрашивает: «Товарищ командир! Правда ли, что в царской армии были офицеры, которые не били солдат?» — «Конечно, были такие», — отвечаю. «Ну вот, — говорит красноармеец, — а у нас спор произошёл. Товарищ политрук говорит, что все офицеры дрались, а я знаю, отец мне говорил, что были и такие, которые солдат жалели». Этим кончилось, а назавтра вызывает меня комиссар полка: «Вы что же, компроты, срываете мне политработу среди бойцов?». Говорю: «Я не мог уклониться от ответа, получилось бы, что я политически неграмотный. Я ответил красноармейцу правильно». — «Но вы смазали авторитет политрука!» — «Если б я сказал, что это неправда, мне боец мог бы ответить: а Егоров? А Тухачевский*?». Добавил сгоряча ещё несколько примеров. А мне: «Может быть, вы подадите рапорт о желании оставить службу в войсках? Командир полка не имеет возражений, с ним согласовано». Вот так и ушёл. Конечно, с соответствующей характеристикой.

Чай с айвовым вареньем действительно был превосходен. Загул потом чуть ли не год вспоминал этот чай...

Моисеев вызвал воспитателя. Воспитатель, бывший сельский учитель, вялый, небритый, взял два табурета и кивнул Загулу — следуй за мной.

Пришли в барак, расчистили место у дверей, поставили стол, на него керосиновую семилинейную** лампу, и началась выдача.

— Фамилия? — спрашивал Загул.

— Парфёнов Семён.

— Да, это Парфёнов, — подтверждал воспитатель, отыскивая фамилию в ведомости. — Двадцать рублей! Вот, — отмечал он ногтем. — Расписывайся!

Парфёнов расписывался, Загул вручал ему деньги.

Скоро оказалось, что работа продвигается медленно, а получившие деньги торопятся спать. Когда же выдавать пере-

* Маршал Советского Союза Александр Ильич Егоров (1883—1939) был в царской армии подполковником, маршал Советского Союза Михаил Николаевич Тухачевский (1893—1937) — поручиком.

** Керосиновые лампы тех лет отличались по размерам фитиля, выжавшимся в старых единицах — «линиях» (2,54 мм или 0,1 дюйма). Семилинейная — небольшая лампа.

воды? Загул попытался делать это одновременно, но получилось ещё нескладнее.

— Генка Матрос, если доверите, выдаст премвознаграждение, а вы — переводы, — предложил воспитатель.

— А где этот Матрос?

— Генка тут? — крикнул воспитатель. — Матрос!

— Матрос! Матрос! — закричали кругом. — На цирлах!

Сквозь толпу лениво протискался сухой и длинный человек в тельняшке, с многочисленными наколками на длинных руках.

— Вот он, — сказал Загулу воспитатель. — Вот товарищ из штаба хочет поручить тебе раздать премвознаграждение. Матрос перевёл глаза на Загула.

— Если можете, — сказал Загул.

— Конечно, — усмехнулся Матрос, и не успел Загул сообщить, как всё перестроилось по-новому. Матрос, взяв ведомость, посмотрел итог.

— Отсчитайте мне денег! — сказал он. — Две тысячи маловато, давайте уж сразу три.

Загулу неловко было проявлять нерешительность, и он вынул из чемоданчика три нетронутые пачки ассигнаций.

— Мужики! Дайте там на что сесть!

Матросу услужливо подали пустой ящик. Дело пошло быстро — он знал всех в лицо.

— Кто имеет жалобы на то, что не получил денежных переводов, у кого затерялись деньги, присланные родными?

— У меня затерялись.

— Чем докажешь? Откуда знаешь?

— В письме написали.

— Тащи письмо!

Процедуру поняли быстро. Человек пятнадцать уже получили, кто по тридцать, кто по двадцать рублей.

— Я письмо искурил! Разве я знал, что так будет? — заявил один. — Я же показывал это письмо, гражданин воспитатель!

Воспитатель что-то припомнил.

— Этому можно выдать. Честный мужик, работяга. Он не обманет. Оседлов его фамилия.

— Сколько?

— Двадцать рублей, — ответил Оседлов.

— Расписывайся! — сказал Загул.

У Матроса вдруг началась перебранка с кем-то из толпы.

— Я тебе заткну хайло, — кричал Матрос, приподнимаясь с ящика.

— Горлопан ты! — отвечал голос из толпы. — Свернём тебе шею, курва!

Матрос не выдержал, сорвался, бросился в толпу, кого-то там отыскивал, началась драка.

Воспитатель предусмотрительно отошёл от Загула к столу, где лежали деньги Матроса. В это время толпа шарахнулась, надвинулась на стол. Лампа повалилась. Кто-то ухватил её, сшиб стекло. Она мигнула, задымила фитилём, пыхнула, стало темно.

Загул закрыл свой чемоданчик и помертвел. «Всё, — сказал он себе, — второй срок обеспечен».

— Эй, зажги там спичку, у кого есть! — раздался в темноте голос Матроса.

Кто-то зажгёт спичку, в другом месте — вторую. Спичку поднесли к фитилю лампы, коптилка осветила стол и пачки денег.

Матрос вернулся на место, сел на ящик. Свернул сигарку и закурил. Воспитатель принёс новое стекло, выдача продолжилась.

Загул закончил выдачу переводов, заявлений от недовольных больше не было. Около Матроса ещё толпилось с полсотни эжков.

— Пойдёмте, — воспитатель тронул Загула за рукав. — Попьём чайку, а он к нам придёт.

Загул угрюмо пошёл за воспитателем.

— Теперь уж всё равно, — обернувшись, бросил воспитатель успокаивающую фразу. — Всё будет хорошо, — добавил он после долгого раздумья.

Да, конечно, теперь уже всё равно. Если есть растрата — беду уже ничем не поправить.

Воспитатель принёс из столовой разогретый ужин и горячую воду. Но Загул не мог ни есть, ни пить.

А через час пришёл с ведомостью Матрос. Он сел около стола и небрежно положил на него охапку разрозненных трёшек и пятёрок.

— Считайте! Я тут не знаю, что получится, дебит в кредит, сальдо-бульд.

Воспитатель взял счёты, подсчитал остаток. Пятьсот восемьдесят.

Загул сосчитал оставшиеся деньги. Всё сошлось, пятьсот восемьдесят!

— Теперь и я распишусь! — сказал Матрос, расписался и взял свои сорок рублей.

— Спасибо, — сказал Загул и с благодарностью пожал жилистую руку Матроса. — Честное слово, большую услугу вы

мне оказали. Что я могу сделать для вас? Хочется чем-то быть вам полезным.

— Ладно! — спокойно ответил Матрос. — Будет нужда — поможете.

— Вот теперь я согласен пить чай. Оставайтесь с нами, — сказал Загул Матросу. — У меня есть сало украинское.

— Сало, да ещё украинское, это дело, — улыбнулся Матрос, потирая руки.

Сидели за чаем долго, лишь под утро Матрос ушёл, а Дмитрий Юрьевич поспал часа три в комнате воспитателя в самом счастливом расположении духа. Все страхи ушли. Главное — выполнено такое необычное и ответственное задание. Схвачено, как говорят лагерники. Как-то там у Каблукова и Шебалина? У меня в фаланге Шагиахметова всё будет проще.

...Ночью проносились поезда, болото и все постройку вздрагивали, но Загула железная дорога не беспокоила...

Уже рассвело, когда он вышел из зоны. У мостика встретил возвращавшегося откуда-то Матроса.

— Почапал?

— Да пора уже! — ответил Загул.

Он незаметно прошагал километров шесть в сторону станции. По его расчётам, в момент его прихода там должен был проходить пассажирский поезд, с ним он доедет до Шагиахметова. Так и получилось. Часа через полтора он уже заходил в проходную нацменфаланги. Она считалась спокойной. В ней было всего три вохровца, обслуживающих проходную. Шагиахметов добился этого от начальства ценой личной ответственности. Ему и разрешили для пробы.

В зоне было чистенько, тихо, как-то уютно. Чувствовалась общая забота о порядке. «Вот это по-хозяйски!» — подумал Загул, вновь думая о газете.

Из барака вышел рабочий. Он, видимо, был на ночной работе, днём спал, и, надо полагать, вышел по нужде, чтобы потом ещё поспать, отдохнуть, налегаться. Он задержался на минуту, чтобы разглядеть пришедшего, не узнал, потерял интерес и пошёл дальше. Из маленькой палатки слева выглянула черноволосая женщина в длинном цветастом халате и в распушенном платке, которым были покрыты голова и подбородок. Вот она заинтересовалась гостем, ибо кто бы он ни был, его приход касался начальника, а всё, что касалось начальника, касалось и её. Она поклонилась Загулу и что-то негромко спросила.

Загул ответил поклоном, подошёл вплотную к палатке.

— Мне нужен начальник.

Женщина отодвинула полог, жестом пригласила его войти.

— Боня, — успокаивающе сказала она. — Боня!

Загул догадался, что надо подождать.

Палатка была маленькая. Посередине её на земле была постлана кошма, два коврика, лежали две подушки, стояли две пары вышитых домашних туфель. Мебели никакой не было.

Полог раздвинулся, женская рука просунула табурет, самодельный, очень низенький. Такие обычно делают в деревнях, чтобы доить с них коров. Загул сел, поставил на землю свой чемоданчик, раздвинул полог и стал глядеть в зону.

По процентам выработки это была лучшая фаланга в отделении. В ней числилось около трёхсот человек, исключительно нацменов. Говорят, идея создать такую фалангу исходила от Шагиахметова. И Большаков, и Френкель поддержали её. Это была необычайно пёстрая фаланга, в её состав входили и татары, и узбеки, и киргизы, и казахи. В ходу были различные варианты тюркских языков, и если ты знал хотя бы один из них, ты был понятен каждому, тебе радовались, как родному. Шагиахметов умел разговаривать практически со всеми. Впрочем, не владел русским редкий из работяг. Среди них Загул знал десятки ударников, о трудовых успехах которых не раз писал в газете.

Он чувствовал себя здесь хорошо, много лучше, чем там, где много поводов для критики. Никакого напряжения в голове и в настроении. Приятное чувство покоя овладевало им, ждать было совсем не скучно.

Шагиахметов шёл из бани. Он был в голубом халате, в туфлях на босую ногу, из-под халата выглядывали белоснежные кальсоны. Халат был подпоясан, но грудь широко распахнута. Распахнута была и белоснежная рубашка. От красной волосатой груди шёл пар. Голова была укутана махровым полотенцем на манер чалмы. Загул вышел ему навстречу.

— Салям алейкум! — ещё издали приветливо крикнул он, увидев Загула.

— Здравствуй, здравствуй! — ответил гость.

За Шагиахметовым шагала женщина в длинном широком платье без пояса, с тазом в руках. Вслед шла другая с простынями, она стала их развешивать для просушки. Третья несла большой, высокий, начищенный до блеска кипящий медный чайник и посуду.

Войдя в палатку, Шагиахметов грузно опустился на подушки. Быстрым движением он разостлал в ногах маленький коврик, вошедшая женщина поставила на него чайник.

— Садись, — пригласил хозяин, показав головой на низенький табурет. — Знаешь, чем кормить тебя буду? Не знаешь! — он сощурил глаза и щёлкнул языком. — Чебуреки! Наше! Кавказское! Ел чебуреки? Будешь есть чебуреки.

Он не спрашивал, зачем приехал Загул, но это явно его интересовало. Загул выждал момент, когда в палатке никого не было, и рассказал о своих планах.

— Хорошо! Очень хорошо. Это справедливо. Есть такие, кто не получал денег. Жаловались. Это хорошо. Большаков хороший начальник. Чуткий начальник.

Принесли горячие чебуреки. Загул пригляделся, как их ест хозяин, и только тогда решился попробовать.

Шагиахметов был толстый, плотный пятидесятилетний мужчина. Большой живот так лёг на его ноги, подвёрнутые калачиком, что мягко накрыл их со всех сторон.

Женщины молча принесли сахар, полотенца, чтобы вытирать руки, масло в низкой глиняной чашке, и так же молча исчезли. Загул понимал, что они появятся в любую минуту, когда понадобятся гостю или хозяину.

Шагиахметов пил чай с видимым наслаждением. Он раскрутил полотенце-чалму, под ней оказалась чёрная тюбетейка с нашитым серебряными нитками полумесяцем. Полотенце он обвил вокруг шеи, свесив длинные концы на грудь. Он пил, потел, и непрерывно вытирал красное лицо и волосатую грудь.

— Карымов! — крикнул он так негромко, как будто этот Карымов стоял за полою палатки. Загул догадался, что Карымова позовут женщины.

Карымов оказался ловким, гладким татаринном лет 25—27. Загул вспомнил его, это был воспитатель фаланги.

— Вот тебе гость, — сказал Шагиахметов. Пусть отдохнёт, поспит с дороги. А вечером будет выдавать денежные переводы. Где его устроишь?

Загул запротестовал:

— Выспаться успею, расскажи сначала о себе.

История оказалась привычной. Шагиахметов заведовал отделом губисполкома. Проходил областной съезд. Прорабатывали Троцкого. Шагиахметов не выступал — всё и так было предельно ясно, да и выступлений хватало. Объявили перерыв. К Шагиахметову подошёл секретарь обкома.

— Ты будешь выступать?

— Надо ли? — усомнился Шагиахметов.

— Надо, надо! Ты же член губисполкома!

— И вот я выступил, — смеясь над собой, рассказывал Шагиахметов. — И что-то напорол. По-русски выступил. Может,

по-татарски я бы такое не сказал. А по-русски неладное сказал. Под Троцкого, видать, сказал. Ну и всё. В тот же день арестовали: уклон, извращение учения Маркса-Ленина. Потом доказывали мне, что я что-то из философии наплёл. Ну, может, и наплёл, я философию не знаю. Вот так... Ешь чебуреки. Вкусные. Я их люблю. Марьям хорошо делает.

Он пригласил Загула обойти участок.

— Позовите мне Марьям! — крикнул он за полог. Пока Шагиахметов одевался, пришла Марьям, его зам. по быту. Когда Загул выходил из палатки, Шагиахметов поотстал, кивнул вслед Загулу и показал Марьям большой палец. Марьям понимающе рассмеялась — большой человек, надо будет накормить хорошо. Шагиахметов был по-восточному хлебосольным, никто не уходил с его фаланги голодным.

Сначала пошли в дальний карьер, где добывали гальку и грузили её на платформы, потом — в ближний, где добывали известняк. Посмотрели обжиг извести, побывали на маленьком кирпичном заводике, где за один обжиг давали около трёх тысяч кирпичей.

Рабочие этой фаланги были необычайно дружны. Спокойные, деловитые, они редко садились на отдых, на работе не разводили побасёнок. Зачем им это? При успешной выработке и превышении нормы они могли с разрешения мастера раньше времени пойти домой. Этот порядок ввёл Шагиахметов. Зато фаланга всегда была одной из первых в отделении.

— Большаков любит мою фалангу, — с гордостью сказал Шагиахметов. — В пример её другим ставит. Помнишь, проводили съезд отделения? У кого не выполнены нормы, на дожди валили. И как раз дождь пошёл. А сидели на скамейке, но под открытым небом. И сцена открытая, крыши тоже нету. Большаков ладонью прикрыл бумаги, слушает выступающих, и дождя не замечает. Помнишь? Ты же тоже был на том съезде, тоже бумажки прикрывал. А Большаков вдруг засмеялся и спрашивает моего джигита: «Гирей! Идёт дождь или нет?». Тот приподнялся: «Нет дождя, гражданин начальник!» — «Шагиахметов! Идёт дождь? Мешает?» — Я поднимаюсь, тоже кричу: «А я не замечаю, Александр Васильевич!». Долго после того смеялись. Я ведь называю его по имени и отчеству. Разрешил. Не сердится. Я тоже начальником был, может быть, даже побольше Большакова. В Ташкенте работал...

Вечером Загул вместе с Карымовым и самим Шагиахметовым разбирал жалобы на неполучение переводов. Заявляли

об этом спокойно, без шума и скандалов. Набралось таких человек двадцать.

Хозяева накормили Загула пловом, уговаривали переночевать, но хотелось на свою койку, в палатку ИТР. Карымов проводил его на станцию, и в три часа ночи Дмитрий Юрьевич уже был дома. В палатке все спали. Загул вытряхнул оставшиеся деньги в наволочку, положил её под голову, и крепко заснул.

Каблуков и Шебалин возвратились на сутки позже. Начфин был доволен: к ведомостям было приложено много писем, выдачу заверили воспитатели, а то и начальники фаланг. Довольны были и все участники поездки. Во-первых, встряхнулись. Во-вторых, на людей посмотрели. Каблуков ещё поинтересовался, как лекпомы на фалангах живут. Оказалось — неплохо. Живут в отдельных комнатах, чаще всего при больничках. Им даже обеды дневальные на квартиру приносят.

— Я боялся, что нас с пассажирского турнут. Как это можно, эки, без билетов! А Шебалин — опытный. Он, оказывается, чуть не каждую неделю ездит, привык. Подходит к нему проводник. «Предъявите билет!» — «Я ээк!» — говорит Шебалин. Проводник не верит: он же в вольном! Но отступается. А на меня уж и не глядит: по всей шкуре видно, кто такой!

36. Где мясо взяли?

Лосев побывал в особой фаланге — на колёсах. Она была расположена в вагонах-теплушках, вдали от станции, в специальном тупике. В девяти вагонах жили работяги, один вагон был штабным общежитием, в одном, классном, размещалась контора, в одном, пульмановском, — кухня, в одном — склад, в двух вагонах жил и работал инженерно-технический персонал и другие придурки, одну теплушку занимала ВОХР. Фаланга была специализированной, — строила маленькие железнодорожные мосты через ручьи и речушки, изредка передвигаясь от объекта к объекту. Никакой зоны у этой фаланги не было.

— Переполах в этой фаланге, — рассказывал Лосев. — Двух работяг взяли под дудоргу, и сюда, в изолятор. — Он заглянул в записную книжечку. — Один Костин, другой — Роменец.

— Роменец? — переспросил Загул. — Семён Иванович?

— Да, С. И. Роменец. Видимо, он самый.

— Я же знаю его! Семён Иванович! Так ведь это же хороший мужик!

Лосев рассказал подробнее.

Роменец и Костин приходили сюда в депо, поправляли здесь какой-то инструмент. Уже поздно вечером, почти ночью, пошли в свою фалангу. Это было позавчера. Идут мимо товарняка с углем, вдруг видят на открытой платформе, на угле, лежит мешок, а кругом нет никого. Ну, зэк и есть зэк. Ощупали — что-то твёрдое. Ножичком царапнули мешок, расширили дырочку — мясо! Белое мясо, похоже, баранина. Стянули с платформы мешок, обернули в бушлат и зашагали дальше, торопясь и оглядываясь.

Никто за ними не погнался, никакого шухера. Пришли в свою фалангу — все уже спят. А им не до сна. Отрезали кусок мёрзлого, настрогали на сковородку, воды плеснули, чугунок разожгли, нажарили и нажрались от пуза.

А вохровцам с чего-то вздумалось провести шмон. Рано утром пошли по всем вагонам. Ну, как всегда делается, выгнали всех из вагонов. Сами забрались и шарятся. Наткнулись на мясо. «Чьё мясо?» Костин и этот Роменец кричат в голос: «Наше!». — «Где взяли?» — «Какое вам дело? Купили!».

Выбросили мясо из вагона. Командир взвода подошёл, взглянул, и приказал своему парню отнести мясо в их вагон.

Вохровцев всего было на фаланге семь человек. Занавеской отгорожена была часть теплушки, там командир взвода помещался с женой. Остальные семеро спали на нарах, на другой стороне.

— Смотри, что обнаружили. Целый баран, — сказал командир взвода жене. — Не иначе, как украли где-то, сволочи.

Вохровец принёс мешок, вытряхнул мясо на дрова у печки, чтоб подтаяло, и пошёл дальше на шмон.

Сидит жена комвзвода около печки, смотрит на баранину, мысленно примеряет, что отрезать, чтобы накормить своих, и вдруг в ужасе замерла. Человек! Без рук, без ног, только туловище... Мужик... Не помня себя, она выскочила из теплушки на землю и побежала к мужу.

— Костенька! Ты что принёс? Ведь это мужик! Убитый где-то мужик! Только руки-ноги обрублены, и головы нету.

— Да ты с ума сошла?! А ну, сам посмотри!

Сомнений не было. Взводный велел взять Костина и Роменца под стражу, вызвал из конторы начальника фаланги, и все вместе с арестованными подошли к вохровской теплушке.

— Ваше мясо? — ещё не входя в неё, переспросил комвзвода.

— Наше! — упорно твердили эки. — Мы купили.

— Где купили?

— У человека. Это наше дело, мы зарабатываем, имеем право купить.

— Вот оно, их мясо, товарищ начальник! — комвзвода отворил двери, вытащил злополучное мясо и положил его на снег.

Да, перед ними лежал торс человека. Голова была обрублена топором, а конечности, видимо, отпилили по мёрзлому — уж очень ровен был срез.

Костин и Роменец испуганно дёрнулись, попытались повернуть обрубок, но тут Роменец отшатнулся в сторону, его вырвало. Костин согнулся, прижав руками живот, его тоже тошнило, но рвоты не было...

— Где взяли? — гневно спросил начальник фаланги.

— Подобрали, гражданин начальник! На платформе с углём мешок валялся. Мы подобрали, думали — мясо.

— «Думали!» Вот и заработали второй срок! — отрезал начальник и пошёл в контору — надо было сообщить наверх по телефону.

Через два часа на дрезине приехал Баранов, допросил арестованных, приказал доставить их в отделение. Торс завернули в мешок, положили в ту же дрезину.

— Вот попал человек в непонятное! — с ужасом и тревогой воскликнул Дмитрий Юрьевич. — Как не гладко складывается у Семёна Ивановича судьба!

«Вот о чём надо написать начальнику управления, — подумал Загул. — Надо правильно описать и оценить события, может быть, удастся выручить Семёна Ивановича».

В редакции он нашёл письмо Бельского, в котором тот предлагал техредактору письменно сообщать начальнику управления обо всех событиях лагерной жизни, представляющих общественный интерес, сослался на него и написал первое письмо. Он подробно изложил факты в том виде, как узнал о них от Лосева, и осторожно высказал своё мнение о случившемся.

«Оба заключённых, — закончил он, — взяты под стражу. На фаланге другие заключённые к событию отнеслись спокойно, они и мысли не допускают, что Костин и Роменец совершили убийство. Против этого свидетельствует и поведение взятых под стражу — они смело, без тени замешательства, не один раз заявляли бойцам о том, что «мясо» принадлежит им, а когда обнаружилось, что это труп человека, их начало рвать. Конечно, надо быть изощрённым бандитом, чтобы так естественно разыграть безгливость».

Неприятности всегда ходят пачками. Утром взволнованная Сабольчи зашла в редакцию и попросила Загула проводить её.

— Дмитрий Юрьевич! Я обо всём, что касается Кати, говорила и с мужем, и с Зайцевым, и с Большаковым. Но о том, что я сейчас вам скажу, не говорила никому. Учтите это, Дмитрий Юрьевич!

— Будьте спокойны, Дина Гедальевна!

— Я теряю голову. Ведь обнаружилось... обнаружилось, что наша Катерина больна. Больна венерической болезнью. Девчонка убита, вы заметили? Что делать? Как сказать и говорить ли Шебалину? Да ведь мало сказать! Надо всё сделать так, чтобы было человечно. Они доверяют мне, оба советуются со мной. Конечно, я обязана предупредить его. Но как? Чтобы не унизить и эту несчастную девчонку. Заражение-то бытовое, я врача расспрашивала, у неё же сестра больна. Где он, правильный подход к этому? Вы поэт, вам присуща чуткость...

Загул молчал. Да, он когда-то был поэтом, но тут-то что ответить? Конечно, Шебалин должен узнать правду.

— Это бесспорно. Я так же думаю.

— Может быть, Катя сама скажет ему об этом?

— Не скажет! Тут ведь не намёки, Дмитрий Юрьевич, нужны, нужна грубая правда. А она не сможет быть откровенной до конца. Она ведь только кажется грубой и распущенной. Она обыкновенная деревенская девчонка, в ней ещё сохранилась стыдливость, скромность, то интимное целомудрие, о котором писал Макаренко. Не лучше ли будет, если вы скажете Шебалину об этом как мужчина мужчине?

— Нет, сказать придётся именно вам, именно женщина может сделать это с необходимой мягкостью. Так будет лучше, вернее, я могу всё испортить.

— Спасибо, Дмитрий Юрьевич! Честно говоря, я сама так думала, а вы укрепили меня в моём решении. Но это секрет, кроме нас и Кати об этом знает только врач. Он должен отправить её в первое отделение, но я попросила пока подождать... — и совершенно неожиданно Дина Гедальевна сменила тему. — К Никитину сын приехал. Вон, видите, идут. Красавец сын! Я очень рада за этого старика! Большаков разрешил ему, пока сын гостит, пожить в посёлке на частной квартире.

Отец и сын шли навстречу. Станислав Парамонович браво вытянулся, он даже прихрамывал меньше, чем обычно. Загул

вгляделся в молодого человека, тоже высокого, как и отец, но цветущего, весёлого, статного.

Отец и сын приподняли шапки и учтиво поклонились Дине Гедальевне и Загулу.

— Рад за вас! — крикнул старику Загул. — Надолго?

— Спасибо! С декаду проживёт. Дорога длинная, а отпуск короткий. Приходите к нам в гости! — пригласил Никитин. — Мы теперь в посёлке живём.

— Комната?

— Какие тут комнаты! Угол! Поставили кровать, отгородили занавеской. Но днём хозяева на работе, я тоже, Вадим может и отдохнуть. Приходите!

«Не суйся в грозу под большое дерево»

Прошло четыре дня. Вечером Дмитрий Юрьевич зашёл к Никитиным. Станислав Парамонович и Вадим гостеприимно вскочили и не сели, пока Дмитрий Юрьевич не снял пальто. Всё было совсем так, как на воле.

Загулу хотелось узнать, как там, в центре, в больших городах. В зону изредка попадали газеты с посылками как упаковочный материал, иногда что-то перепадало от жителей посёлка, но хотелось, чтобы кто-нибудь из близких поделился живыми наблюдениями.

Вадим, чуть краснея от смущения, рассказал, как его исключали из комсомола в Томске, как он ездил в ЦК ВЛКСМ и как его восстановили. Загул уже слышал об этом от Станислава Парамоновича, в этом для него не было ничего нового. Ему хотелось узнать другое, о чём спрашивать было неудобно. Уменьшается ли в обществе та брезгливость, то презрение, которое люди испытывают к арестованным, изъятным, заключённым в лагерь. Никитин как будто угадал мысли Загула и сам спросил об этом.

— Как там мои друзья и знакомые, Вадим? Всё так же сторонятся вас? Презирают? Или стали хоть немножко приветливее?

— Было всякое, когда меня исключили. Даже одна очень хорошая моя знакомая вдруг отодвинулась — как бы чего не вышло. Но это временное. После того, как меня восстановили, отношение со стороны ребят тоже восстановилось. Вот мама переживает, у неё это болезненнее проходит. Но вот ты, папа, спросил, презирают ли? Нет! Сторонятся, как-то обходят, это да. Некоторые даже брезгливо сторонятся, но большинство тайно сочувствует...

Дмитрий Юрьевич замечал это и по местному населению. Возможно, русским людям, да ещё в Восточной Сибири, вообще свойственно проявлять милость к падшим, и население к заключённым относилось с явной доброжелательностью.

— Дмитрий Юрьевич! — вдруг сказал Никитин-старший, наклоняясь и выдвигая из-под кровати чемодан. — Я ещё не похвастался подарками. Смотрите, что Вадим привёз!

И Станислав Парамонович развернул перед Загулом пару тёплого белья, костюм сына, немного поношенный, но вполне приличный, пару шерстяных носков.

— Это мне моя старушка самолично связала! А я чем их отдарю? Какие подарки сын повезёт отсюда? Нечего ему отсюда повезти...

— Как? А фото?

— Да, фото... Привёз с собою фотоаппарат, снимков с меня наделал. Вот надо ещё палатку заснять, в которой мы живём. Пусть удивляются: кругом зима, глубочайший снег, а мы живём в палатках, и хоть бы хны! Обязательно надо сделать такой снимок — экзотика!

— Сделаю! — улыбнулся Вадим.

Назавтра Дмитрий Юрьевич зашёл в редакцию за пробным оттиском газеты — пора было идти с ним к Большакову. Беспечная Катька улыбнулась ему, Лосев и Кашин встретили обеспокоенными взглядами.

— От Баранова дневальный приходил, — сообщил Лосев. — Баранов приказал вам сейчас же идти к нему. Мы сказали, что вас нет, а дневальный говорит, что ему велено вас найти. Спрашивает, где ему вас искать... Намекнул, что Баранов очень сердится.

Загул пожал плечами: он не только не знает, но даже и предполагать не может, за что сердится Баранов.

— Я зайду к Большакову, и оттуда — в третью часть, — сказал он, не задерживаясь в редакции.

Какое-то предчувствие стеснило грудь Загула. Причин для беспокойства вроде бы не было, но всё же тревога вселилась в нём. Видимо, это была та интуиция животного, которую все долго находившиеся под допросом замечают в себе. Загул дорожил своим положением. У него был свой стол с ящиками, чернила, бумага, он мог писать, что хотел. Он был заключённым, но в будничных мелочах, в быту, этого не чувствовал. Он жил в людской среде, в которой пользовался уважением и даже симпатиями. Неужели этому что-то угрожает?..

В кабинете начальника были Грачёв и Никитин. Большаков встретил Загула тем же вопросительным, но более спокойным взглядом, что и Лосев.

— Что-то Баранов на тебя гневается. Набедокурил где-то? — ворчливо спросил Большаков, задержав руку, протянутую за номером газеты.

— Ничего не ведаю, гражданин начальник! — подчёркнуто официально ответил Загул, слыша сочувствие в голосе Большакова и испытывая благодарность к этому суровому, жёсткому, но одновременно чуткому и заботливому человеку.

Тревога Загула усилилась после вопроса Большакова. Он вдруг вспомнил о своих рукописях в столе. Вот от чего защемило сердце! Ничего не было жаль, кроме начатого и незаконченного, неосуществлённого. Дневниковые его записи пополнялись новыми людьми, характерами, они уже представляли не только личную, но общественную ценность. Неужели что-то с ними?..

Загул торопливо забежал к Панкратьеву. Тот, обложившись чертежами, что-то чертил, что-то высчитывал, как всегда. С явным облегчением Дмитрий Юрьевич рассказал ему о вызове к Баранову, о вопросе Большакова, и высказал тревожные предположения, что, может быть, он уже не вернётся в свою редакцию, за свой привычный и милый ему стол.

— В столе у меня заветная тетрадь, — поведал он другу, передавая ему ключи. — Там беспорядочные записи, стихи. Если не вернусь сегодня, возьми себе на хранение.

— Я сейчас же схожу в вагон и возьму всё это, — сказал Степан Романович. — И вот тебе мой совет. Не говори о том, о чём тебя не спрашивают. Здесь, в лагере, у нас ничего, кроме статьи и срока, нет.

— У меня вообще ничего нет, чтобы скрывать, — возразил Загул.

— Пальцы есть? — сердито перебил Степан Романович. — Не клади пальцы на зубы этого Баранова. Я вот о чём.

Баранов, как и в то памятное Загулу посещение, сидел за столом, подложив под себя три толстых папки. Загул остановился в дверях, ему были видны свесившиеся ноги Баранова, не достающие до пола. Лица Баранова не было видно, так как свет от лампы был направлен вниз на стол и к дверям, нашедшего зэка.

— Загул? Дмитрий Юрьевич?

— Так точно, гражданин начальник.

— В каком чине служили в армии?

— В какой армии?

— Ты бывший офицер! — крикнул Баранов и стукнул кулаком по столу. — Бывший офицер царской армии! И потому я спрашиваю, каков был твой чин?

— Не был я офицером.

— Врёшь! Ведь у меня твои анкеты. Ты что, в бирюльки собираешься со мной играть? В анкетах писал, что бывший офицер, а теперь отпираешься? Будешь отрицать, что эсером не был? Тоже будешь отрицать?

— Буду отрицать.

— За что же ты, контра, 58-ю статью получил? — возмутился Баранов, порываясь встать. — Ты тут под ангела передо мной не хлябай. Не пройдёт! Понял! Не пройдёт! Был офицером?

— Нет.

— Эсером?

— Нет.

— Ты же бывший шпион иностранной разведки. Видать птицу по полёту. Что это такое? — потрясая поднятой вверх какой-то бумажкой, дико заорал Баранов. — Тебя посадили, мерзавца, не расстреляли, а посадили, а тебе всё равно неймётся, паскуда! Даже в заключении, даже в лагере шпионажем занялся! Что молчишь, сволочь? Я тебя заставлю говорить! Что молчишь, спрашиваю?

Баранов снова рванулся, намереваясь сойти со стула, но снова раздумал.

— Я не знаю, о чём вы говорите, гражданин начальник.

— Не знаешь? А кто сообщил Кузнецову о том, что в вагонную фалангу зэки принесли труп?

— Об этом я ему написал как своему начальнику.

— Ты написал? — обрадовался признанию Баранов. — Я так и знал, что ты написал! Как ты, заключённый контрик, посмел присвоить себе такие функции? Ты много о себе думаешь! Кузнецовым прикрываешься? Шпионишь под этим прикрытием? В РУР запрячу мерзавца! Уж будь уверен, второй срок тебе обеспечен!..

Баранов ещё долго кричал, изливая своё негодование. Но Загул был спокоен. Это спокойствие нахлынуло столь же внезапно, как несколько часов тому назад нахлынула на него тревога за дальнейшую судьбу. Стоило ему услышать, что причиной допроса является его письмо Кузнецову, все тревоги разом отступили. Ему стало как-то всё равно, ибо не он определяет свою судьбу, ею вертят другие, вертят так, как им угодно, и с этим уже ничего не поделаешь. А рукописи целы!

* * *

Ждуть нас тучі неминучі,
Непривітний жде нас час;
Ждуть нас бурі, дні понурі,
Темні тюрми ждуть на нас.

Та ніщо нас не злякає,
Сили духу не злама...
В нас страху в серцях немає,
Ні зневіри в нас нема.

В нас охота до роботи,
В серці свіжа, чиста кров;
Всі щоденнії турботи
Вкриє нам свята любов.

Та любов для всіх єдина,
Що разбудить рідний край
І неволю з нього скине,
Попроводить нас у рай... *

Баранов отпустил его поздней ночью, было часа два. Но в окнах конторы ещё горели огни. Придурки не спешили в зону, даже если не было работы. Приятно посидеть на том же рабочем стуле, когда уже ушло ближайшее начальство, посидеть над чем-нибудь своим, интимным, над чтением романа, который удалось достать, над письмом, которое, быть может, пойдёт к родным и близким, оставшимся там, в большой жизни.

Панкратьев сидел в конторе, но перед ним уже не было чертежей. Он явно ждал Загула, беспокоясь за него. Загул рассказал ему, в чём дело. Панкратьев был огорчён, но от души смеялся над Барановым.

— Есть лагерная заповедь, Дмитрий, — многозначительно сказал Панкратьев. — Не суйся в грозу под большое дерево. Я разъясню тебе, в чём тут дело. Ты написал начальнику управления. А он хвастанул перед Шедвидом, что знает такой факт, о котором Шедвид ещё и не слышал. Понимаешь, что дальше? Шедвид накрутил хвоста Баранову. Сегодняшний гнев Баранова — это местный маленький гнев. И потому кончится он ничем. Не будет же Шедвид наказывать тебя за то, что ты написал письмо своему начальнику. Не тушуйся. Но камень за пазухой у Баранова против тебя останется... Пойдём спать!

* Из цикла «Весняні мрії», 1912 г.

Они пошли тёмной ухабистой дорогой через болото, уставшие от работы, от переживаний, от мыслей. Тихо разделись. Печь — железная бочка — потухла, дневальный спал. Постели были холодными, сыроватыми. Загул долго не мог уснуть, он не мог перестать думать о дневнике. Неужели он оборвётся?..

Утром Большаков вызвал его к себе. В кабинете никого не было.

— Что там у тебя?

Загул рассказал о письме Кузнецову. Большаков задумался.

— Опрометчивый поступок, — наконец сказал он. — Надо было со мной посоветоваться. Я ведь тоже редактор. Ну вот что. Баранов требует, чтобы я снял тебя. Придётся уступить. Говорит, что нового техредактора пришлют из Свободного. Приедет, — я задержу тебя ещё на недельку, растолкуешь ему всё по своей части.

Через три дня приехал новый редактор.

Даже через три года эти дни жили в памяти Загула весёлыми мелодиями. Ребята из палатки ИТР достали где-то граммофон и без усталости ставили одну и ту же, наверное, единственную, пластинку. Бесхитростные «Мистер Браун» и «Под крышами Парижа» въелись в память Дмитрия Юрьевича вместе с тоской и ощущением глубокого одиночества. Стоило ему потом услышать их, как в сердце вновь поселялась горькая тоска...

Зайцев трусливо-радостно заметил, что КВЧ не имеет никакого отношения к редакции, значит, за Загула ответственности не несёт, и это очень хорошо.

Зато Сабольчи так была опечалена событием и возникшей у неё жалостью к Загулу, что даже пригласила его к себе на стакан чаю. Дмитрий Юрьевич отказался.

— Мой муж — парторг, — сказала она Загулу, — но он ведь не лагерный, а поселковый парторг. Я уже спрашивала его, но он ничего для вас сделать не может.

Наивная Дина Гедальевна!

38. Снова в зону...

Лосев, Кашин, Арчил, Катя, Колька — все сбились вокруг Загула в редакционной половине вагона, отмечая этим расставание с редактором. Всякое было в их взаимоотношениях,

но сегодня они особенно чувствовали общее: все они зэки, ни один из них не располагает собой.

— Сволочь и зануда этот наш Зайцев, раньше всех от вас отвернулся, — с горькой насмешкой заметил Лосев.

— Нет, ты скажи, Дмитрий Юрьевич, вот нам скажи, — горячо заговорил Макарян. — За что снимают тебя? Что случилось, ты скажи, тут свои люди, ты нам скажи!

— Успокойся, Арчил! — улыбнулся Загул. — Статья, брат, мешает... Вот по статье и снимают. — Из каких-то скрытых, ему самому неясных побуждений, он никому не хотел раскрывать истинную причину гнева Баранова.

Катя подошла ближе, ей явно хотелось о чём-то поговорить с Дмитрием Юрьевичем, но она не знала, с чего начать.

— Вы ещё придёте сюда? — спросила наконец она, и беспокойно оглянулась. Ей явно мешали «посторонние».

— Дура, его ж на общие снимают, — пояснил ей Колька. — Как же он из зоны придёт сюда?

— Мне бы надо спросить вас, — пугаясь того, что это скоро станет невозможным, пояснила Катя. Загул, улыбнувшись, одобрительно посмотрел на неё. Лицо её было светлым, чем-то облагороженным и казалось сейчас особенно привлекательным.

— Так спрашивай!

— Мне надо сказать вам... — окончательно растерялась Катя и сердито посмотрела на Кольку.

— Я знаю, я знаю, — закричал Колька, чтобы подразнить Катю. — Знаю, что ты хочешь сказать!

— Ну и знай! — негодуя бросила Катя Сбитневу.

— Она жениха себе завела! — продолжал Колька. — Я знаю, они около водокачки встречаются. С Матвеем Шебалиным, Дмитрий Юрьевич! Вы ей...

— Без тебя обойдётся! Дурак! Отойди! Болтаешь, что в голову придёт! — Катя густо покраснела. Глаза её горели искренним возмущением.

Кашин жилистой рукой молча оттянул к себе Кольку.

— Не трепись! — негромко сказал он ему и легонько оттолкнул к стене.

— Когда я пойду в зону, ты проводишь меня и всё-всё скажешь, — дружески успокоил Катю Дмитрий Юрьевич. В его ровном голосе она услышала и теплоту чуткого, отзывчивого человека, и совет не обращать на Кольку внимания.

— Николай! — обратился Загул к Сбитневу, шагнул к нему и положил руку на плечо. — Я полюбил тебя. Такой, как ты в последний месяц, такой ты мне нравишься. Честный! Будь

впредь только наборщиком и никогда больше не становись вором...

— Я же с лета по поездкам не бегаю! Я...

— Потому и хвалю тебя, — перебил Загул. — Выйдешь на волю — сразу обретёшь почву, жить станешь нормально...

— Я в агитбригаду пойду, Дмитрий Юрьевич! — смущённо доложил Николай. — У нас скоро агитбригада скомплектуется.

— Что ты там делать будешь? — иронически усомнился Кашин. — Петь будешь? Чечётку отбивать?

— Туда идти — талант нужен, — сказал Арчил. — Что ты там покажешь? На такого смотреть никто не захочет, никто не придёт, никому билета на такой спектакль не надо.

— Там научат, — убеждённо сказал Колька. — Зато это будет лучше, чем в наборщики. Так, Дмитрий Юрьевич?

— Для тебя — не так. Для тебя — хуже, — ответил Загул. — Если хочешь, я потом скажу тебе, почему.

Колька сник и насупился.

Загул забрал из стола и положил в наволочку свои записи, бумагу, ручку, положил в карман чернильницу-непроливашку. Попрощался со всеми за руку. Неожиданно для Загула Лосев обнял его, поцеловал в щёку, собрался что-то сказать, но не сказал ничего. Загул вдруг понял, что был до этого как-то холоден к Лосеву, они не успели раскрыться друг другу, и Дмитрий Юрьевич мало что знал о своём товарище. Теперь ему стало стыдно этого, ведь он же старше, это он должен был сделать первый шаг к сближению.

Расчувствовался и Кашин.

— Спасибо вам, Дмитрий Юрьевич! — сказал он. — С вами хорошо нам было. И как-то заживём при новом техреде?

Катя ждала его у входа.

— Ну, Катюша, что ты хотела мне сказать? — обратился Дмитрий Юрьевич к девушке, когда они отошли от вагона.

Катя помолчала некоторое время, видимо, затрудняясь, с чего начать.

— Дядя Митя, — наконец заговорила она, чуть задерживая шаг, и голос её зазвучал так же грубо, как в тот день, когда её впервые привела в типографию Дина Гедальевна. — Дядя Митя! Вам говорила обо мне что-нибудь Дина Гедальевна?

— Говорила. Я всё знаю, Катя.

Она молчала.

— Матвей Шебакин прекрасный парень. Его все уважают, хотя он и очень молод.

Катя молчала. Ясно, что она чего-то ждала.

— Дина Гедальевна ничего не скрывает от меня, — сказал, наконец, Загул. — Прислушайся к её советам, она самый близкий тебе человек. Она для тебя почти как мама. Я с ней во всём согласен. Между прочим, я постараюсь и сегодня увидеть её, и только тогда уйду в зону.

Катя подняла голову и испытующе посмотрела на Дмитрия Юрьевича. И вдруг он увидел, что перед ним девушка, переживающая одновременно и горе, и счастье. Что-то новое было в её лице, в её позе, что-то серьёзное, взрослое, большое.

Она заметно оживилась. Глаза её заблестели. Голос снова стал мягким.

— Спасибо, Дмитрий Юрьевич! — почти прошептала она, и вдруг протянула руку. Да, она стала взрослой...

— До свиданья. Катя! Может быть, я ещё увижу тебя...

Девушка пошла лёгкой походкой, а Дмитрий Юрьевич ещё долго смотрел ей вслед. Увидит ли он когда-нибудь эту девушку, судьбу которой в какой-то мере вверяли его заботам?

Дину Гедальевну он, конечно, обязан увидеть сегодня: пройдёшь в зону, — уже не будешь владеть собой... Ему повезло: он ещё не дошел до КВЧ, как встретился с нею. Она только что выяснила, когда точно освободится Катя. Через месяц, это правда. Матвей — через шесть месяцев.

— Так что всё разрешается, Дмитрий Юрьевич. Шебалин заявил, что болезнь Кати дела не меняет. Я, говорит, на всю жизнь с ней объединяюсь, мало ли что ещё будет впереди! Вот как. Вчера они с Катей договорились: Катя едет в колхоз на Кубани, к его матери, там будет ждать Матвея. Пять месяцев — это ничего. Небольшой срок. Мать любит Матвея, он единственный сын. А когда он приедет, они поедут куда-нибудь на большую стройку. Матвей — хороший бетонщик, хочет по этой специальности работать, квартиру строителю всегда дадут... Вот так. Хорошо получается?.. Матвей матери напишет письмо. А я уж побеспокоюсь, чтобы Катя сумела подойти к ней. Хочу от себя ещё написать. Вы мне поможете, Дмитрий Юрьевич? Я в зону к вам зайду. Как-нибудь под вечер, когда вы с работы придёте. Хорошо, Дмитрий Юрьевич?

— Пожалуйста, пожалуйста! Я буду очень доволен тем, что приму участие в этом деле.

— Ну вот и спасибо. А сами-то не печальтесь. Всё это ещё перемелется... Да, а Никитин-то совсем ожил. Такой славный у него сын. Уехал! Проводил отец. Всплакнул немного.

...Когда Загул обернулся, идя в зону, ему показалось, что на глазах Дины Гедальевны блестели слёзы...

* * *

Я спитав, чи ти кохала,
Чи пізнала вже любов?
Чи щовечора зітхала
Після зустрічей, розмов?

Ти на жовтому пісочку
Пишеш пальчиком: люблю.
Змие хвиля по часочку
Першу відповідь твою.

А моя любов не перша...
Але все забуду я,
На скрижалях свого серця
Я вписав твоє ім'я*.

39. Аммоналка

Работяги ещё не пришли из карьера. Та палатка, в которой Загул жил когда-то, была занята до отказа. Незнакомый Загулу дневальный сердито посмотрел на него и грубо сказал: «Хватит тут вас! Я не из чертей, чтоб тут за вами проворачивать. Найди другой адресок, этот тебе не подойдёт».

В другом бараке дневальный сказал то же самое. Загул пошёл к коменданту.

— Знаешь, переполнено всюду. Теснота. Я бы направил тебя к блатным, только шумно там. А так — хорошо будет, честное слово. Если шуму не боишься, тебе неплохо там будет.

— Я крепко сплю. Мне заснуть, что шапку на глаза надвинуть.

— Вот и ладно. Пошли. Там уже есть двое с 58-й. И ничего, не жалуются.

Загул слышал, что когда-то в зоне были крупные распри между блатной братией и 58-й. Но 58-я сплотилась и дала дружный отпор. Их было большинство в каждой зоне, раньше не хватало только сплочённости и взаимной выручки. Но теперь всё это отошло в прошлое, столкновения прекратились.

Комендант отвёл Загула в барак. Знакомая картина. На многих нарах ничего не было: блатные презирают уют и за-

* Из сборника «З зелених гір». 1918 г.

боту о нём. Всё их имущество на них. Но были на нарах и постели с большим количеством подушек и с перинами вместо соломенных тюфяков. Загул знал, почему блатные любят подушки. На них хорошо разбрасывать карты во время игры, сосредоточивать на подушке банк.

Загул попросил у коменданта соломы, набил матрац, подушку и, облюбовав уголок, оборудовал себе место на верхних нарах.

— Вот сюда, — настойчиво посоветовал комендант и указал место поблизости к матрацам в нижнем ряду. — Здесь к печке будет ближе, — явно благоволя к Загулу, пояснил он. Потом Загул узнал, что была и другая причина: это место было ближе к дяде Косте, который не допустит безобразий по отношению к новому постояльцу.

Устроившись, Загул с нетерпением ждал друга. Каблуков ещё более возмужал, загрубел.

— Я уже слышал, что ты в зоне. Бухгалтер сказал.

— Он-то как знает?

— Всё знает. Ему Валет сообщил.

— Это уж совсем непонятно.

— Параша! Ты слышал про Воронина?

Загул ничего не слышал.

— Начал в карты играть. Потом пить. Уже раз пять в изолятор попадал. Опустился парень. В пекарне бражку варили. Пекарь Корявый. Самогон гнали. Вохровцы полагали, что в печке замуровано, в лепёшку разбивались, хотели найти. Они и сами были не прочь чего-нибудь хлебнуть. И никакого толку!

— Не нашли?

— Нашли! Оказалось, вставляли в хлеб, в тесто, перед посадкой в печь, какие-то трубочки, по этим трубочкам вытекал спирт. Что-то в этом роде. Воронин примазался к этому. Стал у блатяков своим гостем. Жалко парня. Мужик, в общем-то, хороший. Тяну его — ничего не получается... Где предполагаешь работать?

Загул ещё не думал об этом.

— Ко мне не советую, Дмитрий Юрьевич, — улыбаясь, сказал Алексей. — У меня нет лёгких работ. Ты долго был придурком, тебе будет трудно у меня, пока не вработаешься. Ты у завхоза для начала повтыкай.

— У Хомяка?

— Хомяк давно на общих. Уже два завхоза сменилось... Теперь завхоз Шатов, помнишь? «Таскае». Директор курортного ресторана. Ты с ним работал: блат. Вот и иди к нему, подбросит что-нибудь полегче.

Лысый Гурий Павлович был рад оказать услугу Загулу: знай наших, мы тоже можем пригодиться. Он важно и вместе с тем приветливо встретил бывшего напарника.

— Есть работёнка не бей лежачего. Как раз для тебя. Вокруг аммоналки надо дёрн снять. Полосой, от пожара. Работа трудная, конечно, но зато над вами никто не стоит. Уж выведем как-нибудь. Вали-вали ко мне. — Он даже потрепал Загула по плечу.

...Утром к аммоналке вышли четверо. Среди них оказался и Соломон Исаевич Айзман, более того, он был старшим в команде, на его обязанности было и определение выработки.

— Ты тоже к Гурию прилепился? — негромко спросил он. — У него неплохо. То да сё, так, глядишь, и проболтаемся трудное время.

Загул жалел об исчезновении возможностей для творчества, хоть и едва ли кому нужного, но дававшего выход чувствам. Но сейчас он испытывал и какое-то отрадное, буйное ощущение безграничной независимости, широкой свободы. Он рабочий, простой чернорабочий! Его уже невозможно куда-то сбросить. Он неуязвим. Ему уже ничего не страшно. Он может послать к чёрту всех и каждого, ему больше нечего терять. Это ощущение относительной свободы в лагере было столь сильным, что значительно умеряло тяжесть от понимания гибели в себе поэта. Правда, скоро он почувствует голод, он знал это по опыту. Та законная пайка, которую он сможет здесь заработать, не будет возмещать расхода затраченной энергии, но — и это он тоже знал по опыту — теперь у него обширный блат, он не провалится, его поддержат. Неплохой процент выработки выведет Шатов, в случае большой нужды выручит Каблуков, пропишет отдых доктор Афонин, даже бухгалтер поддержит маленьким исправлением в наряде... Не страшно. К тому же и сам Загул вовсе не расположен лодырничать, все эти соображения приходят ему в голову только потому, что он, конечно, белоручка, а всем белоручкам в лагере не очень светит..

Снимать пласты дёрна было нелегко. Загул сбросил своё старенькое пальто, работал в телогрейке. Ватная телогрейка на потной пояснице отделялась от ватных брюк. Зэки уставали и часто садились на пласты дёрна, уложенные в стопку. Обдувало ветром, ныли кости, надо было греться работой, но не хватало дыхания.

Аммоналка находилась в четырёх километрах от лагеря. Это был подвал, выход из которого, высовывающийся из земли клином, чернел окованной железом дверью. Рядом с две-

рю поднималась метра на три вышка. Часовой стоял на ней и равнодушно посматривал на рабочих, которые не столько работали, сколько отдыхали. Ему не было дела до этого, его дело охранять вход в подвал и ни на что не отвлекаться.

Перед тем, как идти на обед, Загул и его напарники услышали необычно гулкие взрывы. Они раздались один за другим очень близко, чуть ли не в самом посёлке. Вообще-то к взрывным работам все привыкли, они производились далеко от посёлка, но эти три-четыре привлекли к себе особенное внимание.

— Наверное, цистерна с бензином взорвалась.

— Что ты! С бензином — ничего. Вот если пустая! От газов! Это может.

В зоне узнали, что взорваны быки нового моста. Приехали специальные люди к уполномоченному. Два человека в форме НКВД. Они и произвели взрыв. Арестованы и отправлены в изолятор Никитин, Омельченко, четверо других рабочих. Кем-то пущены слухи, что раскрыто вредительство, но в чём оно, это вредительство? Кто и почему взорвал быки?

Загул ничего не понимал. Не понимали ничего и другие. Почему так неожиданно взорваны быки, над сооружением которых фаланга работала целых два месяца?

Торопливо пообедав, Загул поспешил к Каблукову. Тот убежал в амбулаторию. Оказывается, Кобра, которого насильно вывели из зоны на работу, обрубил себе один, потом второй, потом третий палец на правой руке. Топор был не острый, удары — косые, неточные, культяшка — рваная... Кобра бросил топор, поднял изуродованную руку, набросил на неё какую-то тряпку, обмотал ею кисть и завыл от дикой боли. Вохровец Редькин, выводивший его на работу, подошёл к Кобре вплотную, не подпуская никого для перевязки.

— Какое кому дело! — закричал он. — Человек хочет быть без руки. Или сдохнуть. Кому какое дело? Это его дело.

Никто не подошёл к Кобре, никто не осмелился вести его в зону. Все знали, что Редькин пристрелит любого, кто перейдёт запретную черту.

Так Кобра и катался по земле от боли до конца рабочего дня. В зоне его, бледного, шатающегося, увели в амбулаторию двое рабочих из бригады Каблукова. Прибежал к доктору и сам Каблуков.

Каблуков ничего не знал о взрыве быков, ничего не слышал о каком-то вредительстве. Ему было не до того — сумасшедший поступок Кобры никак не укладывался в его сознании. Что это? Протест? Против чего? Ради чего? А Загула

тревожила судьба старика Никитина. Ведь все считали его счастливым — к нему приезжал здоровый, молодцеватый красавец сын, а тут... Арест наверняка положит конец этому счастью.

Вечером Загула вызвали в УРЧ. Дина Гедальевна принесла туда своё письмо матери Матвея Шебалина, и попросила вызвать ей Загула. Она хотела, чтобы Дмитрий Юрьевич отредактировал письмо. О взрыве она ничего нового к тому, что знал Загул, не прибавила. Да, раскрыто вредительство. Быки сделаны так, что должны были развалиться. Подготовлено это было так, что вместе с фермами в реку рухнул бы и поезд. Никитин во всём сознался, дал откровенные показания и указал на все дефекты моста. Вот уж чего нельзя было предположить! Никитин! Как это страшно!

— И всё-таки я не могу поверить этому! — после долгого молчания неосторожно громко воскликнула Дина Гедальевна. — Не хочу верить! Боюсь, что и Вадим теперь пострадает, — шёпотом добавила она. — Ну чего ещё надо было старику? Ведь его же все уважали. И как уважали! Меня это так волнует!.. Ну, оставлю вам письмо, приду за ним завтра. Сегодня я уже не могу этим заниматься, чувствую себя даже нездоровой.

Загул ушёл в барак и, устроившись на нарах, попробовал прочитать письмо. Это не удавалось, — было очень темно. Он вышел из барака и стал читать стоя. Он читал и удивлялся тонкости психологии и чуткости Дины Гедальевны. Письмо она начала с выражения искреннего уважения к Матвею, его характеру, его рабочему мастерству. Затем, сообщив, что Матвей выбрал себе в жёны Катю, она тепло обрисовала эту девушку, и только после этого присоединила к просьбе сына и свою просьбу о приветливом отношении к Кате. Загул ничего не стал править, понимая, что любая правка только уменьшит искренность письма.

На другой день утром Загул до развода не увидел Каблукова, а в обеденный перерыв помощник повара в придачу к миске супа подал целую пайку хлеба.

— Что это такое? — удивился Загул.

— Тебе! Каблуков просил передать.

Загул ничего не понимал. Зачем? Почему?

— Его отправили куда-то. Утром отставили от развода, а потом — «на выход с вещами!». И пошёл. Куда? А чёрт их знает, куда!

Пайка хлеба! Не так уж много хлеба получил Каблуков в неведомую дорогу, чтобы им разбрасываться! И всё же он

вспомнил о Загуле и сделал этот благородный жест бескорыстия и товарищества... Кто знает, может быть, этот хлеб, и даже не сам хлеб, а память о нём поможет Загулу в самые трудные минуты...

40. Второй срок на горизонте

Прошло десять дней. Загул продолжал работать на аммоналке. Точно нельзя сказать, когда именно это произошло, но вся четвёрка Айзмана заболела. Они не знали названия этой стреляющей болезни, но доктор сказал, что это радикулит, что они вспотели и сели отдыхать на мёрзлое, а тут ещё и холодный ветер, охвативший потные тела, сделал своё дело.

Доктор объяснил всё это толково, но освободить от работы отказался. Нет повышенной температуры, а освободить бестемпературных он не имеет права. Пришлось подниматься утром на развод, идти на аммоналку. Пока работали, всё забывалось, но стоило присесть на минуту или остаться неподвижным, и тогда малейшее движение руки вызывало острую пронизывающую боль в пояснице и даже в груди.

К тому же Загулу было тяжело без Панкратьева, самого близкого ему человека. Но и Каблуков крепко вошёл ему в душу. И вот пути их разошлись! Неужели они никогда уже не встретятся?

Загул никого не видел из тех, к кому привык, живя за зоной. Особенно хотелось встретиться со Степаном Романовичем. И не только потому, что накопилось многое для задушевной беседы. Хотелось увидеть и многое почувствовать, минуя слова, как это бывает среди близких друг другу людей.

И как-то поздним вечером, когда Загул прилёг на нарах, надвинув по привычке шапку на глаза, он услышал далеко у дверей знакомый голос.

— Вон там он лежит, Степан Романович! — показал кто-то на Загула.

Панкратьев, не освоившись с темнотою барака, осторожно продвигался к тем нарам, где лежал Загул, зэки приподнимались, здороваясь с ним. Многие знали и любили Степана Романовича, многим он сделал что-то доброе.

Панкратьев бодро приветствовал знакомых, но было в его голосе какое-то не совсем понятное напряжение.

Загул, морщась от боли, поднялся навстречу.

— Что с тобой?

— Радикулит.

Панкратьев громко заговорил о лагерных делах, о том, о чём, поделился впечатлениями от встречи с новым техредом, но вдруг снизил голос, давая понять, что хочет сказать кое о чём секретном. Но какие можно сохранить секреты в бараке, где люди лежат на нарах и внизу, и вверху?

Он хотел сказать что-то важное, но говорил о другом.

— Как живёшь?

Дмитрий Юрьевич пожаловался на радикулит, на то, что не успел поговорить с Каблуковым перед его «отъездом», что ему тоскливо...

— Я тоже потерял одного из приятелей, — сообщил Панкратьев. — Знаешь Колосова? Замерщиком работал. Земляк мой. Шли вчера серединой дороги по болоту. Темно, хоть глаз выколи. Заговорились. Вдруг сзади машина. Слепила фарми. Пропустили и пошли за ней вслед. А оказалось, сзади без огней другая, аварийная, тянется на тросе. Я раньше сообразил, трос почувствовал. Крикнул что-то Колосову и бросился в сторону. Колосов тоже рванулся, но не успел, запнулся за трос и попал ногами под колёса. Измяло парня. Я заорал, остановил машину. Положили Колосова на платформу, и в больницу. Гадкое у меня настроение. Будто и я тут в чём-то виноват.

Панкратьев пожал Загулу руку и тихо пошёл к выходу. Загул размялся и, согнувшись, последовал за ним. Отойдя немного от барака, Панкратьев негромко сказал:

— Пришёл спросить, Дмитрий Юрьевич, куда твою литературу передать. У меня, брат, дело аварийное, гроза надо мною собралась.

— Что такое?

— А то, что второй срок на горизонте. А могут и расстрелять, что им, пули жалко? Думаю, надо о литературе твоей договориться, да и руку на прощание пожать. Про Никитина слышал?

— Слышал. Но вот что непонятно. Дина Гедальевна сказала, что он признался во вредительстве. Да не может этого быть. Мы все признавались, но теперь, вторично, я бы ни за что не признался!

— Признался! Я виделся с ним. Многим рисковал, чтобы увидеться. Он пока здесь, в изоляторе. «Ты что, говорю, делаешь, старик, голова твоя еловая!» — «Воля, говорит, сломана! Отутуженные брюки, говорит, сами сгибаются в привычных складках». Больше я с ним не разговаривал. Мне важно было узнать, по каким мотивам старик раскололся. Я так и предполагал, что по слабости духа.

— Кто состряпал это дело? — недоуменно спросил Загул. Ему было непонятно, зачем ещё обвинять людей, которые не просто прошли через это, но уже сидят.

— Ха! Баранов состряпал. Сверху присоединились два. Теперь они раздуют эту стряпню. Маленькое ли это дело: взорвали такой мост! Пока за это дело сидят только Никитин и тот кулачок Омельченко. Он обвиняется в том, что сознательно нормы в бетономешалке искажал по указанию Никитина. Но разве всё на этом удержится! Сначала человек сто соберут среди рабочих. Меня потянут, потом начальника ПТЧ Грачёва начнут трясти, потом и до нашего Бати доберутся. Вот куда оно будет пухнуть и расти! Нет, я буду бороться. Сейчас, пока всё это ещё на низком уровне, ещё не поздно. Искры тушить — это ещё в наших силах. А вот раздует ветром эту стихию, тут и Бате не удержаться. Этому плюгавенькому Баранову славы захотелось. Только по Сеньке ли шапка? Меня скушает, а на Бате может подавиться. Надо Батю предупредить, пока на него только Баранов покушается, а не другие. Когда другие руки приложат, будет поздно.

Панкратьев говорил с такой искренностью и страстью, что проходившие мимо лагерники стали останавливаться.

— Здравствуйте Степан Романович! — говорили они, и просто неудобно было обижать их просьбой проходить, не задерживаясь.

— Есть, Дмитрий Юрьевич, есть честные люди и в этой среде, — перешёл Панкратьев на другую тему. — Помните, я говорил вам о Смирнове, моём следователе? Помните, какое он дал мне обещание? Так он его выполнил! Я прочитаю, о чём мне пишет жена. — Панкратьев развернул письмо, попытался прочесть его, приблизив к глазам, но не смог. — Ребята! — осуждающе сказал он остановившимся. — Я же намереваюсь личное письмо читать. Письмо от жены. Проходите, пожалуйста!

— Ну ладно! — обиженно протянул один из эков и быстро отошёл в сторону. За ним отошли и другие.

— Вот, слушай, — Панкратьев начал читать. — «Стёпанька, дорогой! Я долго не писала, так как хотела скрыть от тебя новый удар, обрушившийся на меня. Теперь всё позади, я снова учусь и работаю, снова не замечаю, как бегут дни, забывая о твоём и моём несчастье.

Две декады тому назад меня вызвал только что назначенный новый директор рабфака и грубо спросил, как это я посмела затесаться в такое учреждение. Я заплакала от обиды и оскорбления: со мной в институте никто так не разговаривал. Он закричал на меня и потребовал, чтобы я сегодня же

подала заявление об уходе. Я ответила, что пусть дирекция увольняет меня, но сама я такого заявления не подам: не хочу лгать, так как умею работать, и хочу работать по своей любимой специальности. Тогда он поднялся, топнул на меня ногой и заявил, что не допустит меня в аудитории и чтобы я не смела переступать порог вуза, которым он руководит. Через день меня уволили. Причина — жена врага народа.

Я вышла из его кабинета разбитая, униженная, растерянная. Куда пойти? Кому и что я могу сказать? Кто мне поверит? Кто посмеет заступиться? И будет ли от моих просьб какой-то толк?

И тут я вспомнила слова, которые ты выкрикнул, когда конвойные садили тебя в теплушку. Как хорошо, что я их запомнила, хотя и не придавала им никакого значения. «Если тебя кто обидит, — крикнул ты, — иди к Смирнову в ГПУ, он лучше всех знает, кто я и кто ты».

И вот я пошла. Вернее, начала ходить. Комендант не допускал меня, не давал мне пропуска к Смирнову. Один раз сказал: «Чего ты ходишь, муж твой в лагере, а это уже не в нашем ведении, наша власть на лагерь не распространяется». Тогда я сердито крикнула, что муж тут ни при чём, я сама — гражданка Советского Союза, я к Смирнову по личному делу. Он подумал и позвонил. «Панкратьева тут говорит, что у неё личное к вам дело». Видимо, тот приказал пропустить.

И вот я пришла к Смирнову. Старалась не плакать, быть спокойной. Сказала ему так: «Мужа моего осудили, отправили в лагерь. Он отбывает какое-то наказание, это по закону. Однако меня не судили, ни в чём не обвиняют, но гоняют, преследуют, презирают. Это не по закону. Скажите мне, что я не имею права учиться и учить, и я пойду стирать бельё и мыть полы. Но скажите!».

Смирнов выслушал меня серьёзно, очень серьёзно. Не угваривал и ничего не объяснял. А потом поднял трубку, назвал какой-то номер и сказал: «Я полагаю, что Панкратьева может как учиться, так и работать». Положил трубку и спросил:

— Слышали, что я сказал?

— Слышала, — говорю.

— Пойдите к Котову и передайте ему то же самое.

Пошла к директору. Он из-за стола мне навстречу. Роба расплылась, губы трясутся. «Вы не сердитесь, — говорит, — я против вас ничегошеньки не имею. Но мне позвонили... Я очень рад, что всё так оборачивается».

И вот я снова учусь, снова работаю. Мне даже хотели начислить какие-то деньги за вынужденный прогул, но я отка-

залась, ведь это неправильно, я же поурочно получаю. Какие же деньги, если я не давала уроков».

— У меня сейчас на сердце кошки скребут, — сказал Панкратьев, — но это письмо снимает сердечную боль. Ведь мы как мыслим: было бы нашим семьям хорошо, а уж мы как-нибудь. Я рад и за Танюшу, и за Смирнова. Приятно сознавать, что в этой среде есть разные люди. Есть такие, которые не ведают, что творят. Или не хотят ведать, заглядывать в будущее. Они оживают, вдохновляются, проявляют инициативу, зарабатывая авторитет, награды, должности. Но есть и такие, как Смирнов, которые по мере сил стремятся сгладить мерзость происходящего, смягчить причиняемое ими зло, не смея, конечно, выходить из заданных рамок, из подчинения системе. Система сильнее индивидуума!.. Так вот, куда деть твои заветные тетрадки? Из моих друзей никому нельзя: если этот пожар не потушим, все погорим. Вся ПТЧ.

— Спасибо за заботу, — сказал растроганный Загул. — Отдай наборщику Кашину Александру Акимовичу. Можешь и своё интимное ему оставить, он хороший мужик.

— А у меня ничего за душой, всё только в душе, — пошутил Степан Романович. — Письма Танюшки, так я их жгу. Так лучше...

41. Дядя Костя

Вечером в бараке было шумно. Так казалось Загулу, а населению палатки было привычно весело. Каждый вечер в дальнем углу играли в карты, сделанные, как он узнал, из томика его стихов. Кто-либо из эков, обычно двое, стояли на стрёме, докладывая, когда шёл дежурный вохровец, — в барак блатных они заходили часто.

...Однажды Загул пришёл несколько ранее обычного — на аммоналке защитные противопожарные работы закончились. Откинул одеяло, посыпались карты! Он собрал их, сядя на тех, кто нашёл для карт столь неподходящее место, и едва не накричал на вошедшего Базиля. Но тот только рассмехался и приподнял матрац. Загул увидел под ним деньги. Оказывается, опасаясь шмона, игроки прятали карты и деньги обдуманно и не в первый раз. Место Загула было вне подозрений у вохровцев. Загул вспомнил, что как-то, когда во время очередного шмона он, чувствуя себя не очень хорошо, лежал, Редькин спросил: «Кто лежит?» — «Загул». — «Нехай

спит!» — сказал Редькин своим товарищам, и Загула не беспокоили. Теперь он узнал, что невольно охраняет карты и «банк».

Когда из зоны все уходили на работу, в парикмахерской делать было нечего, и Базиль приходил в барак досыпать. Както случилось, что Загул должен был пойти в ночную смену, и он тоже спал днём. Пришёл Базиль. Загул рассказал ему о Матросе, об услуге, оказанной ему этим человеком.

— Да никто ничем тогда не рисковал, — смеясь, сказал Базиль. — Я не буду говорить о Матросе, скажу о дяде Косте. Вот понадобится вам три тысячи. На нужное дело. Дядя Костя захочет вам помочь. Вот с места не сойти, скажет кому надо — через час будет пять тысяч. Соберут. И вы дадите рубль или два. Правильно. И риска нет. Пусть бы украл кто-нибудь! У кого? У Матроса? Матрос бы сказал: чтобы завтра утром были! И пошёл бы спать. Вот вам и всё.

И всё же Загул был благодарен Матросу. Впрочем, нравы в зоне были своеобразны. Неделю назад Загул получил посылку. В ней было с десятков лимонов. Загул угостил парой лимонов и двумя головками чеснока дядю Костю и Базилья. Те с радостью угостились. А через три дня Загул вдруг обнаружил под подушкой пять баночек мясных консервов...

Утром к Загулу подошёл Базиль.

— Дмитрий Юрьевич, — сказал он, и вежливый тон обращения был необычным для него, — если есть деньги, выручите, пожалуйста. Это сбор для дяди Кости. Проигрались ночью. Посмотрите!

Загул взглянул на нары, на то место, где помещались дядя Костя и Базиль. Они были пусты. Голые доски. Зэк из соседнего барака унёс не только деньги, но и перины, подушки, и даже жилет дяди Кости, высшую ценность в мире блатных.

Загул отдал все деньги, что у него были, — девять рублей. Он почувствовал, как удивился этой поддержке Базиль, все окружающие и сам дядя Костя. Вскоре перед дядей Костей лежала грудка бумажных денег.

Вечером, когда Загул пришёл с работы, Базиль и дядя Костя лежали на перинах с двумя подушками под головой у каждого. Базиль тотчас вручил Загулу девять рублей и широкий кожаный пояс. Загул взял деньги, а от пояса категорически отказался: зачем ему такая роскошь, всё равно отберут, как только такой командирский ремень обнаружит вохровец.

Дядя Костя был седой, тщательно выбритый, чистый старик, одетый в брюки, тщательно заправленные в маленькие лакированные сапоги, и жилет. Он нигде не работал, хотя и

выходил иногда на развод. За него охотно работали почитатели старого вора.

Он был бывалым лагерником, успевшим до БАМлага побывать и на Беломорско-Балтийском канале, и на Печоре, и где-то на Урале, и вообще трудно сказать, где он был, а где не был. Знакомства он имел обширные. По благу текли к нему блага не только из соседних фаланг, но иногда и из соседних отделений.

С Дмитрием Юрьевичем дядя Костя говорил и о поэзии.

— Это у тебя Сбитнев стащил тогда книжки? — участливо спросил он. — Я не знал тогда этого, в зоне не был. Я бы не дал или вернул. Хочешь, я напишу в Москву, мне купят и пришлют?

Загул объяснил, что теперь его книжек нигде не купишь.

— Жалко! — сказал старик. — Я хотел бы уважение к тебе проявить. За Кольку Сбитнева...

Когда Загула хотели перевести в палатку 58-й статьи, блатные уцепились за него и уговорили остаться. Он долго оценивал свою роль в этом бараке и решил согласиться. Его, Загула, здесь понимали, может быть, больше, чем там, да и он сам был далёк от иногда возникавших у 58-й негромких злых споров на непонятные ему политические темы. Странно, но поэт чувствовал себя близким к этому дну, к этим колоритным и очень разным мошенникам, жуликам и бандитам. Особенно когда они раскрывались с совершенно неожиданных сторон.

Как-то среди обитателей барака внимание Загула привлёк цыган. Он неумоимо выкрикивал что-то бесшабашное и плясал до упоения под какую-то трескотню или под свои собственные бесшабашные выкрики. В тот вечер он плясал на печке. Когда-то она была железной бензиновой бочкой и поэтому надёжно выдерживала отчаянную пляску этого непоседы. К цыгану вскоре присоединился хохол Резниченко. Этот знал сценические танцы, так как был когда-то цирковым артистом. Вместе они без конца раскручивали номер, хлопали друг друга пятками сапог, подолгу выстукивали дробь, изображали конькобежцев и так далее.

Неожиданно старик с бытовой статьёй заявил, что он певец. После цыганской пляски он слабеньким голоском затянул что-то длинное, тягучее. Потом закашлялся и сбился. Кто-то крикнул: «Соловьём залётным юность пролетела», а дядя Костя сказал ласково: «Ладно, старик. Поёшь хорошо, только нам твои песни не подходят. Нам надо весёлые». И в палатке зазвучали довольно дружно исполняемые бессмертная «Мурка» и её родственники.

Впрочем, иногда приходили всякие «параши» о внутренней и международной политике с обязательными, иногда совершенно фантастическими выводами о том, как это повлияет на судьбу заключённых.

42. Неужели на агитбригаду?

В полдень распространился слух, что Райку, Раису Наумовну, начальника санчасти, проиграли.

Дядя Костя в этот день не выходил на развод, был в законе, так как его освободил врач.

— Слышали парашу? — спросил он Базиля, заглянувшего после обеда в палатку. — Будет шмон обязательно. Припрячь что надо!

Базиль для того и зашёл в палатку, чтобы поделиться этой новостью. Раиса Наумовна действительно была проиграна, и её зарезала сделанным из напильника ножом Глашка, заключённая из женской фаланги.

Опытный дядя Костя угадал: часов в десять вечера начался шмон. Тупо и неохотно искали ножи, хотя знали, что завтра взамен каждого изъятого у заключённых ножа будет сделано два других. Как обычно, начали с дальнего угла, но на этот раз потревожили и Загула. Все зэки из дальнего угла босиком, в одном белье, сгрудились к дверям, в углу четыре стрелка сбрасывали с нар прощупанную их руками постель, заглядывали в щели стен и досок.

Шмон ещё не закончился и Дмитрий Юрьевич не успел уснуть, как в барак вбежал комендант и взволнованно крикнул: «Редькин!». Тот, услышав какое-то сообщение, командовал стрелкам: «Отставить! Выходи к проходной!».

Вслед за стрелками повыскакивали из палатки и зэки. Со всем недалеко горел небольшой домик. Огонь только начал вырываться из окон, и языки пламени стали лизать крышу.

— Коварная избушка! Это коварная горит!

— Кто-то Баранова поджжёт, чтоб он сгорел!

— Говорят, двери подпёрли и подожгли!

Как всегда, в этих выкриках правдивое переплеталось с вымыслом. В проходнушке остался только один вохровец, все остальные убежали тушить. Вслед за ними выбежали и заключённые, имевшие право на свободный выход. Бойцы сипло кричали с ближней вышки зэкам, чтобы те отошли от

проволами, но это не помогало. Стрелок выстрелил вверх, и кое-кто отошёл, но большинство не шевельнулось.

Скоро пошла по зоне свежая параша: уполномоченный Баранов сам поджёт свою коварную избушку.

Приехала поселковая пожарная машина, но делать ей было нечего: стрелки и эки уже развалили брёвна избушки в стороны, пожар сник, только изредка взлетали вверх искры и шёл густой дым.

Часам к двум ночи успокоилась и зона, но Загул долго не мог уснуть. Его беспокоила трагедия в санчасти. Беспокоила не только из-за самого факта убийства вольного врача, но ещё мысль о том, что Дина Гедальевна тоже попала в непонятное, с неё, женделегатки, могут спросить за воспитательную работу. Убийца-то — заключённая из её подшефного барака! Да и без этого впечатлительная Сабольчи должна тяжело переживать случившееся...

Работы на аммоналке давно закончились, теперь Загул ходил заготавливать берёзовую чурочку для тракторов*. Ходили всё той же четвёркой, но однажды, когда бригада уже двинулась в лес, её догнал Цыган — Загула вызывали к Большакову. Загул не знал, как быть, брать ли с собой инструменты или оставить топор и пилу товарищам, которые не очень-то любили носить чужой груз.

— Оставь, — сочувственно сказал Айзман.

— Цыган, ты разве дневальный? Почему тебя послали за мной? — спросил дорогою Загул.

— Не! Меня в агитбригаду берут. Мне экзамен сейчас был. Мы с напарником чечётку били. Шесть человек смотрело. А потом послали дневального за тобой в зону, ну а раз тебя там нет, тогда меня — в лес.

У Загула радостно забилося сердце. Неужели на агитбригаду? Да не может быть! Разве допустит Баранов?

— Где тебя экзаменовали? — спросил он Цыгана. — В конторе? В клубе?

— В клубе. Там уже хорошо. Сцена только непрочная. Как мы стали плясать, так начали доски подпрыгивать! Что это

* В 30—40-е годы в странах, испытывавших нехватку нефтепродуктов (Англия, СССР и др.) эксплуатировались газогенераторные автомобили и трактора, использовавшие в качестве горючего дрова, торф, уголь и т. п. В предвоенные годы СССР занимал первое место в мире по количеству газогенераторных автомобилей и тракторов. Сегодня сочетание слов «трактор» и «дрова» вызывает естественное недоумение.

за сцена? Но Большаков сразу велел заменить. Там много собралось народу, кто поёт, кто что...

Загул стряхнул с себя опилки, лесной сор. Помыл руки, пригладил волосы.

В недостроенном летнем театре пахло сосной. Было очень много народу. Загул прежде всего увидел Большакова, крупного, какого-то грозно-озорного, похожего на Петра Первого в исполнении Симонова*. Он мельком взглянул на Загула и молча кивнул ему, чтобы он сел и ждал. Загул огляделся и кроме четырёх плотников, почтительно переживавших окончания «экзаменов», и десятка экзаменуемых увидел в жюри начальника ПТЧ Горбачёва, начальника КВЧ Зайцева, начальника финчасти Рихтера и двух незнакомых ему людей.

— Ну, теперь ты, — сказал кому-то Большаков. — Что ты можешь?

— Я пою, только как без музыки?

— Музыка будет. А пока спой так. Давай.

Парень отошёл от группы эков, кашлянул, неуверенно огляделся и вдруг отчаянно запел «Почему я водовоз»**.

— Ничего, — засмеялся Большаков, — получится. — И весело посмотрел на других.

— Получится-получится! — преданно подтвердил Зайцев, обернулся, и его маленькие хорьковые глазки испытующе задержались на Дмитрие Юрьевиче.

Но Большаков и сам вспомнил о нём.

— Видишь: агитбригада строится. Будешь писать для них. Песенки, частушки. Побольше частушек, чтоб едко было. Ну а потом, тут всё молодёжь, ты самый старший, вот и будешь отвечать за них. Понятно?

— Всё понятно.

— Ну вот, поговори с агитчиками, сам подумай, и напиши мне к вечеру, что нужно для агитбригады. Это тоже понял?

— Тоже понял.

Большаков уже повернулся к плотникам и стал объяснять им, как должны быть закреплены полы на сцене.

* Народный артист СССР Николай Константинович Симонов (1901—1973) был в те годы одним из известнейших деятелей кино и театра. Фильм «Пётр Первый», где он исполнил роль Петра, вышел на экраны в сентябре 1937 года.

** Песенка водовоза (музыка И. О. Дунаевского) из кинофильма «Волга-Волга» (1938 г., режиссёр Г. В. Александров) была необычайно популярна в предвоенные годы.

Все ушли, кроме агитчиков и одного из членов жюри. Плотники застучали топорами, выполняя наказ начальника. Незнакомый коренастый брюнет с седеющими волосами подошёл к Загулу.

— Вы бывший техредактор? А я теперешний. Будем знакомы. Михеев, — сказал он, подавая руку. — Теперь мы будем близки по работе. Заходите в редакцию, пожалуйста.

— Обязательно зайду, — пообещал Загул и начал знакомиться с будущими агитчиками. Ещё входя он услышал молодые сильные голоса двух девушек. Они оказались сёстрами, звали одну Ритой, другую Олей. Одной было девятнадцать, другой двадцать один год. Обе в своё время окончили среднюю школу, где-то работали, и допустили растрату. Рита и Оля располагали к себе какой-то непосредственностью, простотой поведения и искренностью.

Загул вместе с ними составил минимум реквизита. Прежде всего нужен был баян и костюмы синеглазников. Тут же начали составлять программу подготовки первого выступления из тех, кто с чем-то уже мог выступить.

С тёплым чувством Загул пошёл в редакцию, ему хотелось встретить людей, с которыми он сработался и к которым незаметно для себя привязался. Михеев, видимо, сообщил своему штату, что встретил Загула в клубе. Катя и Колька вышли ему навстречу. Катя обеими руками схватила руку Дмитрия Юрьевича, что-то беспорядочно ему говорила и смеялась. Колька вышел, видимо, за компанию. Он, как всегда, был ровен и внешне равнодушен, но в нём вновь проснулось желание стать синеглазником. И Колька тоже вдруг схватил Дмитрия Юрьевича за руку выше локтя и подержал её, сжав ладонями.

Кашин, Арчил, Лосев встретили Загула восторженными возгласами, доставив ему те минуты, без которых очень уж тусклой становится жизнь.

— Дмитрий Юрьевич, я слышал, вы поэт? — спросил Михеев, усаживая Загула за стол. — Сейчас пишете или не пишете? Какие люди в лагере! Вот этот Большаков! Какие воля и работоспособность! И добрейшей души человек. Его суровость обманчива. А Панкратьев! Какой мудрый и скромный! Вы знаете, он уберёт Большакова от больших неприятностей. Вы знаете хотя бы в общих чертах эту историю с Никитиным? Кто проявил бдительность? Это ваш Панкратьев. Когда стали брать за штаны Грачёва, Панкратьев пришёл к нему и устыдил за безволие. «Вы загипнотизированные Барановым кролики, готовые прыгнуть удаву в рот. Шевелитесь, а то позд-

но будет!» И подействовало. Грачёв побежал к Большакову, а Большаков послал телеграмму Френкелю. Френкель потребовал прислать на лабораторный анализ образцы бетона из быков. Большаков со специальным паровозом отправил целый вагон обломков. Френкель телеграфирует: «Лабораторный анализ показал прочность состава выше нормы». Спас! Если бы упустить этот момент — что было бы! А теперь всех спас, да и себя уберёг, уж его-то бы тоже замели. Уж это как пить дать...

Михеев понравился Загулу той горячностью и прямоотой, с которой обрушивался он на несправедливость и фальшь. В прошлом он был членом партии, журналистом в районной газете, но статью получил тоже контрреволюционную.

Удалось увидеться и с Панкратьевым. От него Загул узнал, что Баранов сам был виноват в пожаре: ушёл из избушки, не выключив самодельной плитки, стоявшей под кроватью. Хорошо хоть, что вохровцы прибежали скоро и взломали дверь. Истинную причину пожара они и засвидетельствовали. Если бы не это, Баранов утверждал бы, что был поджог. А теперь придётся ему самому быть в роли ответчика. Ответит, хотя бы материально.

— А что с Никитиним?

— Странно ведёт себя. Немножко рехнулся, видимо, старик. Теперь, когда Баранов получил приказ прекратить дело, Никитин противодействует. Представляете, что происходит? Баранов кричит, стучит кулаками: «Как ты смел вводить в заблуждение следователя? Давать ложные показания? Как ты смел утверждать мне, что ты вредитель? Когда не было никакого вредительства? Что ты мне мозги забиваешь? Пиши объяснение!» — «Было вредительство! — настаивает Никитин. — Я вредитель! Не хочу мотаться туда-сюда, не хочу быть тряпкой. Сказал, что вредил, значит, вредил! Так и будет. Пусть будет так, не могу менять своих показаний!». Вот старик! Железная стойкость наыворот.

— Вы видели Никитина?

— Нет! Он под строгим. Его, конечно, увезут отсюда. Как и Баранова. Карьера маленького Баранова тоже оборвалась. У нас, во всяком случае. Не прошёл номер! Не прошёл!.. А ведь мог пройти...

Поздно вечером Загул перенёс свой тюфяк в палатку ИТР и улёгся спать. Только теперь он вспомнил, что не обедал и не ужинал.

43. Мост Матюшкина

Утром узнали: умер Матюшкин. Для многих это было пустым звуком: услышали и забыли, в лагере чуть ли не каждый день кто-нибудь умирал. Но в груди Загула, когда он слышал об этой смерти, что-то тяжело всколыхнулось и подступило к сердцу.

Человек умер в три часа ночи в конторе за рабочим столом. Он неуклюже сунулся на стол, за которым творил четыре года, и алой кровью, хлынувшей из носа, окропил последние свои чертежи, чертежи, так нужные стройке... Их заботливо убрали, стол обтёрли, тело увезли на торопливой трёхтонке. Тихо и незаметно ушёл из жизни скромный, честный человек. Тихо жил, тихо умер. Умер не сразу: мало кто знал, что уже больше трёх месяцев ничего уже не видел его левый глаз, плохо слушались пальцы левой руки. Он сказал об этом Панкратьеву, не жалуясь, а только потому, что «очень уж хотелось сказать хотя бы кому-нибудь».

Почти никто не знал, кем он был в далёком для него прошлом. Заключённые по 58-й рождались здесь заново. В жизни «по эту сторону» он, как и тысячи других, работал бескорыстно, без камня за пазухой, отдавая без остатка всё, что у него ещё оставалось: конец жизни, силы, здоровье, умение, опыт, знания. Большаков, Грачёв, немногие другие знали, что у Матюшкина это было целым богатством. Но что они могли сделать для него? Они боролись для Родины, за Родину, для будущего, за будущее, они сами были подвижниками, незаметными героями напряжённой деловой жизни здесь, «по эту сторону». Не знал, не хотел, да и не мог этого знать Баранов.

В голове Загула царила тревога. Настроение подсказывало ему рифмы, рождались строчки, над которыми хотелось ещё много работать. Но для чего? Кому это нужно? Есть другая, более важная сегодня работа, в которой он пока не только не успевает, но и не понимает по-настоящему своих новых обязанностей. Он совсем не умеет лицедействовать, где уж там руководить другими, да ещё и учить их! Он же не может показать, как надо петь, плясать, вести программу!

Если его задача писать тексты, то и в этом случае нет в бригаде человека, который предъявил бы к тексту какие-то сценические требования, мог бы обыграть текст. Поэтому агитчики готовились сами, кто как умел, прислушиваясь только к голосу друг друга, и сами вносили поправки в исполнение.

И всё же он начал оформлять в рифмованные лозунги основные производственные задачи.

Он был очень благодарен начальнику отделения, когда тот пришёл снова, собрал агитбригаду и прослушал всю программу, внося на ходу поправки и высказывая пожелания.

...В посёлке появился Матвей Шебалин. Он пользовался покровительством начальства, и ему разрешали такие отлучки с производства. А тут ещё и вполне уважительная причина сегодняшнего прогула, о которой знала вся фаланга: Екатерина Спирина уезжала к его матери. К тому же это не 58-я, по которой прощения не бывает, а бытовик — свихнулся и выправился, встряхнулся и чист.

УРЧ выдала Спириной Екатерине документы об освобождении, деньги на питание и проездные документы до места, где она была арестована и откуда её этапировали. Катя, сияющая, счастливая, в накинутом на плечи зелёном платочке, подаренном ей Диной Гедальевой, вместе с Матвеем зашла в клуб, чтобы проститься с Дмитрием Юрьевичем. Поговорили о будущем, о жизни, а потом Матвей поведал Загулу ещё одну печальную историю.

Воронин окончательно спился. Его, наверное, отправят в роту усиленного режима. Он и блатные его товарищи ночью зарубили в поле корову, изрубили вместе с кожей на куски, пьяные пришли в посёлок, забрались к кому-то во двор, запрягли лошадь, выехали в поле, покидали мясо в телегу, привезли в посёлок на двор к старухе, принимавшей краденое, мясо сбросили, лошадь вывели на дорогу, настегали вожжой и пустили, куда хочет. В посёлке грабителей не обнаружили, но начальник фаланги узнал, кто это проделал, и доложил Большакову.

Дмитрий Юрьевич слушал, и ему одновременно было и жаль и не жаль Воронина. Дряни — дрянная участь. Но ведь молодой и сильный человек, с богатырским сложением, с образованием и способностями — вспомнилась его игра в шахматы вслепую, — и вот... Брошенный в эту воду должен выплывать. Сам, своими силами. Тут надеяться не на кого. Собери всего себя и докажи, что ты силён и полноценен. Тебя отказались уважать. Но заслужи уважение в себе самом, и ты обретёшь силы из внутреннего резерва, ты останешься человеком и даже будешь этим гордиться. А Воронин...

В клуб заглянул Панкратьев.

— Леонида Михайловича хоронят вечером, — тихо и грустно сказал он, здороваясь. — Не пойму, почему мне так грустно. Потому что от нас ничего не останется в памяти людской? Так с этим я давно смирился, это никак не может трогать меня. И всё же грустно-грустно, Дмитрий. Почему?

— Мне тоже грустно. Почему? Да, умер товарищ. Но мало ли их умирает здесь? Но он-то умер как честный и преданный солдат на боевом посту. И никто не воздаст ему должного, и нельзя воздать ему почестей, нельзя вслух сказать о нём доброе слово. Незвестный солдат? И мы умрём, как неизвестные солдаты, за тех, кто останется на земле. Слёз нам не надо, их много пролили наши матери, сёстры, братья. И жалости не надо — это утеша жалких, беспомощных, раздавленных. Но мы заслуживаем от будущих поколений большего и лучшего, мы заслуживаем уважения. Пусть не прижизненного — посмертного. Мне бы хотелось, очень бы хотелось, чтобы этот мост был мостом Матюшкина. Этого не будет, этого и не может быть, и, наверное, именно поэтому и тебе, и мне так грустно.

— Знаете что, Дмитрий Юрьевич? А нельзя ли нам всем, всей нашей палатке, проводить в последний путь Леонида Михайловича, да и не вспомнить ли его добрым словом на могиле?

— И ещё идея. Напишем от нас, от его «соквартирантов», письмо его жене, воздадим должное его памяти.

— Правильно, — заметил Панкратьев. — Зайдём в КВЧ, там и напишем.

В КВЧ сидели Зайцев, Бабенко, дневальный и художник Володя, девятнадцатилетний парень, рисовавший плакаты. Володя уже просил Загула принять его в бригаду. Он был искусным подражателем: великолепно имитировал кудахтанье кур, лай собак, мяуканье кошек, и ночью, когда ложились спать, забавлял этим весь барак. Кроме того, он умел петь женским голосом, да ещё и соорудил некий музыкальный инструмент, состоявший из одной струны, мембраны от граммофона и дощечки. Играл на нём Володя смычком.

Зайцев удивился, когда пришедшие сказали, что зашли в КВЧ написать небольшое письмецо.

— Что это вы собираетесь писать? — насторожился он, с суровым видом подойдя к пришедшим.

— Матюшкин умер. Мы хотим известить об этом его жену, — спокойно ответил Загул.

— Официально сообщат. Вы что, лично её знаете? Кто она вам? Откуда такая забота?

— Да просто человеческая забота, Леонид Фёдорович! — укоризненно ответил Панкратьев.

— Мы знаем её из писем Леониду Михайловичу, — попытался смягчить тон разговора Загул.

— Что вы знаете? Романтики! Да у него молоденькая жена. Она, быть может, крутит там, на воле, и очень ей нужно по-

скорее узнать, когда и как умер этот старик! — Зайцев как-то фыркнул. — И почему для этого пришли в КВЧ? Тут не место этим заниматься, идите в контору.

Загул пожал плечами, улыбнулся, и хотел было уйти, но Панкратьев уселся основательнее и насмешливо оглядел хозяина помещения.

— Мы идём в свою палатку. А к вам зашли по пути, потому что сюда ближе. В палатке это письмо согласуем. Я не понимаю, что у вас убудет от этого.

— А я, начальник КВЧ, не разрешаю вам заниматься в этом учреждении посторонними делами. Я отвечаю за КВЧ!

— Ну его, — досадливо сказал Загул и махнул на Зайцева рукой.

— Это свинство с вашей стороны! — взъярился почему-то Зайцев и схватил висевшую на гвозде фуражку. — Я протестую! Вы ответите! — и вышел.

— Вот зараза! — усмехнулся Панкратьев, прошёл по комнате и снова присел у письменного стола.

— Он боится, — сказал вдруг Бабенко. — Он напуган, — добавил он и рассказал, как они с Володиёй подшутили над Зайцевым.

— За что вы его не любите? — спросил Загул.

— За всякое, — ответил, подумав, Володя. — Но главное, пожалуй, вот за что: готов нас без толку держать на работе всю ночь. Идёт на приём к начальнику — это часов в девять вечера — и не велит уходить до двенадцати. Иногда оттуда, из конторы, звонит: «Ждите меня!». Я иногда провод отключаю, он на другой день ищет-ищет — в чём дело, где контакт нарушен. Я тайком исправлю и с понтом пойду по болоту провод проверять — опять телефон работает.

— Его начальник накачает за плохую работу, — добавил Бабенко, — а он прибежит часов в одиннадцать, в голове — всякие новые идеи. «Давайте, ребята, садитесь сейчас же, я позвоню, ужин вам оставят, садитесь сейчас же, делайте вот то, вот это!» У нас никакой охоты, никакого вдохновения, двенадцатый час, спать хочется, ужин будет холодный...

— А чем же он напуган? — спросил Загул.

— Да вот Бабенко один номер придумал, — кивнул Володя на товарища.

— Это я подшутил, — сдерживая смех, рассказал Бабенко. — Пришёл агитчик похвастаться: вот я какой, в новенькой блузе, чистенький придурок, артист! Я говорю ему: «Мишка! Ты теперь там близко от начальства крутишься, ты все тайны знаешь. Скажи, правда ли, что нашего Зайце-

ва скоро заменят другим начальником? Об этом все говорят, но ты лучше знаешь, скажи, пожалуйста!». Мишка всё понял, он, конечно, ничего не знает, но говорит нам: «Да, есть такое дело! Предполагается». А через два дня параша уже пошла, уже нас с Володей спрашивают, правда ли. Дошло, конечно, и до Зайцева.

— Только нам ещё хуже стало, — со смехом перебил его Володя. — Теперь он в лепёшку разбивается. Надо что-то другое теперь придумывать.

— Из-за ваших шуточек и нас чуть не выгнал, — сказал Панкратьев.

Через десять минут Загул прочитал такое письмо.

Уважаемая Полина Сергеевна!

Дорогой Валерий!

Будьте мужественны. Сообщаем вам о том, что ваш муж и папа Валерия, наш Леонид Михайлович неожиданно ушёл из жизни. Он умер на своём посту, как честный сын Родины. До последнего часа, до последней минуты отдавал он во славу её все свои силы, весь опыт, все знания, весь свой творческий задор. Умер он сегодня в три часа ночи во время напряжённой работы над проектом. Сегодня мы сопроводим его гроб до могилы. Искренне сочувствуем вашему горю, желаем мужественно перенести его.

С глубоким уважением к вам группа товарищей Леонида Михайловича.

Загул,

Панкратьев.

— Ну вот, подпишут все, кто хочет, — сказал Панкратьев, забирая письмо.

В палатке ПТР жило восемнадцать человек. Некоторые недоумевали — зачем это? Но подписали письмо все.

После обеда в клуб прибежал дневальный Баранова: уполномоченный требует к себе Загула.

Баранов размещался теперь в классном вагоне, загнанном в специальный, близкий к конторе, тупик. Уполномоченный встретил Загула почти приветливо.

— Вы там предполагаете какие-то речи на могиле Матюшкина произносить?

— Не было такого намерения.

— Было или не было, но на похороны никто из зоны не пойдёт. И не пытайтесь!

Загул рассказал об этом разговоре Панкратьеву.

— Ясно, без Зайцева не обошлось. Дай мне письмо. Если опустить на станции, Баранов изымет его из ящика. Я в вагон почтового поезда опущу.

44. Первый концерт

Вскоре агитбригаду дополнили и настоящие артисты. И какие! Двое артистов балета со своим руководителем Мачавариани*. Два артиста из Ленинградского театра комедии. «У них статья — бытовое разложение, только я этому не очень верю», — сказал Большаков Горбачёву, не стесняясь присутствия Загула. Мачавариани назначили руководителем агитбригады.

Наступил день, когда в клубе должен был состояться смотр художественной самодеятельности. Пришёл Большаков с женой и маленькой дочерью, Горбачёв с женой, начальники частей. Дина Гедальевна с мужем. Допущены были и все придурки. Вход в клуб был разрешён всем зонам, свободным от работы. Зал, вмещавший двести человек, заполнился полностью.

Вначале выступали «свои». Цыган и Резниченко отбили чечётку, показали танец «на коньках». Синеглазники исполнили ораторию, наполненную боевыми лозунгами, производственными призывами «дать», «закончить», «выполнить». Далее шли обычные гимнастические упражнения, пирамиды, выступали сёстры Кротовы, исполнявшие в сопровождении хора частушки, зэки читали стихи, пели песенки, чаще всего сатирические, особенно понравившиеся Большакову. Он не удержался, поманил пальцем Загула и громко шепнул на весь зрительный зал:

— Молодец! Вот и впредь давай такие стихи! С перцем!

Загул вспыхнул. Стихи, вызвавшие похвалу начальника и приписанные ему, Загулу, сочинил не он, а кто-то из ребят-агитчиков.

Приезжий артист густым баритоном спел «Мой милый Бэби»**, его долго вызывали на бис.

* Мачавариани Алексей Давидович (1913—1995), композитор, народный артист СССР, автор оперы «Гамлет», балета «Отелло» и др. произведений. Депутат ВС СССР в 1962—1970 гг.

** Популярный в 20-е годы фокстрот американского композитора Уолтера Дональдсона.

На сцену вышел Князев. Загул запомнил его ещё с этапа, и теперь уговорил выступить. Тот долго отнекивался, но наконец согласился. Загул «отпросил» его у начальника ВОХР и сам вывел из зоны. «Получится!» — незаметно для себя повторил он излюбленное словечко Большакова, но сейчас волновался за Князева больше, чем он сам.

Князев стоял бледный, с невидящими глазами, — его не было в лагере, он вновь оказался на сцене!

Мачавариани коснулся клавиш. Под потолком пронёсся тихий и грустный звук встревоженных струн, он слегка коснулся дальней стены и оборвался. Суровая отчуждённость спала с бледного лица юноши. Что-то встрепенулось в широко открытых глазах, в лице, во всём его облике.

— Куда, куда вы удалились, — чистым и нежным голосом запел Ленский, и сразу обозначилась трагическая нелепость звучания его голоса здесь, в БАМлаге.

— Ах, Ольга, я тебя любил...

«Ольга...». Многим имя оперной героини ничего не говорило, но воспринималось оно как символ безвозвратно утерянной жизни, честного и незапятнанного собственного имени, символ Родины, от которой их так или иначе отторгнули.

Князев имел наибольший успех. Его долго вызывали, но он больше на сцене не появился. Товарищи пытались уговорить его, он вышел из клуба через заднюю дверь и вернулся в зону. Потом говорили, что он долго плакал...

Смотр закончился. Все были довольны. Придурки не уходили, глядели на жён начальников, обмениваясь не вполне деликатными оценками. Большаков, тяжело отдуваясь, забрался на сцену и давал оценку отдельным номерам программы.

— Где этот Князев? — сурово спросил он.

— Позвать?

— Не надо! — неожиданно негромко ответил Батя. К Загулу подошёл взволнованный Колька Сбитнев.

— Дмитрий Юрьевич! Ну поговорите с начальником! Ну пусть возьмут меня в агитбригаду! Я же всё выучу. Разве не могу я быть синеблузником?

— Поговори сам, — сказал Загул. — А я завтра поговорю с руководителем. Вон с тем, в тубетейке, который был у рояля.

Колька досадливо махнул рукой: ему нужен разговор немедленный, вот теперь же.

— Гражданин начальник! — жалобно-сипло сказал он, уловив паузу. — Гражданин начальник! Скажите, чтобы меня приняли в агитчики. Я ничего ещё не умею, но я выучусь!

— Ты же в типографии? Как фамилия?

— Сбитнев.

— Ты же в типографии, Сбитнев? Наборщик? Милое дело! Учись! Самое главное — учись. А получится ли у тебя что-нибудь для сцены, это вот к Мачавариани, он проверит, — сказав это, Большаков отвернулся от Кольки.

По лицу Кольки Загул уловил, что тот гадко выругался. Он верил только в блат, и вот сорвалось, ничего не получилось. «Надо всё же с ним поговорить!» — подумал Загул.

Дина Гедальевна попросила Загула проводить её мужа. Загулу надо было бы остаться с агитчиками, но он не мог отказать в просьбе и Дине Гедальевне. «Намеревается поближе познакомить своего мужа со мною», — подумал Загул. «Это для того, чтобы тот встал на мою защиту. Наивная она, эта Дина Гедальевна».

Но оказалось другое, не менее лестное.

— Дина выбрала неподходящее время для разговора, — сказал Сабольчи, когда Загул вышел из клуба и присоединился к ним.

— Пожалуйста! Все участники концерта ещё долго будут в клубе.

— Я не надолго задержу вас, Дмитрий Юрьевич, — поспешила Дина Гедальевна. — Дмитрий Юрьевич! Прибыл новый начальник санчасти. У него жена и девочка девяти лет, ученица третьего класса. Она отстаёт по русскому. Попросили меня подыскать репетитора. Раз два в неделю, часа по два. Школьные педагоги отказываются: некогда. Вы не могли бы уделить ей некоторое время? Устроит ли вас это? Нам кажется, что это... материально вас устроило бы и... укрепило бы ваше положение.

Загул никак не ожидал чего-либо подобного. Первая мысль — надо отказаться! Он же не педагог! Да и родной язык у него всё-таки украинский. Но сказал он иное.

— Это неразумно. Мне, конечно, очень лестно. Я благодарю за доверие, вы хорошие и доверчивые люди. Но я заключённый. У нас, у лагерников, накапливается опыт: чем лучше тебе сейчас, тем хуже будет потом. И хуже будет также и тем, кто желает тебе добра. Спасибо вам. Я не могу принять вашего предложения.

— В самом деле, почему так получается, Артур? — спросила Дина Гедальевна мужа.

Сабольчи посуровел и осуждающе покачал головой. Видимо, он подумал: «Бестактно, Дина, заводить такие разговоры,

обсуждать вслух такие темы, да ещё в присутствии заключённого».

— Может быть, вы и правы. Но всё-таки подумайте ещё. Дело не к спеху. Потом скажете мне.

Загул ещё раз поблагодарил супругов и вернулся в клуб.

45. Связи с границей имеешь?

Начальника КВЧ Зайцева спешно вызвали в Свободный. Через два дня он возвратился неузнаваемо похудевший, взволнованный. Подчинённым сообщил, что его переводят. Куда, зачем — молчок. Всё это выглядело даже буднично, и все это понимали. Пока ты здесь, ты начальник, а при этапировании превратишься в самого обыкновенного зэка, тебя посадят в вагонзак, и ты будешь там таким, как все, даже хуже, ибо вряд ли там сумеешь постоять за себя. Все пассажиры там приведены к общему знаменателю. Ведь «переводят» тебя не куда-нибудь, а на Крайний Север. В другой лагерь. И, конечно, не потому, что тобой очень довольны. Но именно это и вызывало недоумение у всех: кто мог быть недоволен Зайцевым кроме тех, кому были близки интересы работы? Ходили слухи, что всё тут связано с Барановым, тот во всём и виноват.

Только через три месяца жена Зайцева получила от него письмо с Колымы. Около конторы нет-нет да и появлялись знакомые всем унылые фигуры женщины и мальчика лет восьми. Болельщица за всех Дина Гедальевна успокаивала «вдову» и брала на себя просьбу что-либо узнать. Была и такая параша — напуганный Зайцев выпросил командировку и добился пересылки в другой лагерь. Ему скоро освобождаться, а там длинные рубли.

...Колька Сбитнев попал под поезд. Никто не знал, как это произошло, даже новый уполномоченный, который провёл следствие. На первом пути стоял пассажирский поезд. Сбитнева зарезало другим, товарным, шедшим по второму пути. Никто не видел, как это произошло. Рассказывали по-разному. Правдиво было одно: Колька к кому-то забрался в карман. За ним бросились двое молодых и крепких, то ли военных-дальневосточников, то ли студентов. Колька юркнул под вагон пассажирского поезда, но это не остановило преследователей, они так же быстро и ловко проскочили ко второму пути. Дальше версии расходились. Один говорил,

что Кольку настигли и дали подзатыльник. В это время как раз и проходил товарняк. Колька упал грудью на рельсы и был разрезан. Другие слышали, что Колька в безвыходном положении рискнул перебежать на другую сторону под товарным вагоном, но, не рассчитав движений, задел головой или спиной вагон и попал под дальние колёса...

Так или не так, но вот и не стало Кольки Сбитнева. Кашин и Лосев прибежали к месту происшествия только тогда, когда пассажирский уже ушёл, уполномоченный составил акт, а вохровцы увезли труп в мертвецкую.

Дина Гедальевна попросила показать ей место гибели Николая. Оно было таким же обыкновенным, как и всякое другое на этой засыпанной шлаком, залитой нефтью и маслом, утоптанной земле, и всё-таки казалось, что вот тут мелкий шлак впитал пролитую Колькой кровь. К тому же невдалеке валялась грязная бумажка с пятнами, похожими на засохшую кровь. Может быть, эту бумажку отнесло ветром? И именно это расстроило Дину Гедальевну окончательно. Она быстро достала из рукава платочек, отвернулась и прижала его к глазам. Когда она повернулась лицом к спутникам, бледные губы её вздрагивали.

— Успокойтесь, — сказал Лосев, осторожно поддержав её за руку.

— Почему они такие беспокойные, дурные, почему так много их гибнет зря! — воскликнула Дина Гедальевна. — А ведь где-то у него есть мать. Сына нет, а мать об этом не знает...

— А когда был у неё этот сын, что было? Всё равно что ничего, — угрюмо высказал своё Кашин. — Ведь какой способный был парень и какая лёгкая у него статья! На волю бы вышел, каким бы наборщиком был! Где-нибудь в большом городе работал бы, чего ещё надо человеку? С такой статьёй ещё всё было впереди, это же не 58-я.

— Не плачьте, Дина Гедальевна, — продолжал Лосев.

— Вам нельзя на этой работе, — так же угрюмо заметил Кашин.

— Это верно! — слабо улыбнулась Сабольчи. — Я уж плакала сегодня утром над портным. Муж рассердился и говорит то же самое, что и вы: уходи ты с этой работы, плакальщица!.. Вы о портном слышали?

Оказалось, ни Лосев, ни Кашин ничего о портном не знали.

— У него была бытовая статья. Пришёл срок освобождаться. Получил все документы, кроме проездных. УРЧ почему-то задержала. Надо же так! Ну, думает, что я зря день буду терять.

Пошёл на циркульную пилу. Поработал до обеда. И пришло ему в голову сбросить опилки с козелков там, где крутится пила. А с рукавиц нитки дугой свесились. Он махнул рукавицей, зубом её поддело за эти нитки, а потом и руку зацепило. Всю измяло, всю порезало, все пальцы отбило зубьями. Надо же! Я близко была, шла мимо. Он бежал в больницу, плакал, и я плакала. А какой хороший портной был! Золотые руки у него были, он и зимнее, и летнее шил. Всех тут обшивал, весь комсостав.

Рассказ о портном несколько отвлёк Дину Гедальевну. Она рассказала ещё, что больших замов из Свободного зависть взяла. Затребовали портного к себе. Наши, конечно, не пускают. Так они там до чего додумались! Прислали в УРЧ телеграмму: зэка такого-то арестовать и под конвоем немедленно препроводить в Свободный. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Да и поверили. А он, бедный, страху натерпелся, пока везли. За что? — думает. Ну, там сразу его успокоили, и жил он там неплохо до срока, вот эти два последних месяца, очень хорошо. Кормили, говорил, «от пуза», так, кажется, у вас выражаются? Он и так был ничего, а тут освобождаться приехал — ухоженный такой... Документы на его освобождение здесь были, не задержала бы УРЧ — с хорошими руками уехал бы домой.

Со станции Дина Гедальевна прошла в клуб. Здесь она застала Загула и Панкратьева.

Она снова рассказала про портного, про Колю Сбитнева, который совсем было исправился, и вот снова вернулся к старому и сложил безвременно свою юную голову на этом глупеньком деле, на карманной краже.

— Зато я рада-радешенька за Катю, — вдруг оживилась и улыбнулась Дина Гедальевна. — Доехала! Пишет — и как хорошо пишет девчонка! — Пишет, что мать Матвея ласковая, приняла её хорошо. Ну, я очень рада. Очень! Конечно, мать теперь ждёт не дожждётся сына. Уж немного Матвею осталось, зато я теперь так буду бояться за него!

— Дмитрий Юрьевич! — вдруг обратилась она к Загулу. — Жена начальника санчасти всё спрашивает насчёт репетитора. Вы не надумали?

— Не надумал, Дина Гедальевна, — виновато признался Загул. — Я со своим-то делом не справляюсь и страдаю от этого. Мучаюсь. Думаю, думаю. Перестраиваюсь.

Дина Гедальевна не поняла Загула, зато Панкратьев прислушался с особым вниманием.

— Большаков уверяет, что одна из самых удачных строк в программе нашей агитбригады, это: «А если лодырь тянет-

ся за льготой, его возмёт холера за живот». Он говорит, что это доходчиво с воспитательной точки зрения и практически точно бьёт в цель. А чья это строка? Того самого Яши, который спел: «На фаланге номер пять вошебойки никакой, так что нужно гниде каждой бить по черепу киркой!». Что это такое с литературной точки зрения? Примитив, безвкусица. Но Большаков уверяет, что лагерникам это нравится. Это, мол, жизненно. Это их обороты речи, это на злобу дня, бьёт по отрицательным явлениям нашего бытия. И я начинаю верить ему! Уже стремлюсь так писать, чтобы прежде всего быть полезным, а уж после этого — поэтом. А слить то и другое пока не могу. Мне это даётся с трудом, получается что-то искусственное. Ничего не выходит, нет простоты, естественности.

— Прочитайте нам, что вы написали для предстоящего выступления, — попросил Панкратьев.

— Ну вот, для примера. Во всех клубах играют и поют «У самовара я и моя Маша». Пошленькие слова, примитивная мелодия. Ребята потребовали от меня написать своё, включив слова «облапишь», «завязал» и так далее. Довольны! А мне стыдно: убого, плоско. И совсем не мой стиль. Я же лирик!.. Написал и пьеску. Вы увидите её. Сюжет? Группа ребят в бараке. Ударно работают, получают зачёты, веселы. Скоро освободятся, мечтают о воле, готовят фанерные чемоданы. Мысли о воле увлекли и ловчилу-парня. У него на работе — где каменщика обманул, где ещё как-то словчил... Торжественный день, ударникам документы, лодырю, как они выражаются, «нос». Вот и всё. Есть сатирические более или менее смешные сценки, но в общем — пустячок, никчёмный пустячок. И мне стыдно. Но это ничего, говорю я себе. Ничего! Ведь это ещё черновая работа, это у тебя разгон. Приспособлюсь, буду совмещать полезное с поэзией. Добьюсь! И ленинградцы меня вдохновляют. Работали для столичной публики, на столичной сцене, и здесь не теряются.

— Загул! — крикнул только что вошедший в клуб дневальный. — К уполномоченному! Живо! На цирлах!

Дневальный крикнул это в шутовском тоне, но шутка прозвучала зловеще. Загул поднялся и вышел.

— Когда к уполномоченному вызывают знакомых мне людей, я каждый раз очень за них беспокоюсь, — со вздохом сказала Дина Гедальевна.

— Сейчас как будто нет к тому оснований, — попытался успокоить её Панкратьев.

— Подождём — увидим, — с тревогой ответила Сабольчи.

Загул постучал в дверь комнаты уполномоченного. Услышал негромкий ответ, вошёл. Нового уполномоченного он видел впервые. За столом сидел подтянутый, кажется, высокий человек со светлыми жёсткими глазами. Голос был тихим и спокойным.

— Загул? — проверил он, заглядывая в бумажку.

— Да.

— Имя, отчество?

— Дмитрий Юрьевич.

— Кем работал на воле?

— Был литератором.

— Связи с границей имеешь? Предупреждаю: говори по-честному, мужественно. Имел такие связи?

— Нет.

— Полным ответом!

— Не имел таких связей.

— Ещё полнее!

— С границей я связей не имел.

— Почему же наши враги за границей о тебе так беспокоятся?

— Об этом не имею понятия. Ничего не знаю.

— Я знаю! Через советские рубежи за границу друзьям жалуешься? Не знаешь?! Как ты поддерживаешь эту связь с ними?

— С кем? Никакой связи я ни с кем не поддерживаю. Никому не жалею.

— Не жалуешься, говоришь?... Да, не жалуешься... — почти миролюбиво сказал уполномоченный и сделал вид, что отыскивает что-то среди газет, бумаг и папок.

— Вот! — сказал он, поднимая самую ближнюю к нему бумагу. — Как пишут и беспокоятся твои друзья — наши враги: «Арестованный и заключённый в лагеря украинский поэт и критик академик Загул находится в условиях невыносимо строгого режима. У него нет тюфяка и подушки, труд изнурительный, в то время как пища недостаточно калорийна... он не видит месяцами карандаша и бумаги». Правильно пишут о тебе твои зарубежные друзья?

— То, что вы прочитали, неправильно.

— Я полагаю, тебе следовало бы ответить на это опровержением. За этим и вызвал тебя. Как ты находишь? — спросил он, и уже не отводил от Загула испытующих холодных глаз.

— Я могу написать, что это не так.

— Вот для этого я и вызвал вас. — Уполномоченный вдруг перешёл на «вы». — Мы не можем это так оставить. Пристра-

ивайтесь сюда к столу, и мы сейчас нарисует всё, что надо. Садитесь!.. Что напишете? Обсудим вместе, я тоже заинтересован в правдивом ответе. Вы расконвоированы?

— Да.

— По-моему, надо обязательно написать, что вы живёте вне зоны лагеря.

— Разрешите, напишу, что я живу вне зоны лагеря, что я не голодаю, что у меня есть своя койка в свободной и тёплой палатке, а в конторе есть свой письменный стол. Я могу написать, что продолжительное время, если точно, то полтора года, был техническим редактором многотиражной газеты, что...

— Скажите, Большаков редактировал газету в буквальном смысле этого слова? Вы не бойтесь, по-честному!

— В буквальном смысле слова — нет!

— Почему бы не написать: был редактором. Ведь вы сами говорите, что в этом нет преувеличения, а формулировка эта ближе к правде.

— Да, но нескромно называть себя редактором, не имея права подписывать газету. Но если от этого отвлечься, то всю работу редактора действительно выполнял я. Могу написать и так.

— Надо написать, в этом нет никакой натяжки. Дальше.

— Дальше я напишу, что в настоящее время я состою литературным работником при клубе. Моя задача — готовить тексты для агитбригады и драмкружка...

— Неясно — при каком клубе. Надо отметить: при рабочем клубе на большом строительстве. По-моему, нет натяжки? Конечно, нет. Наоборот, даже умаление. Ведь если смотреть диалектически, ваш клуб есть зародыш большого культурного размаха. Его и вольные посещают. Вы с агитбригадой к пограничникам ездили. Было так?

Загул подумал и согласился. Точно так он написал бы в обычном дружеском письме своим друзьям, если бы они действительно беспокоились о нём.

Через полчаса опровержение было написано...

— А как ты ухитрился, Загул, — снова переходя на «ты», спросил уполномоченный, — давать сведения о себе за границу? Когда ты был в зоне, всё там для тебя было хуже?

— В зоне, конечно, похуже.

— Значит, ты два года назад информировал своих единомышленников? Каким образом? Иди, я тебя ещё вызову.

Загул очень удивился, увидев Панкратьева и Дину Гедальевну на том же месте, где он их оставил. Он догадался, что

их беспокоит вызов к уполномоченному. Он никому не хотел бы рассказывать о содержании беседы, но от Панкратьева и Дины Гедальевны скрывать ничего не мог. Коротко рассказал обо всём.

— Не знаю, кто и где мог писать обо мне, но я искренне расстроен. Ещё не осознал, почему, но мне эти заботы неприятны.

— Плохая тебе услуга оказана, Дмитрий. Если о тебе беспокоятся даже хорошие люди, твои почитатели, всё равно плохо.

— Ну уж вы что-то совсем в пессимизм ударились, — осуждающе заметила Дина Гедальевна. — Идёмте-ка ко мне, я вас чаем напою. Пойдёмте. Как раз Артур мой дома, тоже чаю ожидает. Пойдёмте!

Загул и Панкратьев отказались. Они просто хотели оградить эту милую и наивную женщину и её мужа, честного и чуткого человека, от возможных неприятностей. Опытный Панкратьев молчаливо шагал рядом с Загулом. Не хотелось говорить. Было грустно. Он понимал, что Загул не сегодня-завтра будет сброшен с гребня лагерной волны на самое его, лагеря, дно.

Он оказался прав.

* * *

Де ти, сподівана доле?
Де ти, надія свята?
Вже проминають поволі
Ті молодії літа,
Гасну і в'яну поволі
Серце щодини болить...
Де ти, сподівана доле? —
Тихо! Бо доленька спить!..
Де ти, сподівана доле?
Чом тебе й досі нема?
Вже настає поволі
Добра холодна зима.
Серце в грудях леденіє,
Камінь на серці тяжить...
Де ти, рожева надія?
Тихо! Надіє мовчить!..
Де ти, сподівана доле?
Де ти, надіє моя?
Сохну і в'яну поволі...
Вічно скитаюся я.

Щастя не мав я ніколи...
Гаснуть надії мої.
Вже не віднайду я долі
Не дочекаюсь її^{***}.

46. «Будь проклята ты, Колыма...»

Через месяц Загула отправили на Колыму, а когда в 1943 году пришёл срок освобождения — минуло десять лет, — ему объявили, что он будет находиться в лагере впредь до особого распоряжения.

Этими словами обрывается рукопись сибирского писателя Фёдора Ивановича Тихменёва о его сокамернике, украинском поэте Дмитро Загуле. За двести шестьдесят восьмой страницей, на которой карандашом написана эта фраза, в простеньком старом скоросшивателе лежит ещё несколько пронумерованных автором двойных листочков из школьной тетради в линейку. На них Фёдор Иванович не успел написать то, что он знал и хотел рассказать о своём друге. В этом же скоросшивателе лежит несколько вариантов статьи о Загуле, а в другой папке — рассказ «Приземлённый человек», наброски других произведений, странички воспоминаний. Наверное, мы имеем право закончить повесть «Вторая колея» отрывками из них.

После убийства Кирова** во всех лагерях стало холодней и строже. В 1937 году Загула отправили на Колыму, перевели на общие работы. О творческих занятиях, о поэзии уже не приходилось и мечтать. Физическая работа требовала сильных мускулов, живучести, здоровья. Загул был одарён куль-

* Из цикла «В темряві». 1919 год.

** Киров (Костриков) Сергей Миронович (1880—1934), профессиональный революционер, начало деятельности которого связано с Томском. С 1930 г. член Политбюро ЦК ВКП(б). Убит 1 декабря 1934 года в Ленинграде. Существует несколько ничем не подтверждённых версий о причинах убийства, но очевидно, что именно с этого времени резко усилился масштаб репрессий и возросла роль ОГПУ-НКВД.

турно, но теперь это было уже ни к чему. Лагерные друзья выручали Дмитрия, вытаскивая его по блату на относительно лёгкую работу, конечно, очень далёкую от пера и чернил. Лагерь был подвижен и текуч. И кем только не был там Загул! И «ассистентом» у фельдшера, и рабочим с линейкой у маркшейдера, и учётчиком на откатке песков, и обмерщиком в забоях, и дневальным в бараке, и, конечно, возил тачку, копал ямы, валил лес — всего не перечислить. Одно только было постоянным, неизменным — он везде оставался самим собой, он везде оставался честным человеком.

Эти люди вообще в большинстве своём были героями. Трудно увидеть героизм в многолетнем, но скрупулёзно-малом. И всё-таки увидеть можно. Для этого надо прочувствовать весь драматизм личной судьбы каждого, понять, какое величие души требуется человеку, у которого всё значительное, всё основное и главное давно и безвозвратно отнято, а он всё равно беззаветно, бескорыстно и неустанно отдаёт отечеству всё, что может. Загул был способен на большее, но и он отдавал сегодняшнее, маленькое, но зато единственное и последнее из того, что оставалось в предоставленных ему возможностях.

* * *

Лагерный участок осел глубоко в горах. Небо из него увидишь, только задрав вверх голову, оно высоко-высоко над сопками. Сопки скалистые, голые. Место кругом дикое. По хребту гор часто степенно, не торопясь, проходят дикие олени, иногда один или два, иногда — небольшим стадом. Остановятся, вытянутся, окаменеют на фоне неба и долго смотрят в лощину на суетливых людей. Хочется спросить: почему остановились? Может быть, просто пережёвывают жвачку и дремлют под солнцем, полузакрыв глаза? Или и в самом деле их интересуют люди, которыми уже мало кто интересуется?

Людей в лагере немного, не более трёхсот. Среди них человек двенадцать — вохровцы, человек пять — вольные, остальные — заключённые.

Основное производство — добыча оловянной руды из недр ближайших гор. Её посменно взрывают и вывозят на свет, и днём, и ночью. Самая пузатая ближайшая гора уже насквозь проколота горизонтально на разных высотах узенькими, щербатыми штольнями. Рудник старый, истощённый, геологи то и дело теряют жилу и потом долго ищут её в стенах, пятась назад.

В самой длинной штольне, метрах в двухстах от входа, через какие-то трещины в пластах породы с потолка сочится вода. Она, стекая по каменной стене, тотчас замерзает. В сосулистом углу установили бочку. Вода непрерывно падает в неё сотнями подвижных звонких капель. Когда бочка переполняется, вода мостит ледяные поперечные барьеры на рельсах, преграждая путь вагонеткам. Сменный мастер, увидев, морщится.

— Экая похабная тут срамота! — он длинно выругался. — Куда ты только смотришь, цыганская твоя душа! Сейчас же поставь тут доходягу, пусть вывозит, — приказал он бригадир.

Бригадир, молодой вертлявый цыган, бывший карманник, выбежал из штольни, отвинтил у бросовой вагонетки короб, сбросил его в сторону, а на низенькой тележке установил объёмистый бочонок. Получилась водовозка.

— Найди котелок и бегай за этим автомобилем на цирлах, — сказал он Дмитрию. — И чтоб сухо было! Понял?

Много ли надо, чтобы понять! Дмитрий отыскал черпак, загнал водовозку в тупик и ждал, когда на открытую площадку выскочат загруженные рудой вагонетки. Их в штольне всего шесть.

Вот выбежала-выкатилась одна, вторая... пятая, шестая. За каждой, сдерживая её, согнувшись, поспешают откатчики. Толстые их шапки, сдвинутые на затылки, пробиты, прорваны острыми выступами потолка. Из них клочьями повывезла и торчит в разные стороны вата... Концы рельс далеко высунулись над пропастью. Откатчики заезжают на них и опасно открывают переднюю стенку вагонетки. Вагонетка содрогается, подпрыгивает, поднимая задние колёса, и изрыгает через железную пасть шестидесятипудовый груз. Глыбы руды стремительно проваливаются вниз, и вот уже, достигнув где-то там, внизу, отвала, рокочут, скатываясь в долину и увлекая каменную мелкоту.

Вагонетки разгрузились и снова втягиваются в штольню. Вот её тёмный зев глотает последнюю, шестую. Туда же вслед Дмитрий толкает пустую водовозку. Надо быстро перечерпать мятым котелком всю ледяную воду в бочонок и успеть вывезти водовозку так, чтобы не нагнала и не задавила в узком каменном рукаве весёлая, бесшабашная вагонетка с рудой: из штольни к выходу сделан уклон, и не каждому откатчику захочется её удерживать.

Дмитрий поспешно черпает воду, едва поспевая, бежит за водовозкой. Выкатившись на площадку, осторожно выезжа-

ет на концы рельсов, с усилием поворачивает бочонок вниз дверцей, вода льётся в бездну. Дмитрий удовлетворённо оглядывается и загоняет вагонетку в тупик. Теперь он отдохнёт, переживая всех откатчиков.

А переживать приятно.

Поэтична колымская ночь! Размашиста, плакатно-проста её окраска. Чем-то невесомым, густо-синим заполнено безоблачное небо. Чуть раскачиваясь и вздрагивая, то ли повисают в синеве, то ли плавают в ней бесчисленные звёзды. На вершинах гор, ушедших в синеву, загадочно светятся чем-то таинственным, значительным и волшебным безупречно белые снега. Редко где увидит глаз ночную колымскую тень: не от чего падать на снег теням. Тени только от столбов электролинии. Они густо-густо черны, почти осязаемы. Оглянет Дмитрий с километровой высоты окружающий его мир, и, как бы ни устали его мышцы от утомительной работы, как бы ни давила отяжелевшая сырая ватная одежда, сердце обязательно вздрогнет от взлёта чувств, от восхищения холодной красотой природы. Непонятная, хотя уже и привычная, почти всегдашняя грусть ещё теснее охватит сердце.

...Одна за одной мелькают долгие колымские ночи. Уже приловчились руки, справляясь с водовозкой, уже почти автоматическими стали несложные движения.

В одну из смен в штольнях погасли лампочки. Откатчики выкатили руду и остановились на площадке.

— Ну, что? Скоро ли в барак, ребята? Скоро ли рассвет?

— Где Кичиги в небе? Кичиги скажут...

Долго искали Кичиги, заспорили о звёздах, где которая. И тут заговорил обычно молчаливый Дмитрий. Товарищи притихли, вслушались, что-то встрепенулось в их душах от его рассказа о галактике, о космосе, о невероятных открытиях и вероятнейших чудесах счастливейшего завтра... Небо в представлениях работяг вдруг раздвинулось до необозримой широты, бесконечность мира кружила головы и стесняла дыхание. В сознании всплыли давно забытые мысли о величии красоты, о ценности жизни...

Внезапно дали свет. Сотоварищи удивлённо оглядели Дмитрия, словно впервые увидели его сегодня.

— Гляди-ка ты, — поднимая с земли ватные рукавицы, с недоумением сказал один. — Ты вон какой, можешь лекции читать! Много знаешь!

— Чего там «знаешь-знаешь», — досадливо возразил другой. — Человек душой всё чувствует, широко захватывает, вот что главное.

Третьим отозвался бригадир:

— Ге! Да я ж давно его понял! То человек только с фасаду такой плюгавый да мозглявенький. А попробуй-ка отковырни у него внутри...

Вагонетки вновь покатались в штольню. И тотчас все забыли и про небо, и про его величие, и про бесконечность и красоту.

А позади всех торопливо катил свою кустарную водовозку поэт и философ Дмитрий Юрьевич Загул.

* * *

Всему своё, всё меру знает.
на всё дан свыше час.
Всё, что рождается, — умирает,
сказал Екклезиаст.
Под солнцем ничего не ново,
на всё нам дан закон.
Деянья наши, мысли, слово
уйдут во тьму времён.
Есть час рожденья, есть час смерти,
час сеять, час косить.
Есть время возводить постройки,
есть время их крушить.
Свой час на радость и на горе,
на слёзы и на смех.
Час заполнять добром амбары,
час — раздавать для всех.
Свой час для песни, для беседы,
свой час — бояться слов.
Дан час нам, чтоб любовь изведать,
дан час познать и зло.
Есть горький час войны, страданий,
есть час, чтоб в мире жить.
Час сборов есть и час исканий,
час тратить и губить.
Труд тяжкий без конца и края
послало небо нам.
Но есть ли польза, хоть какая,
измученным рукам?
В свой час разумным и хорошим
создал Господь сей свет.
А мы никак понять не можем,
где счастье. Счастья нет!
И догадаться не умеем,

откуда в мире зло.
Ты помоги понять нам, Боже,
что в нас оно взросло.
Быть может, лучшей нет дороги,
счастливей нет пути,
чем, познавая волю Бога,
простую жизнь вести?
Дела всезнающего Бога
останутся вовек.
Не посягай на них, убогий,
ничтожный человек.
Ты будешь много лет метаться,
искать, страдать, мечтать,
Чтоб перед вечностью признаться,
что рядом благодать.
А над землёй проходят годы,
летит за веком век.
И видит лишь одни невзгоды
несчастный человек.
Неправый суд людской нас судит,
не ведая причин.
Лишь Бог по правде нас рассудит,
не обманув ничем.
Он сердце человека знает
до самой глубины,
Он мысли наши прозревает,
читает наши сны.
А люди — Богу не подобны,
беспамятны и злы,
Жадны, завистливы, упрямы,
как звери, как ослы.
Отроду жизнь у них проходит
почти как жизнь скота,
Свой век бессмысленно проводят,
их доля — суета.
Что гордо в выси поднималось,
то в яму упадёт,
И что из праха появилось,
то в прах и перейдёт.
И знать никто нигде не может,
что нас назавтра ждёт.
Ведь всё равно в могилу ляжет
и человек, и скот.
У человека и скотины

нет разницы в судьбе,
и нет какой-либо причины
гордыне быть в тебе.
Равно и сильным, и убогим
не надо ничего,
и не закапывай под ноги
таланта своего.
И тем, что в жизни заработал,
не надо дорожить.
Ведь ты счастливее не станешь,
коль скупое будешь жить.
Оставишь здесь свои пожитки,
с добром своим умрёшь,
И ни иголки, и ни нитки
с собою не возьмёшь*.

Это случилось летом, колымским летом, если не в июле, то в августе. Не помню и место, где какое-то время пролежало тело. Это было на каком-то лагпункте между «Палаткой» и «Мякитом», на путях от столицы Колымы — Магадана — к Ягодному, посёлку районного типа. Я в то время был в Ягодном. О смерти Загула услышал от своего лагерного друга Крумина (точнее, не Крумина, а Круминьша, фамилия деформировалась в лагере). Он отбыл срок, и по вольному найму занял должность ветеринара и заведующего животноводческой базой на прииске Утином. В момент ареста он учился на последнем курсе сельскохозяйственного института в Иваново-Вознесенске. Освободившись, он решил выполнить дипломную работу и с этой целью съездил в Омск. Возвращаясь, он встретил всем нам известный гужевой транспорт, разговорился с возницей о том, о сём, и вдруг, совершенно случайно, услышал, что один из покойников — бывший поэт, и фамилия его Загул. Крумин постоял молча у худенького трупа и в тот же день рассказал мне об этой встрече.

Слухи о смерти Дмитрия скоро подтвердились. Я верю Крумину, и для меня всякие другие рассказы неправдоподобны.

Покойного Загула поручили похоронить двум уркам, осуждённым за убийство. Подводы или какого-либо возка в лагере не было, и они повезли его на санках. Но труп постоянно вываливался из них. Тогда они привязали его за ноги к

* «Слова Екклезиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме», из цикла «На библейские темы».

полозьям и так волочили до ям за лагерем, где закапывали покойников. По пути голова Загула разбилась, мозг вытек, лицо было обезображено до неузнаваемости. Урки кинули растерзанное тело в ледяную яму и завалили породой. Когда наступил день, я и Крумин пошли туда, чтобы похоронить товарища по-людски, но тела Дмитрия на месте уже не было. Остались лишь клочья фуфайки да значок-эмалька «Ударник второй колеи». Ночью туда наведальсь медведи...

«...обязательно понадобится истории»

Повесть «Вторая колея» («Через непонятное») — последнее произведение Ф. И. Тихменёва. Начало работы над нею можно условно датировать по письму М. Г. Кульменко от 12 июля 1962 года, хотя очевидно, что автор задумал повесть гораздо раньше. Одновременно Фёдор Иванович пытался выяснить возможность её публикации.

В ноябре 1962 года он обратился в редакцию журнала «Октябрь», и вскоре, в январе 1963 года, получил любезный, но довольно уклончивый ответ В. А. Кочетова*. «Не знаю, как получится у вас повесть, всё зависит от качества, — писал редактор «Октября», — но должен сказать, что после появления повести Солженицына** острота такого материала явно снизилась... Не стану водить вас за нос, дорогой друг, и подавать какие-то поводы для надежд: вряд ли нужны лагерные повести ещё и ещё».

Через два года, 20 января 1965 года, Тихменёв обратился к редактору «Нового мира» А. Т. Твардовскому.

«Произошла смена руководства,** и, возможно, снова изменится отношение к тому материалу, на котором создана повесть. Итак, судьба рукописи продолжает быть бесперспективной не вообще, а на то время, пока я живу, ибо нет никакого сомнения, что она (в числе других) обязательно понадобится истории.

Не мне судить о её литературно-художественных качествах. Искренне полагаю, что Дьяков и тем более Солжени-

* Кочетов Всеволод Анисимович (1912—1973), советский писатель, главный редактор журнала «Октябрь» в 1961—1973 годах, автор широко известных тогда романов «Журбины» (на его основе создан фильм «Большая семья»), «Братья Ершовы», «Секретарь обкома» и др.

** «Один день Ивана Денисовича».

*** Имеются в виду решения Пленума ЦК КПСС 14.10.64 г., снявшего Н. С. Хрущёва с поста Генерального секретаря ЦК и избравшего на этот пост Л. И. Брежнева.

цын как художники много одарённое меня. Но верю и в свои преимущества. Я не поперёк пересекаю лагерную колею через какие-то узловые пункты с их маленькими, гнетущими площадками, я прохожу её вдоль с момента зарождения идеи «перековки» до дня смерти Сталина. Истмат утверждает, что в генезисе истина ощутимее, нагляднее, в работе методами показа это тоже очень облегчает автору его трудную задачу без особых творческих усилий: светлее, жизнерадостнее фон, доступнее обобщения».

Видимо, состояние здоровья и психологическое давление бесперспективности судьбы рукописи не позволили Фёдору Ивановичу выполнить данное Твардовскому обещание: «...я смогу прислать её вам в марте-апреле этого года, так как столько времени приблизительно потребуется мне для её внешней подготовки, чтобы она стала удобочитаемой».

Рукопись, увы, сохранилась в не очень удобочитаемом виде. Около трёхсот страниц из школьных тетрадей, исписанных карандашом и чернилами, с массой поправок и сокращений, до конца понятных лишь самому автору, не везде легко поддаются расшифровке.

Требовательный к языку, стилю, композиции, автор многого просто не успел, и если первые сто двадцать страниц рукописи отделаны довольно тщательно, то далее нам встретились затруднения, условно говоря, двух категорий.

Во-первых, то, что легко «снимается» в обычной работе автора с редактором — оговорки, неоправданные повторы, анахронизмы (в кабинете Баранова не мог висеть портрет Сталина в генеральской форме — в 1934—1936 годах вождь ещё не присвоил себе воинских званий), некоторая несогласованность биографий героев (в рукописи Каблуков иногда именуется Кулаковым, а его невеста то Ниной, то Соней, и кое-где названа женой) и т. п. Конечно. Ф. И. Тихменёв устранил бы эти погрешности сам. Мы взяли на себя смелость выполнить, наверное, не всегда удачно, эту работу.

Во-вторых, в рукописи имеются погрешности более высокого порядка. Ряд сюжетных линий лишь намечен, но не получил соответствующего развития (Валет и его повесть, судьбы многих других героев, достойная фильма ужасов история с каннибализмом, развязка происшествия с взрывом моста и т. д.). Мы не решились предлагать читателю свои версии развития этих линий.

В рукописи немало абзацев, написанных не для читателя. Это тезисы, планы отдельных страниц будущей повести. Мы

сохранили их в авторском изложении (особенно это заметно во второй её половине).

Конечно, эта редакторская осторожность и даже нерешительность создают читателю некоторые трудности. Но в то же время многим будут интересны именно эти авторские недоработки, позволяющие в какой-то мере заглянуть в так называемую «творческую лабораторию» писателя.

Единственное исключение мы сделали для главного героя, завершив повесть отрывками из биографического очерка о Д. Ю. Загуле, написанного Ф. И. Тихменёвым в 1965 году, и рассказа «Приземлённый человек» (на русском языке впервые опубликован томскими писателями Т. А. Калёновой и С. А. Заплавным в областной газете «Красное знамя» 18—19 сентября 1990 года и в 11-м номере «Сибирских огней» за 1990 год, впервые рассказ был напечатан на украинском языке в газете «Молодой буковинец», литературно-художественный выпуск № 2 за 1989 год).

В БСЭ о нём сказано так.

Загул Дмитрий Юрьевич (16/28.8.1890—1938), украинский советский поэт. Родился в селе Милиево ныне Винницкой обл., в крестьянской семье. Учился в Черниговском университете. Печататься начал в 1912. В 1913 в Черновцах вышла первая книжка стихов «Мережка». Печатался под псевдонимами И. Майдан, М. Сучасный, С. Юрась, Б. Тыверец, М. Сулали. В годы 1-й мировой войны в 1914—1918 переехал в Россию, жил в Киеве. Постепенно преодолел влияние символизма, сказавшееся в ранних сборниках («С зелёных гор», 1918, «На грани». 1919). В сборниках «Наш день» (1925), «Мотивы» (1927) он выступает как певец советской действительности. Перевёл на украинский язык поэму А. А. Блока «Двенадцать», произведения Ф. Шиллера, И. В. Гёте, Г. Гейне. Ему принадлежит первый на Украине опыт создания систематического курса теории литературы («Поэтика», 1923). Соч. «Вибране», К., 1961.

Добавим к этому вышедший в украинской «Библиотеке поэта» сборник, составленный С. В. Делавураком и В. М. Лесиным (Київ, «Радянський письменник», 1990).

Мы, к сожалению, не могли ставить перед собой задачу раскрытия замысла, о котором Фёдор Иванович рассказывал томским коллегам: «...герои романа (или повести), политзаключённые, желая помочь Родине победить фашистов, на своём тайном сходе создали бригаду ударников. Это был их «второй фронт» — с победами и поражениями, с невознаградимыми потерями. Но дальше замысла и отдельных на-

бросков дело не двинулось, — жизненные силы иссякли...» (Калёнова Т., Заплавный С. Вторая колея. // Сибирские огни. 1990. № 11. С. 172).

И замысел повести, и то, что удалось сделать, позволяют отметить, что «Вторая колея» заметно выделяется из потока «лагерной» литературы. Ф. И. Тихменёв в судьбе нашего народа, воспринимаемой сегодня многими лишь как трагедия, трагедия жестокая и бессмысленная, видит не только мрачные стороны. Он видит и то, что в своё время называлось «героическими буднями» и «пафосом созидательного труда». Во всём этом у Тихменёва нет кавычек, он пишет так, как думал тогда он, как думали миллионы. Легче всего снисходительно улыбнуться по поводу наивности автора и его современников. Легче сегодня. Но честнее ли? Фёдор Иванович написал так, как это понимали тогда, в этом его убеждения, в этом его правда.

Впрочем, есть во всём этом и ещё одна правда. И Горький, и Макаренко, и Тихменёв, и многие их современники искренне верили в возможность исправления преступников, исправления трудом, верили идеям Ф. Дзержинского. И на первых порах развития советской пенитенциарной системы далеко не всё в ней было порочно, во всяком случае, её создатели руководствовались вовсе не дьявольскими намерениями.

Видимо, 1934—1935 годы, «кировский поток» и то, что за ним последовало, коренным образом изменили обстановку в местах заключения. Ещё более мрачной она стала в 1937 году, в годы войны и особенно после войны, когда лагеря пополнились бывшими военнопленными. Именно об этих лагерях писали Дьяков, Гинзбург, Солженицын, именно о них едва ли можно написать хотя бы одну светлую страницу.

Но Тихменёв о них и не писал, по крайней мере, не успел написать. У него ещё «непонятное», у него ещё какие-то надежды и какой-то оптимизм, напроць исчезнувшие из творчества более поздних авторов, которым уже всё было понятно. И, быть может, именно этот удивительный для сегодняшнего читателя оптимизм поможет понять одну из граней нравственного падения нашего общества, сначала вполне удовлетворённого Ягодой*, обладавшим хоть какими-то убеждениями и принципами, а затем восторжав-

* Ягода Генрих Густавович (1891—1938), революционер-подпольщик, участник Октябрьской революции, работник органов ОГПУ, с 1934 г. — нарком внутренних дел СССР, один из организаторов ряда политических процессов 1934—36 гг. Расстрелян, не реабилитирован.

шегося «ежовыми рукавицами» абсолютно беспринципного Ежова*. Появление на этом фоне Берии**, человека, принципиально убеждённого в необходимости уничтожения или хотя бы изоляции лучших сил нашего народа, представляется уже естественным и закономерным. Более поздние примеры торжества над нашим народом беспринципности, безнравственности, тупости и ограниченности нет необходимости приводить.

Обо всём этом и многом другом повесть Ф. И. Тихменёва заставляет задуматься, и в этом, наверное, её главный смысл.

Л. Ф. Пичурин

* Ежов Николай Иванович (1895—1940), партийный работник, в 1930 г. сменил Ягоду на посту наркома, один из главных организаторов репрессий в СССР, особенно репрессий в армии. Расстрелян, не реабилитирован.

** Берия Лаврентий Павлович (1899—1953), один из создателей органов ГПУ в Закавказье, в 1938 г. сменил Ежова на посту наркома, во время Великой Отечественной войны — член Государственного комитета обороны, отвечал за производство вооружения и боеприпасов, позднее — курировал создание советской атомной бомбы. С его именем связаны и массовые репрессии (в частности, высылка чеченцев, ингушей, калмыков, крымских татар, немцев и т. д.) и многочисленные достижения в различных, прежде всего военных, отраслях экономики. Расстрелян, не реабилитирован.

Содержание

Р. И. Колесникова.

Честь, долг и судьба 5

Рассказы

Милёночек 21

Сам по себе 30

В. Я. Зазубрин в Канске 71

Через непонятное (Вторая колея)

Роман

1. Люди мы или кто? 85

2. Слез достаточно 87

3. И спутники, и попутчики 88

4. Битва в пути. 97

5. У вагонного окна. 102

6. Разговоры по душам 107

7. Сердце будущим живёт 111

8. Первое письмо 113

9. У каждого своя судьба, своё страдание. . . . 116

10. Везли арестантов, встречают работяг 122

11. Встреча с солнцем 124

12. Кем ты хочешь быть? 127

13. Первый блат. 132

14. Первые тачки 137

15. Доходяги 141

16. Кругом свои люди 147

17. Невосполнимая утрата. 150

18. Степан Романыч 156

19. Батя. 160

20. У Зайцева 162

21. За душой — только работа 166

22. Всё в жизни относительно 169

23. Пиши, но я буду контролировать. 171

24. Панкратьев. 174

25. Воровство — статья благородная 175

26. Ловкость рук, а вы мне не верите 185

27. Ещё один ученик? 188

28. Иллюзии гибнут, факты остаются 193

29. Солнцева, она же Спирина,
она же Собакина, она же Кошкина... 198

30. Сын приедет! 202

31. Первый допрос	205
32. «Ложь! Ложь! Ложь!»	217
33. Обвинилка готова	221
34. Лагеря-то «исправительные»!	227
35. «Дебит в кредит, сальдо-бульдо»	231
36. Где мясо взяли?	243
38. Снова в зону...	252
39. Аммоналка	256
40. Второй срок на горизонте.	261
41. Дядя Костя	265
42. Неужели на агитбригаду?	268
43. Мост Матюшкина	273
44. Первый концерт	278
45. Связи с заграницей имеешь?	281
46. «Будь проклята ты, Колыма...».	288

Л. Ф. Пичурин.

«...обязательно понадобится истории»	296
--	-----

«Томская классика»

Произведения, включённые в серию, соответствуют трём критериям: содержат местный материал или написаны в Томске; имеют художественную и общественную ценность; известны за границами области.

1. И. А. Куцевский. Николай Негорев, или Благополучный россиянин.

2. Н. И. Наумов. Избранное.

3. Г. Д. Гребенщиков. Избранное.

4. В. Я. Шишков. Избранное.

5. Г. М. Марков. Строговы.

6. М. Л. Халфина. Избранное.

7. В. В. Липатов. Избранное.

8. Вл. А. Колыхалов. Дикie побеги.

9. В. Д. Колупаев. Избранное.

10. К. М. Станюкович. Избранное. Константин Михайлович Станюкович (1843, Севастополь, — 1903, Неаполь) — русский писатель, известен произведениями на темы из жизни военно-морского флота. За три года жизни в Томске написано: роман и многочисленные рассказы. Здесь, в ссылке, за тысячи километров от морей и океанов, Станюкович создавал те произведения о русских морях, которые в итоге и принесут ему мировую славу.

11. В. А. Обручев. Избранное. Владимир Афанасьевич Обручев (1863 г., Ржев — 1956 г., Москва) — русский геолог, палеонтолог, геоморфолог, географ, писатель-фантаст, академик АН СССР. После революции 1905 Обручев состоял в Конституционно-демократической партии, возглавляя её томский комитет. С 1901 по 1912 преподавал в Томском технологическом институте и был организатором его горного отделения.

12. Н. А. Клюев. Избранное. Николай Алексеевич Клюев (1884, деревня Коштуги, Олонецкая губерния, — 1937, Томск. Расстрелян) — русский поэт, лидер так называемого новокрестьянского направления в русской поэзии XX века.

13. Ф. И. Тихменёв. Избранное. Фёдор Иванович Тихменёв (1890 г., с. Шерагул, Нижнеудинский уезд, Иркутская губ. — 1982 г., Томск) — один из организаторов в 1932 году литературного объединения в Томске.

14. Б. Н. Климычев. Избранное. Борис Николаевич Климычев (1930, Томск — 2013, Томск) — прозаик и поэт, журналист. Почётный гражданин г. Томска.

Литературно-художественное издание

Фёдор Иванович Тихменёв

Избранное

Редактор книжной серии *Г. К. Скарлыгин*

Редактор-составитель тома *Л. Ф. Пичурин*

Технический редактор *А. Р. Рубан*

Корректор *И. А. Сердюк*

Издание Томской писательской организации.

Отпечатано в ООО «Томская полиграфическая компания».

Подписано в печать 30.04.2015 г. Печать офсетная.

Формат 140×240 мм. Шрифт Cambria.

Усл. печ. л 18,92. Уч.-изд. л. 14,88. Тираж 1 000 экз.



ТОУНБ имени А.С.Пушкина



13822000358623